

НИНА
АВЕРИНА

РАССТРЕЛЯННЫЙ и ЗАБЫТЫЙ

НИНА АВЕРИНА



РАССТРЕЛЯННЫЙ
и ЗАБЫТЫЙ

*Повествование
об Иване Петровиче Вороницыне*

НИНА АВЕРИНА

РАССТРЕЛЯННЫЙ и ЗАБЫТЫЙ

*Повествование
об Иване Петровиче Вороницыне*



Пермь
Книжное издательство «Пушка»
2020

ББК 76.10

А 19

Книга издана на средства автора

Нина Федоровна Аверина – замечательный ученый-книговед и краевед. Уже второе десятилетие она живет в Австралии, но и там пишет книги об истории Пермского края, о людях, повлиявших на его судьбу, или тех, в чьей судьбе этот край оставил свой след. Около двух десятилетий – и около двадцати скрупулезных исследований, открывающих новому времени и новому читателю забытые события и имена.

ISBN 978-5-6042170-5-4

© Аверина Н. Ф., 2020

© Книжное издательство «Пушка», 2020

Иван Петрович Вороницын... Мало кто из нынешнего поколения россиян знает это имя. А ведь в свое время человек был достаточно известен: трудно себе представить более убежденного революционера, более стойкого, непоколебимого, верного соратника друзей по партии, прошедшего через муки многолетней каторги в царское время, немецкую тюрьму, а потом немецкий концлагерь и расстрелянного в Перми в самом начале 1938 года.

Знакомясь с судьбой Ивана Петровича, поражаешься, как жестоки бывают люди, изощряясь в издевательствах над себе подобным лишь потому, что он ищет иные, чуждые им пути к счастью человечества. Можно потерять зрение, разыскивая в лабиринтах истории крупинки сведений о Вороницыне; можно надорвать сердце, находя их в развалах казалось бы не касающихся его воспоминаний. А он, скромнейший из скромнейших, написавший так много книг и статей, в том числе мемуарных, мог рассказывать о ком угодно, но только не о себе. Например, подробно описывая камеру того или иного централа (выщербленный асфальтированный пол, тусклую лампочку, вонючую парашу...) или своего сокамерника (как выглядел, что говорил, о чем читал...), о себе упоминает лишь мимоходом.

Вот и узнаём мы о Вороницыне в основном от тех, кто находился с ним рядом в тюрьмах, ссылках, на этапах. Или из документов внутренних органов – заведенных на него дел, донесений тех, кто за ним следил, из протоколов допросов перед расстрелом. Потому, узнав о Вороницыне очень многое как о революционере, общественном деятеле, писателе, мыслителе, не находишь сведений о сугубо личном и самом заветном: о матери, сестре, жене Евгении Петровне, бесконечно ему преданной и рано ушедшей из жизни, о дочке, о пермских друзьях.

В Перми и Пермском крае Вороницын прожил почти пятнадцать лет. Похоронил здесь жену и отца. Заведовал технической библиотекой на заводе № 19 (ныне – ОАО «Пермский моторный завод»), много писал и издавался (печатали в основном в Москве). Не смирился с новыми, не приемлемыми для него порядками. До конца дней своих оставался убежденнейшим меньшевиком, хотя с единомышленниками не общался, никакой шпионской, вредительской деятельностью не занимался. «Замели» за искренность, честность, за переписку с оказавшимися за рубежом родственниками... Впрочем, нужны ли были причины? Арестовали почти слепого и почти парализованного. Долго не канителились: в декабре 1937 года арестовали, в январе 1938-го – расстреляли. И постарались, чтобы никто о нем не вспоминал.

ПРЕДЫСТОРИЯ СУДЬБЫ ИВАНА ВОРОНИЦЫНА

Родился Иван Петрович Вороницын 28 января 1885 года в городе Нарва тогда Санкт-Петербургской губернии.

О семье его известно крайне мало, потому что в своих довольно многочисленных сочинениях, даже мемуарных, Иван Петрович Вороницын почти не писал о себе, о родных и близких, вообще о чем-то сугубо личном. Скорее всего, находясь в тюрьмах, ссылках, на каторге или этапах, он старался уберечь дорогих ему людей от неизбывных душевных травм, и без того с головой захлестнувших некогда благополучную семью. А позднее, после революции, оказавшись «на свободе», ограждал их от опасного, на его взгляд, внимания окружающих, в первую очередь властей.

Отец его, Петр Иванович Вороницын, всю жизнь тянул армейскую лямку, начав с небольших чинов и дослужившись до генерала. Правда, боевым офицером не был, в основном делал карьеру как военный чиновник. Именно так – «военный чиновник (офицер)» – обозначил его сын занятие отца, отвечая на вопрос о социальном положении, когда заполнял анкету. Это было после ареста в декабре 1937 года, за несколько дней до расстрела.

С будущей матерью нашего героя Петр Иванович встретился, когда служил штабс-капитаном 92-го Печорского пехотного полка.

Полк вел свою историю с 1803 года, постоянно меняя статус, название, состав, дислокацию, служебные цели, задачи и прочее. То он находился на боевых рубежах, то в глубоком тылу занимался строительными работами или

обучением народного ополчения. В связи с начавшимися в 1860-е годы волнениями в Польше армия перешла на военное положение. Полк окончательно формируется и стабилизируется. В августе 1863 года его преобразуют из резервного в пехотный, тогда же ему присваивают наименование Печорского, а 25 марта 1864 года прибавляют к названию № 92. После подавления восстания в Польше полк направили в Финляндию, где он строил укрепления на острове Равансаари (ныне – Малый Высоцкий) под Выборгом и нес караульную службу в разных близлежащих городках.

Е. А. Балашов, автор одной из работ об этих местах, так начинает свой рассказ: «...к северу от невских берегов между суровой Ладогой и Финским заливом Балтийского моря лежит удивительный и неповторимый край, жемчужина северных земель – Карельский перешеек». Правда, замученные тяжелой службой армейцы вряд ли замечали красоты этих мест. Угнетали необщительность коренного, в основном финского, населения, неприглядность служебных квартир, отсутствие каких-либо развлечений. Как писал историк 92-го Печорского полка Н. А. Юганов, «семейная жизнь тоже была не в фаворе, и лишь впоследствии, когда квартирное расположение более или менее упрочилось, когда бóльшая часть полка располагалась в таких городах, как Або, Фридрихсгам и Выборг, в особенности в этом последнем, наполовину уже русском городе, течение офицерской жизни приняло уже иной, более общественный характер, явилась возможность посещать гарнизонное собрание, театры, концерты, общественные танцевальные вечера и т. п.».

Видимо, в конце 1870-х годов Петр Иванович уже постоянно и работал, и проживал в Выборге.

Выборг как пограничная крепость был основан шведами в 1293 году на месте разрушенного карельского острожка, существовавшего чуть ли не с IX века. В пору пребывания здесь 92-го Печорского полка он быстро рос. Здесь развивались торговля и промышленность. В 1870 году через Выборг прошла железная дорога Санкт-Петербург – Гельсингфорс, что открыло дорогу российским дачникам, потоком хлынувшим осваивать красивейшие приморские места. Дачи вблизи Выборга строились, покупались, снимались на лето, причем год от года цена на них стремительно росла. Столица империи находилась в каких-то 150 километрах от этих мест – немудрено, что среди дачников преобладали петербуржцы. Как писал доктор исторических наук, профессор П. Н. Базанов, в места эти ехали не аристократы, но люди небедные, «верхняя часть среднего класса». Конечно, места сии по климату не могли сравниться, например, с Крымским побережьем. Летом здесь было даже прохладнее, чем в Пе-



Выборг в начале XX в.



Выборг в начале XX в.

тербурге. Но всё искупали целебный, пропитанный хвойным ароматом воздух, красивейшая природа, чистейшие водоемы. И совсем рядом – уютный, комфортный, во многих отношениях весьма привлекательный город. Очень зеленый, ухоженный, с легким привкусом Средневековья и в то же время быстро обгонявший по предлагаемым удобствам большинство старых и очень крупных российских городов. В 1860 году Выборг был газифицирован, в 1882-м здесь появились электричество и телефон, в 1893-м – водопровод... Росло население, причем в основном за счет русскоговорящих. Процветала в городе и культурная жизнь, правда скорее за счет гастролеров. Да и как ей было не процветать, если замечательные исполнители обитали совсем рядом, на своих роскошных дачах.

В таком привлекательном городе дислоцируется значительная часть 92-го Печорского пехотного полка, и многие находят здесь свое личное счастье. Нашел его и Петр Иванович Вороницын.

О матери нашего героя мы знаем еще меньше, чем об отце. Неведомо нам ни ее имя-отчество, ни социальное происхождение, ни хотя бы основные вехи жизни до брака с Вороницыным-старшим. Брак с армейским офицером был у нее не первым. Скорее всего, осталась она вдовой с двумя малолетними детьми на руках. Можно быть уверенными в этом, ибо, во-первых, офицерам того времени не разрешалось жениться на разведенных (как и на актрисах, проститутках и прочих, не выдерживающих моральных критериев дамах), а, во-вторых, разводы тогда были редкостью чрезвычайной, а если и случались, дети, как правило, оставались с отцом.

Итак, воспитывала молодая вдова двоих детей – Александра и Ольгу Неустроевых, лет на 8–10 старше тех, что появятся во втором браке. Судя по всему, сводные братья и сестры крепко дружили, и влияние старших на младших было несомненным, особенно Александра на Ивана. Иван старшему брату во всем подражал, под его влиянием увлекся революционной деятельностью, всю жизнь, вплоть до своей гибели, переписывался с ним, даже когда Александр оказался в эмиграции. Как раз это стало одним из пунктов обвинения Ивана Петровича: мол, Вороницын, работая на военном заводе, передавал брату в Финляндию секретные сведения. Сразу после революции на переписку с оказавшимися в эмиграции родными и знакомыми смотрели сквозь пальцы; в 1920-е годы подобное хотя и осуждалось, но было вполне возможным; позднее же контакты с заграницей контролировались весьма жестко и, как правило, пресекались. А Иван Вороницын перепис-

сывался с братом вплоть до своего трагического конца. Писал он и младшему брату Сергею в Югославию, и, возможно, сестре Елене в Польшу.

Неустроевская ветвь семьи была родом из Кронштадта. Среди немногочисленного гражданского населения знаменитого города-крепости фамилия «Неустроевы» встречалась довольно часто, причем почти все ее обладатели были купцами и домовладельцами. Достаточно сказать, что знаменитый библиограф и библиофил Александр Николаевич Неустроев (1825–1902), автор «Исторического разыскания о русских повременных изданиях и сборниках за 1703–1802 гг.», тоже родился в Кронштадте в купеческой семье.

Брат и сестра Неустроевы по отцовской линии тоже происходили из кронштадтских купцов и домовладельцев и с родным городом связей никогда не теряли, особенно Ольга Васильевна. Но родились они уже в Выборге: предположительно, Александр Васильевич – в 1874–1875, а Ольга Васильевна – в 1876–1877 годах. Подтверждение тому, что А. В. Неустроев – уроженец города Выборга, можно найти в личном архиве знаменитого удмуртского краеведа, почетного гражданина города Глазова Михаила Ивановича Буни (1920–1985). Именно в Глазове в конце XIX – начале XX века находился в ссылке молодой социал-демократ Александр Васильевич Неустроев, один из тех, кто стоял у истоков «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». М. И. Буня богатейшую коллекцию собранных им архивных материалов (деловых бумаг, фотографий, рисунков и прочего) передал Архивному управлению администрации города Глазова (Ф. р-511. Оп. 2). Среди них есть несколько фотографий Неустроева, копия его рисованного портрета, сделанного неким Исуповым, некоторые сведения о мо-

лодом ссыльным, в частности утверждение, что он – уроженец города Выборга.

Молодые Неустроевы недолго пребывали в новой семье. Александр Васильевич поступил на юридический факультет Петербургского университета, а Ольга Васильевна – на словесно-историческое отделение Высших женских Бестужевских курсов. Курсы эти были открыты в 1878 году в Петербурге после многолетних дискуссий, разработок, множества программ, самых смелых предложений, постоянных сомнений, неудачных попыток внедрить многое из, казалось бы, решенного в жизнь. Назывались они так по фамилии первого их директора К. Н. Бестужева-Рюмина и существовали до 1919 года, когда слились с университетом. Первоначально в них было два отделения: словесно-историческое и физико-математическое (с явным уклоном в биологию). Позднее появятся другие, например, в 1906 году – юридическое. Обучение было четырехгодичным. Читали на курсах, как правило, преподаватели университета, крупнейшие ученые, даже академики. И обычно безвозмездно. Хотя постепенно подобные курсы начнут открываться и в других университетских городах страны, наплыв девушек, желающих получить высшее образование (раньше приходилось ради этого ехать за границу), был так велик, что принимали в основном имеющих золотые и серебряные медали гимназий.

Брат и сестра Неустроевы серьезно взялись за учебу, но не остались в стороне от революционных настроений студенчества тех лет. Их имена не значатся среди руководителей движения, но они были мужественными рядовыми борцами за народное счастье, «книгоношами», как их называли, поскольку главной их задачей была доставка из-за границы нелегальной литературы, ее хранение, рас-

пространение и уничтожение в случае провала. Они были одними из первых, кто стоял у истоков «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».

А какова предыстория этого «Союза»?

Российский народ всегда отличался склонностью к бунту. Порою волнения местного масштаба выливались в настоящие крестьянско-казацкие войны, охватывавшие огромные территории страны. Вспомним Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна Пугачева... Но это были спонтанные, неорганизованные выступления. Не случайно советская историография выделяла только три этапа революционного движения: дворянский (декабристский), народнический (разночинский) и пролетарский (марксистский).

Народничество – идеологическое течение разночинной интеллигенции России 1860–1900-х годов. Было оно весьма неоднородным, сложным и многочисленным по количеству действовавших групп, по целям, задачам, формам и методам борьбы и т. д. Предтечей народничества считается А. И. Герцен, который на рубеже 1840–1850-х годов вывел «формулу» крестьянского (общинного) социализма, полагая, что крестьянское общинное землевладение, мужицкая идея права на землю и мирское самоуправление являются основой построения социалистического общества. Идеи Герцена развили В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский и другие.

Основная часть народников считала, что Россия развивается своим, отличным от других стран Европы путем, что самодержавие не имеет социальной опоры в обществе, капитализм России чужд, и она придет к социализму, минуя его. Ячейкой будущего свободного государства будет не семья, а крестьянская община. Крестьянство в массе своей

уже готово к восприятию идей социализма, но нуждается в руководстве объединенных в организацию профессиональных революционеров. Революция не за горами. А вот как приблизить ее – тут мнения расходились. Одни считали, что идти к ней надо не спеша, мирными средствами изменяя мир к лучшему. Другие призывали к немедленному всеобщему восстанию. Третьи полагали, что лучшее оружие революционеров – террор. Предлагались и иные возможные пути к всенародному счастью.

Началось движение народничества с постулата, что интеллигенция виновата перед народом и должна искупить свою вину, идти в массы, слиться с ними. И еще до Крестьянской реформы 1861 года началось массовое хождение в народ. Как уже говорилось, групп и объединений было множество. По степени радикализма специалисты различают следующие: консервативные, либеральные, либерально-революционные, социально-революционные и анархистские. Крестьяне относились к любым группам настороженно, агитацию их воспринимали как опасную и нередко сдавали «друзей народа» властям. Власти тоже не дремали, арестовывали доброхотов сотнями, тысячами, причем не только самих, но и сочувствующих им; сажали в тюрьмы, ссылали на каторгу, казнили... Особенно усилился правительственный террор после убийства императора Александра II, когда под следствие пошло сразу более двух тысяч народников.

Основной народнической организацией была вторая «Земля и воля», созданная в 1876 году (первая, существовавшая в 1861–1864 годах, действовала столь неэффективно, что в итоге самораспустилась, так и не замеченная царской охранкой.) Во вторую «Землю и волю» входили такие корифеи революционного движения, как А. И. Желябов, В. Н. Фигнер, С. А. Перовская, Г. В. Пле-

ханов и другие. Но единства в ней не было, и в 1879 году организация распалась на две – умеренный «Черный передел» и радикальную «Народную волю», признающую основным методом борьбы беспощадный террор. Путь этот приведет к огромному числу жертв как со стороны властей и тех, кто был властям предан, так и со стороны революционеров. С 1881 по 1884 год было репрессировано около десяти тысяч человек. Многие казнены, сосланы на каторгу на долгие годы или пожизненно. Но это не останавливало молодых революционеров, разочарованных и в былых хождениях в народ, и в неэффективной пропаганде. Не случайно после распада «Земли и воли» подавляющая часть народников примкнула не к умеренному «Черному переделу», а к организации боевой и беспощадной. И в последующие годы в «Народную волю» будут вливаться всё новые и новые бойцы.

Чернопередельцы же остались верны былым народническим традициям. Они отрицали политическую борьбу и террор и главными своими задачами считали ликвидацию помещичьего землевладения, справедливый раздел земли (и по величине долей, и по их качеству) между членами сельской общины. Отсюда и название организации. Общее число членов «Черного передела» едва достигало ста человек. Но зато какие это были пламенные революционеры! Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, О. В. Аптекман, Я. В. Стефанович, Л. Г. Дейч, Е. Н. Ковальская и другие. Организация отказалась от построения по принципу централизма и состояла из нескольких небольших кружков в Киеве, Одессе, Саратове, Перми... Руководящая группа, состоявшая из 22 человек, находилась в Петербурге, но роль ее в основном была координирующей и информационной.

После неоднократных попыток убийства императора репрессии коснулись и чернопеределцев, начались аресты. Пришлось срочно «Черный передел» распустить, а его руководителям спешно отбыть за границу. В конце 1881 – начале 1882 года Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, В. Н. Игнатов и П. Б. Аксельрод оказались в Швейцарии, в Женеве, образовав в 1883 году первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда».

С марксистской литературой члены группы начали знакомиться еще в России. В 1882 году Плеханов перевел на русский язык «Манифест коммунистической партии» и написал к нему предисловие. Это был уже второй перевод – после сделанного М. А. Бакуниным в 1869 году, отпечатанного крошечным тиражом в Женеве и до России практически не дошедшего. Позднее члены группы переведут много других работ Маркса, Энгельса и их последователей, наладят переписку с Энгельсом (Маркса к тому времени уже не будет в живых), а потом и лично познакомятся с ним. Именно группе «Освобождение труда» передаст Энгельс право на издание своих сочинений и сочинений Маркса на русском языке. С 1883 по 1900 год группа опубликует около тридцати работ основоположников марксизма, в основном по философии.

Неудачи народнического движения, первые успешные баталии рабочих России, выступивших за свои права, знакомство с западноевропейским рабочим движением, доступность работ классиков марксизма и их соратников, несоизмеримая с той, что была на родине, и некоторые другие факторы заставили недавних народников коренным образом пересмотреть собственную практику и создать новую революционную теорию.

На первых порах членов группы «Освобождение труда» было пятеро. Через год их стало трое. В 1884 году Л. Г. Дейча задержала немецкая полиция и выдала его российским властям. А в ноябре того же года скончался от туберкулеза совсем еще молодой В. Н. Игнатов. За все последующие годы в группу будет принят лишь один человек – С. М. Ингерман в 1888 году. Работал он весьма активно, но в 1891 году уехал в Америку, где стал членом социалистической партии. Однако и издавека всегда и во всем поддерживал Плеханова.

Так что бо́льшую часть времени (группа прекратит свое существование в 1903 году после II съезда РСДРП) работали втроем: Плеханов, Засулич, Аксельрод. Но какую колоссальную работу они проделали! При всей неординарности, даже гениальности тройки не удалось бы им сделать и малой ее части, если бы не множество добровольных помощников. Среди них В. К. Курнатовский, А. В. Луначарский, Н. Э. Бауман, А. Н. Потресов и другие. Они помогали наладить печатание книг, брошюр, сборников, периодики и иных материалов группы, переправлять эти издания и иную нелегальную литературу в Россию, поддерживать связи с социал-демократами Англии, Франции, Германии и других стран.

Под влиянием группы «Освобождение труда» стали появляться первые марксистские группы в России: Д. И. Благоева, П. В. Точисского, М. И. Бруснева, Н. Е. Федосеева и другие. Плеханов становится кумиром, властителем дум, учителем нескольких поколений революционеров, которые жаждут приобрести его портреты, а еще лучше – сочинения, жадно читают их, изучают, конспектируют. Например, Б. И. Горев (1874–1937), один из основателей организованного марксизма в России, вспоминал, какое впечатление произвела на него книга Плеханова «К воп-

росу о развитии монистического взгляда на историю»: «Вся философия марксизма, изложенная блестящим языком, произвела эффект разорвавшейся бомбы, эффект... прямо волшебный... Трудно передать теперь, спустя 25 лет, то необыкновенное волнение, ту поразительную встряску, тот огромный умственный сдвиг, которые вызвала эта книга... Люди буквально в одну ночь становились марксистами... В частности, мне лично удалось именно в этот период обратиться к марксизму довольно обширный кружок студентов и курсисток, из которого вышли впоследствии такие активные с.-д., как покойный Н. Ф. Богданов (умер от чахотки в ссылке в Иркутской губ.), Лохов, брат и сестра Неустроевы и много других. Первым признаком этого “обращения” было то, что знакомая мне группа молодежи, смастерившая гектограф и печатавшая на нем толстовское “В чем моя вера”, бросила это занятие и стала, по моему настоянию, печатать “Манифест коммунистической партии”».

Г. В. Плеханов был кумиром для брата и сестры Неустроевых, а вскоре станет кумиром и для подросткового Ивана Вороницына. Сбежав из своей первой архангельской ссылки и оказавшись в Женеве, Вороницын будет бесконечно счастлив, когда его представят Плеханову. И не случайно со временем Александр Васильевич Неустроев, Ольга Васильевна Неустроева, Иван Петрович Вороницын станут меньшевиками, ибо самым почитаемым вождем меньшевизма будет Плеханов, а они на всю жизнь останутся его преданными учениками.

Георгий Валентинович Плеханов (1856–1918) родился в семье помещика средней руки. В революционное движение втянулся, будучи студентом Горного института в Петербурге. После пламенной речи на первом революционном рабоче-студенческом митинге возле Казанского



Г. В. Плеханов

собора в 1876 году приобрел огромную популярность и кличку «Оратор». Вскоре перешел на нелегальное положение.

Мы зачастую представляем себе Плеханова таким кабинетным ученым-философом, властителем дум, теоретиком блестящим, но далеким от практики, безбедно прожившим большую часть жизни в тихой, уютной Швейцарии, куда стремились к нему на поклон лучшие умы России. Даже

Ленин. Таким представляли себе Плеханова зачастую и его современники. Этому способствовала и внешность Георгия Валентиновича. Изящный, худощавый мужчина среднего роста, с пронзительными темно-кариими глазами, с небольшой клинообразной бородкой и стрельчатыми взлет усами. Прекрасный собеседник, владеющий несколькими языками, а русским – так, как литераторам-профессионалам и не снилось. Даже в самой серьезной беседе находил повод сострить, пошутить. Например, на замечание лидера австрийской социал-демократии В. Адлера, что, мол, Плеханов породил Ленина, что Ленин ему сын, Плеханов мгновенно парировал: «Если и сын, то, очевидно, незаконный».

Георгий Валентинович действительно, особенно в последние годы жизни, более тяготел к науке, прежде всего к философии, чем к делам практическим, чему способствовали и длительная эмиграция, и все более отнимающая силы тяжелая болезнь. Но так было не всегда. Начинал он как рядовой революционер, несколько лет находившийся на нелегальном положении, вынужденный

постоянно колесить по стране, спасаясь от идущих по следу жандармов, жить по чужим паспортам, ночевать на случайных квартирах, держа под подушкой револьвер, учиться владеть кастетом и кинжалом... Был одним из руководителей «Земли и воли», бакунистом, лидером «Черного передела». Неизбежность ареста заставила уехать за границу. Думал, что едет на несколько недель, в крайнем случае месяцев. Но вернется он на родину лишь через 37 лет – после Февральской революции. Да и личная жизнь долго не ладилась. И с финансами в благословенной Швейцарии первоначально было так туго, что порою не находилось денег даже на марку, чтобы отправить письмо.

И эти годы не прошли зря. Помимо группы «Освобождение труда», он создал «Союз русских социал-демократов за границей»; после организации в 1889 году II Интернационала стал одним из его вождей. Написал множество замечательных трудов. Создал русскую марксистскую терминологию. Члены группы «Освобождение труда», недавние народники, отныне главные свои задачи видели в том, чтобы перевести как можно больше важнейших трудов Маркса, Энгельса и их последователей, окончательно развенчать теорию народничества с позиций марксизма, объединить своих сторонников в России, создать социал-демократическую партию. Внимательно изучив марксистские труды, сопоставив их с российской реальностью, сведения о которой оперативно доходили до Женева, Плеханов пересмотрел многие свои взгляды. Он признал факт развития капитализма в России, разложение сельской общины, роль рабочего класса. Однако настороженно относился к идее диктатуры пролетариата, полагая, что должна быть диктатура просвещенных рабочих, но не революционеров, а помогать им в будущей революции должны крестьяне, интеллигенция и либераль-

ная буржуазия. И еще он считал, что не надо торопить революцию, Россия пока к ней не готова, предостерегал от «социалистического нетерпения»: «Российская история еще не смолола той муки, из которой со временем будет испечен пшеничный пирог социализма».

Между тем в России в это время стремительно нарастает революционное движение. И каких только направлений в нем нет! Продолжают править бал народники: народники-культурологи и народники-политики, легальные и нелегальные. Революционное народничество переродилось в либеральное. Оно пользуется заметной популярностью, имея в своих рядах таких блестящих публицистов и ораторов, как Н. К. Михайловский, В. П. Воронцов, Н. С. Кривенко и другие, которые полагают: добиться лучшей жизни для народа можно мирными средствами, используя легальную печать, деятельность земских организаций, благотворительность, подачу петиций властям и т. д. Появляется все больше революционных кружков и групп. В основном это объединения народников, но множатся и кружки анархистов, «экономистов», социал-демократов и даже... рабочих! Последние, возникающие на крупнейших предприятиях, действуют, как правило, спонтанно, стихийно, а потому и не очень эффективно. Для них главное – увеличение зарплаты, сокращение рабочего дня и тому подобное. Политических целей они пока не ставят. Им явно не хватает вождей, руководителей, революционеров-профессионалов.

Приехавший из Самары в Петербург в 1893 году В. И. Ульянов, очень умный, образованный, необыкновенно целеустремленный и настойчивый, с огромной силой воли, великолепными организаторскими способностями, уже хорошо знакомый с теорией марксизма, сразу становится центром притяжения многих петербургских со-

циал-демократов. Вокруг него собирается значительный кружок личностей, тоже весьма неординарных, для которых он – неоспоримый авторитет, лидер, учитель. Его цели – пропагандировать марксизм, объединить разрозненные группы социал-демократов в единую организацию, расширить пропаганду и агитацию среди рабочих, соединить марксизм с рабочим движением. Его кумир – Георгий Валентинович



В. И. Ленин

Плеханов, и одна из первых задач – встретиться с ним и с членами группы «Освобождение труда» в Женеве и договориться о совместных действиях.

Весной 1895 года эта его мечта осуществится. Сохранилось очень много воспоминаний как друзей Ленина, так и его заклятых врагов об этой знаменательной встрече двух гениев и о том впечатлении, какое они друг на друга произвели. Отношения Плеханова и Ленина с первых часов их знакомства и до конца жизни складывались весьма неоднозначно. С обеих сторон были и восторг, и преклонение, и пророческие ощущения зыбкости совместных действий, и непримиримые разногласия, особенно после II съезда РСДРП, и абсолютное неприятие действий и сочинений друг друга впоследствии. Но даже в конце жизни это неприятие алогично сочеталось с непреходящей юношеской влюбленностью Ленина в Плеханова и холодноватым преклонением Плеханова перед гением Ленина. Эволюция их отношений шла по схеме: учитель – ученик; соратники – соперники; и, наконец, непримиримые идейные противники.

В первый раз они встретились в доме Плеханова в Женеве, а через короткое время, после деловой поездки Ленина по Европе, – в горной швейцарской деревушке Ормон у подножия Альп. При первой встрече Владимир Ильич (тогда еще Ульянов) больше молчал, восторженно слушая любимого учителя. Подарил Плеханову свою книжку «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?». Бегло ее тут же просмотрев, Плеханов заметил: «Да, это, кажется, серьезная работа». Со стороны Плеханова чувствовался некий холодок, что было вполне объяснимо: привык держать дистанцию во время многочисленных визитов поклонников. Но в душе Плеханова холодок этот вскоре растаял. Сразу же после визита Ульянова Георгий Валентинович писал жене: «Приехал сюда молодой товарищ, очень умный, образованный, даром слова одаренный. Какое счастье, что в нашем революционном движении имеются такие молодые люди».

А Ленин через два десятка лет скажет рабочему-большевику И. Ф. Попову о Плеханове: «Вы только взглянете на него – и увидите, что это сильнейший ум, который все одолевает, все сразу взвешивает, во все проникает, ничего не спрячешь от него. И чувствуешь, что это так же объективно существует, как и физическая сила».

Тогда им удалось договориться об установлении постоянных связей группы «Освобождение труда» и марксистских кружков в России, об основных направлениях работы, о совместном издании неперiodического сборника «Работник», о провозе нелегальной литературы через границу в Россию и о многом другом. Все это начнет воплощаться в жизнь незамедлительно, но особенно активно – после возвращения Ленина из ссылки. Тогда они совместно будут издавать первую русскую марксистскую газету «Искра», готовить II съезд РСДРП. Расхождения начнутся

уже на съезде. Позднее Ленин так определит эволюцию Плеханова в 1903 году: «1903, август – большевик; 1903, ноябрь (№ 52 “Искры”) – за мир с “оппортунистами”-меньшевиками; 1903, дек. – меньшевик, и ярый...». И все-таки он был учеником Плеханова, его духовным воспитанником. «Без Плеханова не было бы и Ленина», – написал в статье «Пророчества и ошибки Георгия Плеханова» видный российский ученый, публицист и литератор Г. Н. Цаголов. Так считают многие.

Первые работы Плеханова Ленин назвал «исповеданием веры русского социализма», считал, что сочинение Георгия Валентиновича «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» воспитало целое поколение русских марксистов. Но существенные расхождения случались между ними даже в пору расцвета их отношений. Так, в маленькой статье «Как чуть не потухла “Искра”» (а она действительно чуть не потухла, еще не начав гореть) Ленин писал: «Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, ни перед кем не держал себя с таким “смирением” – и никогда не испытывал такого грубого пинка». Позднее Ленин признавался, что он и его друзья были влюблены в Плеханова и, как любимому человеку, прощали ему всё, закрывали глаза на все недостатки.

При всем неприятии Плеханова в последнюю пору жизни Ленин в 1921 году признавал: «Нельзя стать сознательным, настоящим коммунистом без того, чтобы изучать – именно изучать – все написанное Плехановым по философии, ибо это лучшее во всей международной литературе марксизма». Большевик Г. Л. Шкловский подчеркивал: «Пятнадцать лет Владимир Ильич воевал против Плеханова, но влюбленность его в Плеханова никогда не проходила, даже в самые острые моменты

борьбы. Она не прошла у него и после смерти Плеханова». В октябре 1923 года, за три месяца до своей смерти, заехав в Кремль, Ленин отобрал для чтения несколько произведений Плеханова.

Плеханов при всем уважении к уму, знаниям, организаторским и прочим способностям своего ученика был сдержаннее в своих оценках, а иногда непримиримо категоричен. И это можно понять. Великий человек, большую часть жизни страдавший от излишнего внимания своих многочисленных поклонников, он в конце земного пути оказывается у разбитого корыта, почти в полном одиночестве, смертельно больной, прекрасно понимающий, что дни его сочтены, а то великое дело, которому посвятил всю свою жизнь, – погублено. Он – побежденный, а ученик, совсем недавно ловивший каждый его взгляд, каждое слово, – победитель. И эту победу Ульянова Плеханов считал трагедией для России. Революцию 1905 года он назвал авантюрой, «Апрельские тезисы» Ленина – бредом, переворот 1917 года – предвестником трагедии.

Возможно, не стоит столь подробно останавливаться на расхождениях Плеханова и Ленина, на их взаимной любви-ненависти. Но хочется, чтобы читателям яснее стало, как трудно было начинающим революционерам разобраться в сложнейших политических ситуациях тех лет, в правильности действий складывающихся кружков, групп, партий, в плюсах и минусах их лидеров. Как легко было стать меньшевиком, даже если ты еще вчера был ярым сторонником Ульянова, что и случилось с братом и сестрой Неустроевыми, а немного позднее – с их младшим братом Иваном Вороницыным.

Вернувшись из Швейцарии, Владимир Ильич объезжает ряд российских городов: Москву, Вильно (ныне – Вильнюс), Орехово-Зуево и другие. 29 сентября 1895 го-

да он появляется в Петербурге и, не дав себе ни дня передышки, сразу же берется за работу – объединение столичных социал-демократических групп в единую общегородскую организацию, прообраз будущей партии, о чем регулярно посылает в Женеву сообщения, больше похожие на отчеты.

Со студенческих, даже со школьных лет мое поколение прекрасно было знакомо с историей создания «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», старательно отслеживало его короткий, тернистый, но славный путь, знало не только всех лидеров, но и многих рядовых членов, переживало его сокрушительный разгром и жестокие репрессии, последовавшие со стороны властей – тюрьмы и ссылки, обрушившиеся на головы юных революционеров. Да и попробовали бы мы всего этого не знать!

Но сегодня, в эпоху открытости, гласности и нередко вседозволенности, историю «Союза» переписывают и во многом уже переписали заново. Кое-что действительно подавалось нам не так, как было. О чем-то спорят до сих пор. Например, о годах его существования. Большинство называет датой его рождения декабрь 1895 года. Но некоторые – 1894-й и даже 1893 год! И скончался, мол, не в 1897 году, когда Ленин уехал в ссылку, а существовал до II съезда партии (а это 1903 год) и даже дольше, например до 1904 года. Название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» использовали и петербургские «бернштейнианцы» (сторонники Эдуарда Бернштейна, немецкого социал-демократа, родоначальника ревизионизма), и «экономисты».

Кстати о названии. Созданная Ульяновым организация не имела его до декабря 1895 года. Ильич уже в тюрьме сидел, а она оставалась безымянной. О том, кто название, в конце концов, придумал, дискутируют до сих пор.

Чаще всего называют Ю. О. Мартова. Сам он в воспоминаниях, написанных в 1919 году, сообщал: «Мы долго колебались, как назвать организацию... После разных предложений все сошлись на моем: назваться “Союзом борьбы за освобождение рабочего класса”. Названию суждено было не только привиться, но и завоевать себе славу». Н. К. Крупская подтвердила в 1920 году эту версию. Но позднее о ней все благополучно «забыли»: не приписывать же такую заслугу лидеру меньшевиков!

В советские времена наши политологи значительно подправят историю создания, существования и кончины «Союза борьбы», почистят его состав. Ведь когда он создавался, социал-демократы действовали единым фронтом, не было ни большевиков, ни меньшевиков, ни прочих «предателей» святого дела. Вот и отринут большевики, придя к власти, всех отколовшихся, вычеркнут их имена из истории этой организации, причем как имена руководителей, учредителей, идеологов, так и рядовых членов. Например, того же Ю. О. Мартова, Б. И. Горева, А. В. Неустроева и прочих.

Не пощадят и знаменитую фотографию, известную миллионам: семеро руководителей «Союза борьбы» в Петербурге в 1897 году накануне отправки в далекую ссылку или заточения в тюрьму. Стоят – А. Л. Малченко, П. К. Запорожец, А. А. Ванеев; сидят – В. В. Старков, Г. М. Кржижановский, В. И. Ульянов и Ю. О. Мартов. Все – верные соратники Ульянова, а Мартов и Кржижановский – близкие друзья. Печальна судьба всего этого созвездия, за исключением Кржижановского. Он доживет до глубокой старости, станет известным советским ученым, академиком, Героем Социалистического Труда и т. п. Запорожец, красавец-богатырь, сойдет в тюрьме с ума, в тюрьме и скончается в 32 года. Ванеева после тю-

ремного заключения сошлют в Восточную Сибирь, где он умрет от туберкулеза в 27 лет. Рано уйдут из жизни Ульянов (в 1924 году) и Старков (в 1925-м). Но они уйдут хотя бы не оклеветанными в момент кончины. А вот Малченко, одного из зачинателей «Союза борьбы», ближайшего сподвижника Ульянова, прекрасного специалиста-технаря, в 1929 году обвинят в шпионаже в пользу США и расстреляют 18 ноября 1930 года. А фотографию отретушируют так, что Малченко надолго исчезнет со снимка. Кастрированным изображение будет оставаться до 1958 года, когда Малченко реабилитируют, и он вернется к своим товарищам на фотографии. Но мы-то учились по кастрированной...

Глубоко трагична судьба Ю. О. Мартова, создателя меньшевизма, ставшего со временем непримиримым врагом большевиков, а некогда ближайшего друга Ленина, вместе с ним задумавшего и создавшего «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (некоторые исследователи создателем организации считают именно его), единственного из соратников Ленина, с которым они были на «ты».

В группу Мартова входили брат и сестра Неустровы, а для Ивана Петровича Мартов со временем станет настоящим кумиром наравне с Плехановым. Другим «крестным отцом» наших героев будет Б. И. Горев, один из руководителей «Союза борьбы», правда, не из близких друзей Ульянова. Хорошо, что тогда Гореву места на фотографии не нашлось, ибо со временем станет он ярким меньшевиком и будет расстрелян в 1937 году. Пришлось бы со временем и его стирать с фотографии, как стерли Малченко. Но коли Мартов и Горев сыграли столь значительную роль в жизни Неустровых и Ивана Вороницына, расскажем о них несколько подробнее.



Ю. О. Мартов

Юлий Осипович Мартов (настоящая фамилия Цедербаум, а псевдонимов было великое множество) – основатель и наиболее авторитетный идеолог классического меньшевизма, личность единственная в своем роде, любимая всеми, даже недругами. По словам его единомышленника Н. Н. Суханова, Мартов «был человеком, которым характеризуется эпоха».

А другой лидер меньшевизма,

А. Н. Потресов, противник Мартова справа, писал, что Мартов «был точно рожден стать средоточием партии, ее воистину излюбленным представителем». По свидетельству Потресова, Мартов – единственный из противников Ленина, о котором этот «не склонный к чувствительности человек» «говорил с нескрываемым чувством почти восхищения».

Родился Мартов в 1873 году в Константинополе, в семье богатого купца, человека очень образованного, умного, талантливого, предприимчивого и весьма оппозиционно настроенного к существующей российской власти. Из восьми его доживших до зрелого возраста детей все, за исключением старшего, тяжелобольного сына, станут революционерами. После возвращения семьи в Петербург Юлий, окончив гимназию, поступил на естественный факультет Петербургского университета, но продержался там недолго, ибо уже на первом курсе с головой ушел в революционную работу и вскоре за распространение нелегальной литературы был из университета исключен. Хотя Мартов так и не получит диплома о высшем образовании, он станет со временем одним из образованнейших

людей своего окружения, ибо читал невероятно много, всегда и везде был с книгой, умудрялся читать даже на митингах, даже на заседаниях съездов. Он – один из создателей партии еврейского пролетариата Бунда. Вместе с Ульяновым формирует «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», за что попадает в тюрьму, а потом на три года отправляется в ссылку в Восточную Сибирь. Но не в почти курортное Шушенское, а в насквозь промороженный Туруханск, «подаривший» ему туберкулез горла, в конце концов, безвременно сведший его в могилу.

Политика была для Мартова способом существования. Ввязавшись в политический спор (а это он умел делать и делал постоянно), он забывал обо всем. Во время своей первой эмиграции в Париже чуть не женился на француженке, социалистке Поли Гордон, но по дороге на собственную свадьбу зашел в кафе и ввязался там в такую дискуссию, что забыл про всякую свадьбу. Так и остался на всю жизнь одиноким. Спокойная семейная жизнь была явно не для него.

Раньше о Мартове писали мало и противоречиво. Сегодня пишут (и печатают написанное о нем ранее) часто, и хотя тоже противоречиво, но все же пытаются воздать должное этому неординарному человеку, одному из честнейших и умнейших политиков, которого называли совестью меньшевизма. Им любовались и любят, над ним посмеивались и посмеиваются. И поводов, особенно для последнего, было предостаточно. Одна внешность Мартова чего стоила! Ему не было и года, когда по недосмотру няньки он стал инвалидом – всю жизнь сильно хромотал, приволакивая больную ногу. К тому же ходил изрядно сутулясь. Высокий, тощий, очкастый, с небрежно подстриженной маленькой бородкой, с хрипловатым тихим голосом, кое-как одетый... А. В. Луначарский, знавший

Мартова еще до революции, писал: «Я привык относиться к Мартову как к симпатичному богемскому типу, по внешности – чем-то вроде вечного студента, по нравам – за-всегдатая кафе, небрежному ко всем условиям комфорта, книгочею, постоянному спорщику и немножко чудаку».

И при всем этом Мартов – превосходный аналитик, человек сильного и тонкого ума, гениальный провидец, талантливый литератор и редактор (Ленин очень высоко ценил статьи Мартова и работу его как члена редакций газеты «Искра» и журнала «Заря»), остроумный собеседник, мастер афоризмов и, как уже говорилось, необыкновенно честный и порядочный человек. А вот как оратор... Очень сложно говорить о нем как об ораторе. Его современники вспоминали, что обычно начинал он выступать, стоя вполоборота к залу и тихим, сиплым (результат болезни) голосом что-то бормотал долго и нудно. Но когда зал уже почти засыпал, вдруг отбрасывал многочисленные, заранее исписанные листы и начинал говорить так страстно, дельно, ярко, что публика приходила в восторг и ловила каждое его слово. Мартов был мастером экспромта и виртуозом завершения речи.

Его считают одной из наиболее спорных фигур русской революции, и, как полагают некоторые, большой роли в ней Мартов не сыграл, если не считать «агонии февральского режима». На II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов (25–26 октября 1917 года) он выступил с предложением сформировать правительство из представителей всех социалистических партий. Критиковал большевиков за роспуск Учредительного собрания, закрытие буржуазных газет, продовольственную диктатуру, красный террор и т. д. «Для меня социализм всегда был не отрицанием индивидуальной свободы и индивидуальности, а, напротив, их высшим воплощением», – говорил

он и обвинял большевиков в «потребительском коммунизме».

Еще в 1904 году, в разгар ожесточенной полемики с большевиками, Мартов первым ввел в оборот понятие «ленинизм», вкладывая в него отрицательный смысл. Он был врагом не злейшим, но убежденным. После революции возглавляемая им группа стала одной из самых авторитетных в противостоянии большевизму. В сентябре 1920 года, будучи смертельно больным, эмигрировал в Германию. С 1921 года начал издавать в Берлине лучший русский эмигрантский журнал «Социалистический вестник». Скончался в Шемберге, в санатории, в 1923 году. Известный современный русско-американский историк и публицист Г. И. Чернявский писал: «...Он был Дон-Кихотом русской революции, верным и открытым политиком, глубоко честным субъективно, но проповедовавшим представлявшиеся ему реальными, но на поверку оказавшиеся утопическими планы постепенного коренного социалистического переустройства».

Другим руководителем, учителем и другом начинающих революционеров Александра и Ольги Неустроевых был Борис Исаакович Горев (настоящая фамилия Гольдман) (1874–1937), поначалу сторонник Ленина, после 1907 года – видный меньшевик. Родился в Вильно, в большой, дружной, интеллигентной семье И. М. Гольдмана, купца, предпринимателя, журналиста и поэта. Еще учась в гимназии, с головой ушел в социал-демократическое движение, руководил гимназическими и рабочими кружками, увлек на путь борьбы с существующим строем братьев Михаила (известен под псевдонимом Либер) и Леона, сестру Юлию и общего друга всех Гольдманов по 1-й Виленской гимназии Феликса Дзержинского (1877–1926), в будущем видного политического и государственного де-

ятеля, основателя и главу ВЧК, руководителя ряда наркоматов. Красавица Юлия стала первой женой Дзержинского, но она тяжело болела туберкулезом и рано умерла – в 1904 году.

Несмотря на увлечения, далекие от учебы, Борис окончил гимназию с золотой медалью и в 1894 году поступил в Петербургский университет, но в 1897 году был из него исключен, ибо не столько корпел над учебниками, сколько занимался революционной работой. Однако в первый год своей столичной жизни из-за строгой конспирации петербургских социал-демократов оказался как бы не у дел. Годы спустя он вспоминал: «...Не имея доступа к нелегальным рабочим кружкам, я целиком погрузился в кружки студенческие». Кроме того, вступил в «Нелегальное общество распространения легальных книг в народе», очень популярное среди студентов и курсисток. «Заседания этого общества и его отделений превращались в кружки пропаганды и саморазвития, где сталкивались между собою в борьбе за влияние на студенческую массу разные направления общественной мысли того времени: либерализм, народничество, “культурничество”, уже сложившееся толстовство и, наконец, юный марксизм», – писал он. Горев приехал в Петербург «полный революционного марксистского задора» и был поражен тем, как плохо студенты разбираются в марксизме, как снисходительно смотрят на его сторонников. Поэтому, засучив рукава, он начал лепить из юных приверженцев морализаторства Л. Толстого истинных марксистов, в чем ему помогали труды, как издаваемые в России, так и нелегально привозимые из-за рубежа, К. Маркса, Ф. Энгельса, их сторонников и последователей, прежде всего Г. В. Плеханова. О том, как перелопатило души молодежи сочинение Плеханова

«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», уже говорилось.

Именно в это время Борис познакомился и подружился с Александром и Ольгой Неустроевыми, о чем неоднократно упоминал в некоторых своих сочинениях, прежде всего в воспоминаниях «Марксизм и рабочее движение в Петербурге четверть века назад». После первого курса летом на каникулах в Вильно Борис Гольдман познакомился с Ю. О. Мартовым, что открыло ему дорогу в большую политику. Отныне он, а затем и его друзья Неустроевы станут членами группы Мартова и будут верны своему лидеру до конца.

В это время молодой В. Ульянов, вернувшись из Женевы, как уже говорилось, начал собирать разрозненные марксистские группы в единую общегородскую организацию. В Петербурге существовало множество небольших революционных кружков, особенно среди рабочих, а вот сплоченных, эффективно работающих групп оказалось совсем немного. Прежде всего, это была группа «старых социал-демократов» (иначе «стариков», «литераторов»), в которую, помимо самого Ульянова, входили Г. М. Кржижановский, А. Л. Малченко, С. И. Радченко, В. В. Старков, А. А. Ванеев, М. А. Сильвин, П. К. Запорожец, сестры З. П. и С. П. Невзоровы, Я. П. Пономарев и другие. Это была строго законспирированная группа с ясными целями и задачами, в которой царила строгая дисциплина, поддерживалась тесная связь с рабочими кружками. Большинство членов этой группы было связано с Технологическим институтом (недавно окончили его или продолжали там учиться).

Помимо технологов-«стариков», существовала группа технологов «молодых», которыми руководил студент

И. В. Чернышев (1869–1937). Иначе членов этой группы называли «желторотые» или «петухи». «Желторотые» – ибо все, включая руководителя, были очень молоды (Евгений Богатырев, Фридрих Ленгник, Сергей Митров и другие), а «петухи» – из-за задиристого, самонадеянного характера лидера Иллариона Чернышева, считавшего себя незаменимым и готового осмеять каждого. Члены группы Ульянова, рассматривая возможность объединения с этой группой, отметили, что ведет себя Чернышев крайне вызывающе, играет в группе «роль непогрешимого папы, а остальные ее члены... связаны именно этим почитанием вождя». Смогут ли они в нужный момент действовать решительно и самостоятельно? Настораживал и зубной врач Николай Михайлов – правая рука Чернышева. И действительно, он окажется матерым провокатором, и в недалеком будущем большая часть членов «Союза борьбы» будет арестована. Но пока с группой Чернышева объединения не произошло.

Особняком держалась группа студентов Военно-медицинской академии, руководимая Константином Тахтаревым (1871–1925). У этой группы кличка была «обезьяны», – может, потому, что была она плохо оформлена, организована, каждый ее член действовал по собственному разумению. Сам Константин Михайлович, сын генерала, а в будущем известный профессор-статистик, больше тяготел не к политическим, а к экономическим формам борьбы. Его часто называют одним из основоположников такого течения в российской социал-демократии, как «экономизм». Таких же взглядов придерживались его жена А. А. Якубова и другие члены группы (Виктор Катин-Ярцев, Александр Никитин, Николай Богораз и пр.). Тахтарев был против объединения в единую общегородскую организацию. Лучше, считал он, созда-

вать объединенные рабочие кассы, чтобы материально поддерживать, например, бастующих, выступающих за свои экономические права. Не согласен он был и с усилением пропаганды и агитации среди рабочих, считая, что это привлечет внимание властей и приведет к провалу. Тахтарев в тот период сам отказался объединяться с группой Ульянова.

Итак, «петухи» и «обезьяны» оказались на какое-то время в стороне от активной политической борьбы. Но жизнь со временем внесла свои коррективы и заставила их все-таки примкнуть к «старикам». Как отмечал один из соратников В. И. Ульянова М. А. Сильвин, после многочисленных арестов членов «Союза борьбы», усиления забастовочного движения рабочих, осознания необходимости умной агитации и пропаганды среди них «произошло фактическое объединение с нашим “Союзом борьбы” всех до сих пор отдельно работавших групп, группы Ленгника с его товарищами, остатков Тахтаревской группы (Катин-Ярцев), глазовской группы. Все они распространяли наши листки и координировали работу своих агитаторов с нашими». А после чуть не поголовных чисток рядов «Союза» охранкой нередко брали бразды правления в свои руки, правда, вели дела по своему разумению.

Гораздо успешнее пошло объединение с группой Ю. О. Мартова, в которую входили, помимо самого Мартова, Я. М. Ляховский, Б. И. Гольдман (Горев), В. М. Тренюхин, А. В. Неустроев и другие. Они сами пошли на контакт со «стариками» через Любовь Николаевну Радченко, жену С. И. Радченко, единомышленника Ульянова. Владимир Ильич получил дополнительную, весьма положительную информацию об этой группе и в Швейцарии, и в Вильно. Группа располагала опытными пропагандистами, хорошими связями на границе для транспортировки

литературы и, что особенно важно, имела свой мимеограф – типографскую новинку, позволяющую гораздо проще и качественнее, чем на гектографе, тиражировать прокламации и листовки. И объединение тогда состоялось как союз истинных единомышленников.

Кроме перечисленных, активно действовала в Петербурге группа народовольцев, державшаяся от всех в стороне. Она имела собственную типографию (в то время как социал-демократы – гектограф, в лучшем случае – мимеограф), печатала листовки, брошюры, пыталась выпускать периодику. В нее входили Михаил Александров (Ольминский), Александр Ергин, Михаил Сущинский, Александр Федулов и другие. В конце концов, она тоже пошла на сотрудничество и объединение.

К середине ноября 1895 года городская организация была окончательно сформирована. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (не забудем, что название он приобретет, когда Ульянов и ближайшие его соратники уже будут находиться в тюрьме) – крупнейшая российская социал-демократическая организация 1890-х годов, объединившая петербургских марксистов и рабочих. Строилась она на принципах демократического централизма и строгой дисциплины. Во главе ее стояла центральная организационная группа, состоявшая из семнадцати человек. Плюс имелись кандидаты на случай провала. От группы Мартова это были Федор Ильич Дан, Борис Исаакович Горев и Михаил Александрович Лурье. Центральная группа выбирала руководящее бюро, состав которого из-за постоянных арестов кардинально менялся, но первоначально в него входили В. И. Ульянов, Г. М. Кржижановский, А. А. Ванеев, В. В. Старков и Ю. О. Мартов. Техникой поручили заведовать Я. П. Пономареву. Центральной группе подчинялись три районные группы и

около тридцати рабочих кружков, действовавших на предприятиях. «Союз» установил связи более чем с 70 заводами и фабриками. Были налажены отношения с социалдемократами Москвы, Киева, Вильно, Нижнего Новгорода, Орехово-Зуево и других городов.

Помимо лидеров разного масштаба, в организации состояло большое число рядовых революционеров, беззаветно служивших общему делу. Б. И. Горев в воспоминаниях «Из партийного прошлого» писал: «У нас была, кроме того, обширная “периферия” сотрудников, не связанных непосредственно с центром: пропагандистов, техников, хранителей, переносчиков и распространителей литературы. И. Смидович, С. Невзорова, Стратанович, Е. Н. Федорова, Рунина, Попов, Неустроев, Леман, Богданов, Таранович и множество др. имен можно было бы еще назвать в числе этих самоотверженных товарищей, не чуждавшихся никакой подпольной работы, как бы она ни казалась маловажной, лишь бы служила общему делу. Без помощи всех этих товарищей мы не могли бы развернуть той широкой работы в массах, которая привела наконец к их революционному подъему». Воспоминания Горева были изданы в Ленинградском отделении Политиздата в 1924 году, Александр Неустроев давно уже жил в эмиграции в Финляндии, а Борис Исаакович называет его в своих воспоминаниях среди тех, кто стоял у истоков ленинского «Союза борьбы». Тогда для этого нужна была немалая смелость.

Сестру и брата Неустроевых он упоминает в этой книге (как и в некоторых других) постоянно. Например, рассказывая, как рос «Союз борьбы», пишет: «...мы, члены центра, теперь уже не знали лично и не могли знать всех членов организации. Из товарищей, тогда сравнительно отдаленных от центра, а затем заменивших нас в работе,

я помню имена Попова, Неустроева, Богданова, Лемана, Инны Смидович, Тарановича, Руниной, Труховской, Федоровой, Рябининой и Гольдмана». И снова прозвучала фамилия Неустроева. Еще бы! Они были не просто соратниками, но и близкими друзьями. Видимо, подружились, когда оба учились в Петербургском университете. В Ленинграде в 1979 году издана книга «Петербургский университет и революционное движение в России», в ней говорится: «Ряд студентов Петербургского университета был близко связан с ленинским “Союзом борьбы за освобождение рабочего класса”, ведя по заданиям “Союза” революционную деятельность в рабочих районах столицы. Наряду с М. А. Сильвиным ¹ следует назвать студента В. К. Сережникова, входившего в руководящий центр Петербургского “Союза борьбы”, и универсантов Л. Г. Попова, Н. Ф. Богданова, С. А. Гофмана, М. Н. Лемана, А. В. Неустроева, Е. Д. Стратановича и др.».

Горев, занимая в организации весьма высокое положение, часто выезжал на задания, выполнял поручения вместе с Неустроевым. Например, он вспоминал: «В начале января ² по возвращении из Вильны, куда я ездил на несколько дней и откуда привез большую корзину заграничной литературы, случайно во время обыска у арестованного Скорнякова был захвачен и я вместе с А. В. Неустроевым. Нас продержали в охранке несколько часов, пугали продолжительным арестом, но после безрезультатного обыска на квартире (по счастью, я накануне успел опорожнить привезенную мною корзину) отпустили ночью». А накануне своего ареста весной 1897 года он «отправился на Остров к своим друзьям Неустроеву и Бог-

¹ Один из наиболее близких соратников Ульянова, в то время студент юридического факультета.

² Имеется в виду 1896 год.

данову, простился с ними, сделал последние распоряжения по организации, условился насчет переписки из тюрьмы...».

Систематически поддерживал Борис Горев революционные контакты (а скорее всего, и не только революционные) с сестрой Александра Неустроева Ольгой Васильевной. Как уже говорилось, у группы Мартова были хорошие связи на финляндской границе. Поскольку Финляндия была тог-



Б. И. Гольдман (Горев)

да автономией, а не самостоятельным государством, таможенники с финской стороны не слишком строго относились к контрабанде, а с российской – больше смотрели, как бы не провезли водку или спирт. Вот и использовали революционеры сей рубеж как довольно надежный источник получения нелегальной литературы из-за границы. Из Женевы литература поступала в Стокгольм, а оттуда через Або, Гельсингфорс, Выборг, Терийоки, Куоккалу попадала уже в Россию, в Белоостров. Главными пунктами в этой цепочке были Терийоки, где в течение многих лет снимали дачу Неустроевы, и Белоостров, где находилась дача Цедербаумов (Мартова) и располагалась таможня.

Известный сибирский писатель, журналист, краевед С. А. Заплавный в «Повести о Петре Запорожце», вышедшей в Москве (М.: Политиздат, 1987. Серия «Пламенные революционеры») рассказывал, как молодежь отправлялась через границу якобы навестить знакомых, а возвращались путешественники «располневшими» от брошюр, спрятанных под одеждой. Однажды к «книгоношам» присоединились специально приехавшие из Петербурга Бо-

рис Гольдман и его приятельница курсистка Ольга Неустроева. В Куоккалу вся компания прошла беспрепятственно. Зато на обратном пути перед Гольдманом и Неустроевой неожиданно возник молодой, но уже опытный таможенник.

– Кто такие? Здешних дачников я в лицо знаю.

– Ну как же? – не растерялась Неустроева. – А это? – И она вlepила таможеннику долгий, звучный поцелуй».

После многократных арестов членов «Союза борьбы» Горев остался в организации чуть ли не за главного. В воспоминаниях «Марксизм и рабочее движение в Петербурге четверть века назад» он писал, что зима 1896/97 года стала последней, которую он провел на свободе. «В это время нам пришлось даже выйти за пределы Петербурга, – вспоминал он. – В Костроме вспыхнула забастовка на ткацкой фабрике Зотовых. Рабочие держались уже вторую неделю с большой стойкостью, хотя уже начинали голодать. Тогда мы послали костромским рабочим, через посредство местных интеллигентов, немного денег и приветственный листок от имени питерского “Союза”. С этой почетной и опасной миссией я отправил в Кострому мою молоденькую приятельницу О. В. Неустроеву, для которой это было своего рода боевым крещением в ее будущей с.-д. работе. Наша прокламация и посланные нами деньги произвели в Костроме эффект необычайный. Забастовка окончилась частичной победой».

Но вернемся к официальной истории «Союза». Недолгой была его деятельность, однако до окончательного разгрома в 1897 году успели сделать очень многое. Это и широкая пропаганда своих идей, агитация среди разных слоев населения, прежде всего среди рабочих, организация стачек, забастовок, бойкотов на фабриках и заводах; составление, печатание, распространение листовок, про-

кламаций, воззваний (было составлено 70 текстов, размноженных на ротаторе, а начинали с четырех экземпляров маленького обращения, написанного от руки). Это и сочинение серьезных трудов членами «Союза». Особой популярностью среди рабочих пользовалась брошюра В. И. Ульянова «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах». Это и провоз нелегальной литературы из-за рубежа и ее распространение... И многое, многое другое.

Подобная усиленная работа велась, несмотря на постоянные аресты, которые начались почти сразу же после организации «Союза». Оформился он к середине ноября 1895 года, а в ночь на 9 декабря (даты приводятся по старому стилю) по доносу было арестовано 57 человек – по существу, почти вся тогдашняя верхушка во главе с В. Ульяновым. Но оставшиеся на свободе тут же избирают новый руководящий центр, в который входят М. А. Сильвин, С. И. Радченко, Я. М. Ляховский, Ю. О. Мартов. «Союз» продолжает работать так, чтобы охранка подумала: арестовали не тех. Но 5 января последовали новые аресты. На этот раз взяли Ю. О. Мартова, Я. М. Ляховского, Я. П. Пономарева, рабочего И. В. Бабушкина и других. Продолжились санкции и в августе. Всего к февралю 1897 года по делу «Союза» был арестован и привлечен к дознанию 251 человек, из них 170 рабочих. Люди пошли в тюрьму, ссылку, в том числе и в Восточную Сибирь; отправлялись в глухую провинцию под надзор полиции...

Пострадали и наши герои. Бориса Горева арестуют весной 1897 года, после тюрьмы сошлют в Якутию, в Олёкминск. И случится подобное пять раз. В тюрьмах в общей сложности он проведет пять лет, в ссылках – шесть. Побывает в таких «экзотических» местах, как Енисейская губерния, Туруханский край. До 1907 года был сторонником

Ульянова. С 1900 года – меньшевик, причем отнюдь не рядовой: например, в 1909–1911 годах – член заграничного бюро ЦК РСДРП (меньшевиков). При Советской власти отошел от политической деятельности. Работал в институте Маркса – Энгельса, преподавал философию в некоторых вузах, писал книги, сотрудничал с Всероссийским обществом бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, был одним из создателей Общества историков-марксистов... Из партии меньшевиков вышел в 1920 году, что не спасло его от репрессий. В 1937 году был расстрелян как враг народа.

Одновременно с Горевым в 1897 году арестовали и Александра Неустроева. Его сослали в город Глазов Вятской губернии, о чем мы уже упоминали. Он еще сыграет значительную роль в судьбе младшего брата, так что мы к нему непременно вернемся.

Пострадала и Ольга Неустроева. В книге «Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы» (Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1973) говорится: «К дознанию по делу “Союза борьбы за освобождение рабочего класса” были привлечены также Д. В. Труховская (по мужу Ванеева), Д. Васильева, М. Н. Белокопытова, О. В. Неустроева, Е. В. Пазухина и многие другие. Почти все они были отправлены в ссылку, отданы под надзор полиции».

О дальнейшей деятельности Ольги Васильевны как революционерки точно ничего не известно. После окончания ссылки (скорее всего, в Полтаву), она до 1905 года преподавала историю в кронштадтской Александрийской женской гимназии, но проживала в Петербурге на Николаевской набережной (дом 13, квартира 4) – рядом с пристанью, откуда в Кронштадт регулярно отправлялись небольшие пароходики. А когда в 1905 году уволилась из гимназии, то переехала с Николаевской набережной

в глубь Васильевского острова. Отныне ее адрес – Кадетский переулок, 4. Похоже, что своей семьи так и не построила, вот и держалась поближе к любимому брату Александру. Именно сюда, на Васильевский остров, приезжал Горев перед надвигающимся арестом проститься с друзьями – Неустроевым и Богдановым – и оставить им массу поручений. Наверняка он возвращался сюда и позднее. А лето Ольга Васильевна проводила на даче в Терийоках.

Краеведы Карельского перешейка собрали большое количество почтовых открыток того времени. Некоторые есть в Интернете, можно прочитать сохранившиеся на них письменные послания, а среди них – связанные с О. В. Неустроевой. Хотя по документам Ольга Васильевна на службе уже не числилась, но, видимо, давала частные уроки, занималась репетиторством и посреднической деятельностью в этой сфере. Вот, например, одна из открыток. Послана из Петербурга 11 июля 1907 года. Адресована Ольге Васильевне Неустроевой в Терийоки (ныне это Зеленогорск) на дачу Аугуста и Эсы Туттунен на Кузнечной улице. Снимала ее, наверное. Привожу текст послания: «Ольга Вас.! Просьбу Вашей знакомой выполним. Прощение на курсы подано, документов никаких не требуется, а если были поданы когда-либо прежде, то лежат на курсах. Прием уже закончен, и что ее записали кандидаткой, справиться надо будет после 15 августа. Это срок для взноса платы уже принятым. Сказали, что очередь до нее, наверное, дойдет. Поздравляю с Днем Ангела. S.».

В 1907 году в Терийоках официально насчитывалось 1400 дач, на которых круглый год проживало 5000 человек. В летний сезон население поселка вырастало до 55 тысяч. Здесь имелось несколько церквей, гостиниц, ре-

сторанов, кафе, пансионов, множество русских и финских магазинов и лавок. Работали почта, телеграф, телефонная станция, банки, отделения страховых обществ и различных агентств, вели практику врачи... В 1912 году Терийоки электрифицировали. В 1913 году здесь открыли реальное училище, где вполне могла преподавать Ольга Васильевна. Стало возможным жить на даче круглый год, даже если ты работал в Петербурге: до столицы можно было довольно быстро добраться на поезде.

Благостная жизнь закончилась сразу после революции. 6 декабря 1917 года финский Сейм провозгласил независимость своей страны. Новое большевистское правительство 31 декабря признало этот факт. В одночасье множество русских граждан оказались в эмиграции – имевшие или снимавшие дачи не только в Терийоках, но и в Куоккале, Коломяках и прочих, столь престижных еще недавно местах. Многие и могли бы поначалу вернуться в Петроград, но не захотели, опасаясь царившего там бандитизма, мародерства, острой нехватки продуктов, начавшегося большевистского террора и прочих элементов хаоса. Однако через месяц началась гражданская война между красными финнами и белофиннами, непосредственно коснувшаяся и русских. Белофинны, например, сразу стреляли в человека, если только слышали русскую речь. Когда братоубийственные страсти улеглись, долго еще пришлось бороться с нищетой. Дачники исчезли. Оставшиеся жили за счет огородов, даров леса, произведений собственного труда... Титулованные особы шили, вязали, мастерили что-то на продажу.

На этом кусочке русского зарубежья оказался и Александр Васильевич Неустроев, который, как уже говорилось, переписывался со своим младшим братом Иваном Вороницыным вплоть до расстрела последнего в самом

начале 1938 года. Осталась ли в Финляндии Ольга Васильевна – точно не известно. Наверное, в письмах были сведения и о ней, но письма эти не публиковались. Ольга Васильевна рано отошла от политики и явного неприятия новой власти, как ее братья, видимо, не испытывала. Но она давно приросла сердцем к Терийокам, нашла там новых друзей и любимое дело, очень была привязана к брату Александру. Хотя о революционных метаморфозах бывшие социал-демократы, а позднее активные меньшевики, брат и сестра Неустроевы грезить перестали, но к кумирам своей молодости, особенно к таким, как Г. В. Плеханов и Ю. О. Мартов, по-прежнему относились с почтением, тем более что те очень рано ушли из жизни.

Георгий Валентинович вернулся из эмиграции в Россию после победы Февральской революции, которую он поддержал. Но активно служить ей он уже не мог – болезнь съедала последние дни его жизни. Окончательно подкосила его большевистская революция: он воспринял ее как катастрофу. В январе 1918 года жена перевозит его в санаторий Питка-Ярви доктора Циммермана, который считался очень хорошим специалистом по легочным болезням. Санаторий находился в десяти километрах от Терийок, и вполне возможно, что в это сложнейшее время, когда Плеханов оказался почти в полной изоляции, именно Неустроевы помогли поместить его туда на лечение. Но было уже слишком поздно. 30 мая 1918 года Плеханов скончался.

С другой стороны, в России у Ольги Васильевны оставалось много старых друзей и близких родных, возможно, еще жива была ее мать. Старший друг Б. И. Горев, очень активно занимаясь в 1920-е годы научной, педагогической и общественной деятельностью, мог во многом помочь ей и, видимо, помогал. Оставался любимый

Петербург-Петроград-Ленинград, была обжитая квартира, возможность заниматься любимым делом – преподавать. Видимо, по примеру младшего брата Ивана Вороницына и всегдашнего ее наставника Бориса Горева она тоже пыталась приобщиться к литературному труду. Удалось обнаружить подробные библиографические описания книг Ольги Васильевны Неустроевой (к сожалению, не сами книги). Одна – пьеса «Арест», вторая – «Жизнь Луизы Мишель». Обе изданы в Ленинградском отделении Госиздата: первая – в 1928 году в серии «Библиотечка работницы и крестьянки», вторая – в 1929-м. Тематика книг так сродни нашей Ольге Васильевне! И все-таки пока это остается лишь предположением.

БЕЗОБЛАЧНОЕ ДЕТСТВО и СТРОПТИВАЯ ЮНОСТЬ

Но пора обратиться к нашему главному герою – Ивану Петровичу Вороницыну. Мы остановились на том, как в замечательном средневековом городе Выборге встретились и поженились его родители – штабс-капитан 92-го Печорского пехотного полка Петр Иванович Вороницын и молодая вдова Неустроева с двумя детьми на руках.

Но молодые супруги прожили здесь недолго. В 1883 году 92-й Печорский пехотный полк, в котором служил Петр Иванович, перевели из Финляндского в Санкт-Петербургский военный округ. Полку выделили новые квартиры в городе Нарва, разместив в казармах на территории средневекового замка. Семьи снимали жилье в самом городе.

Обычно те немногие авторы, которые кратко, но все же писали об Иване Вороницыне, повторяли одно и то же и, как правило, даже не меняли выражений. Чаще всего они сообщали миру, что Иван Петрович – «сын подполковника П. И. Вороницына. Вырос в Житомире. В 17 лет ушел из дома на почве революционных убеждений...» – и далее в том же духе. Получается, что Петр Иванович, отец нашего героя, всю жизнь проходил в подполковниках, подполковником и на пенсию вышел. А ведь в самых ответственных анкетах сын его писал, что родился в семье штабс-капитана. Чекисты же, приговаривавшие его к расстрелу, не раз повторяли, что И. Вороницын – сын генерала.

Каким же длинным и многотрудным был путь выпускника военного училища (академий Петр Иванович явно не кончал), по всей видимости, не богатого и не хваткого, от невысокого обер-офицерского чина штабс-капитана до подполковника – чина старшего офицерского состава. О генерале пока не говорим. Но ведь и штабс-капитаном сразу после училища становились далеко не все, обычно – круглые отличники, проявившие себя сверхположительно во всех отношениях, как, например, Л. С. Карум, шурин знаменитого писателя М. А. Булгакова, о котором мы еще будем говорить. Скорее всего, наш Петр Иванович начал с поручика, если не с подпоручика.

Служба в царской армии была делом многотрудным и не очень благодарным, особенно в пехоте. Даже в мирное время. Несвобода во всем (например, и жениться без разрешения и одобрения начальства офицер не мог), беспрекословное подчинение более высоким чинам, небольшое жалованье, долгий рабочий день (9–10 часов зимой, 10–11 – летом, не считая экстренных вызовов в любое время суток) и т. д. Продвижение по службе шло весьма и весьма медленно. Чтобы вырасти от штабс-капитана до подполковника, нужно было вначале стать капитаном, а до этого офицер должен был послужить на должности помощника командира роты или помощника командира батальона и в чине штабс-капитана пробыть четыре года. Таким же длинным был путь от капитана до подполковника. Как пишут специалисты, «чин подполковника капитан мог получить лишь будучи назначенным на должность командира батальона или помощника командира полка. И при этом иметь срок службы в чине капитана 4 года». В Нарве Вороницыны проживут 12 лет, так что Петр Иванович успеет здесь послужить и штабс-капитаном, и капитаном, а перед переходом в Житомир, возможно, и подполковником.

Что же это был за город, в котором семья прожила 12 лет? Нарва, по сведениям ливонских летописей, была основана в 1223 году. Во многом похожая на Выборг и находящаяся примерно на таком же расстоянии от Санкт-Петербурга, к середине XIX века она тоже превратилась в центр бурно развивающейся промышленности, прежде всего текстильной, что, естественно, стало толчком ее роста во всех отношениях. Вот как описал Нарву середины XIX века А. В. Петров в книге «Город Нарва, его прошлое и достопримечательности» (Петербург, 1901): «Старинные шведские здания из местной плиты с черепичными остроконечными кровлями перемешались здесь с деревянными русскими домами недавней постройки, узкие и кривые переулки уперлись в широкие и просторные улицы и площади, зелень садов прислонилась к старой, проросшей мхом и полуразвалившейся ливонской стене,



Вид города Нарвы

А. В. Петровъ.

ГОРОДЪ НАРВА.

ЕГО ПРОШЛОЕ

и

ДОСТОПРИМѢЧАТЕЛЬНОСТИ

въ связи съ исторіей упроченія русскаго господства на Балтійскомъ побережьи.



1223—1900.

Съ портретомъ Петра Великаго, съ 48 иллюстраціями и планами
сраженій 1700 и 1704 г.г.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

1901.

Обложка книги

«Город Нарва. Его прошлое и достопримечательности». СПб., 1901

а там, где сдавленная берегами Нарова ниспадает шумным водопадом с утесов, положенных властною рукою природы на ее пути, выросли гигантские корпуса всемирно известных фабрик».

Развитие промышленности, как мы уже говорили, действительно много дало городу. По реке Нарве (иначе Нарове) пошли пароходы. В 1865 году начал работать богатый краеведческий музей. В 1870-м город пересекла железная дорога С.-Петербург – Гельсингфорс, в 1876-м заработал водопровод... Заметно оживил жизнь Нарвы передислоцированный сюда Печорский пехотный полк. Загремела полковая музыка, зачастили балы, свадьбы. Начал полк принимать участие и в более солидных мероприятиях. Например, учредил школу маленьких музыкантов, в которой могли бесплатно учиться мальчики начиная с девяти лет. Не забыли и о трагичном. 1 октября 1887 года на отведенном городском участке открыли и освятили кладбище, предназначенное для чинов полка. Позднее здесь возведут часовню.

Общие дети супругов Вороницыных родились в Нарве: Иван – в 1885 году, его младший брат Сергей – в 1886-м. Сергей Петрович во время Гражданской войны станет сражаться в белых войсках, затем эмигрирует вместе с семьей. Будет жить в Югославии, позднее в Германии, мечтая возродить былую Россию пусть даже с помощью немецких штыков. Сыновья продолжают его дело. Как и со старшим братом Александром Неустроевым, Иван Петрович будет переписываться с югославскими эмигрантами, что окончательно подорвет его репутацию в Советской России.

Возможно, у братьев Ивана и Сергея Вороницыных была еще сестра Елена. Прямых свидетельств этому нет, но в многотомнике «Незабытые могилы. Российское за-

рубежье» находим интересный материал о некоем Про-
скурине Дмитрие Григорьевиче и его семье, проживав-
ших в Польше еще с дореволюционных времен. Опытный
юрист, как коренной житель имевший право жить и ра-
ботать в Варшаве, он до конца дней своих (скончался
в 1925 году в возрасте 48 лет) защищал несчастных рус-
ских эмигрантов, многими тысячами хлынувших в со-
седнюю Польшу и попавших в такие невыносимые усло-
вия, каких не было у беженцев ни в какой другой стране.
Женой Дмитрия Григорьевича была Елена Петровна,
в девичестве Вороницына. Кстати, пермские знакомые
И. П. Вороницына полагали, что он переписывался
с кем-то, живущим в Польше.

Разбрасает судьба по разным странам некогда друж-
ную и счастливую семью. Но пока они все вместе, в при-
ветливой и уютной Нарве. Здесь Иван и Сергей пошли
в гимназию. Семья надеялась, что наконец-то установив-
шееся спокойное существование будет продолжаться
и далее, ведь за двенадцать лет жизни в Нарве, можно ска-
зать, корнями приросли к этому городу. Но в 1895 году
Петра Ивановича назначают командиром 1-го батальона
19-го Костромского пехотного полка 5-й пехотной диви-
зии, дислоцировавшегося в городе Житомире Волынской
губернии. Теперь уж точно в чине подполковника. При-
шлось семье переезжать в Житомир.

Житомир – один из старейших городов Киевской Руси,
расположен на северо-западе Украины. Согласно легенде
(именно легенде, ибо документально это не подтвержде-
но), основан в 884 году. Пережив многочисленные ката-
клизмы истории, после второго раздела Польши был при-
соединен к Российской империи. В 1795 году стал уездным
городом Волынского наместничества, в 1804-м – губерн-
ским центром. Город был весьма привлекателен для мно-

гих, но особенно – для малоимущих, ибо, помимо здорового климата, живописных, прямо-таки романтических окрестностей, большого количества садов и парков, отличался дешевизной жизни.

Очень подробно, с большой любовью описал Житомир шурин великого писателя М. А. Булгакова Леонид Сергеевич Карум (1888–1968). Он родился в Прибалтике, но после преждевременной смерти отца-офицера оказавшаяся без средств семья вынуждена была искать места более хлебные. Вот и двинулись из Риги. И не прогадали. С небольшими перерывами Карум проживал здесь с 1900 по 1912 год. Для Леонида Житомир станет «городом прекрасным, городом счастливым». Здесь он найдет много друзей, с золотой медалью окончит 2-ю гимназию, на всю жизнь увлечется оперным искусством, с удовольствием будет петь в церковном гимназическом хоре, полюбит длительные прогулки в живописных окрестностях... Не случайно, успешно окончив Киевское военное училище, по собственному желанию вернется в Житомир, чтобы служить в дислоцировавшемся здесь 19-м Костромском пехотном полку, в котором служил и отец Ивана Вороницына – Петр Иванович.

На склоне лет Карум напишет «горестные заметки» – более 3000 страниц рукописи под названием «Моя жизнь. Рассказ без вранья»: «пронзительно-откровенное повествование о времени и о себе», как скажет один из его комментаторов. Приведем несколько отрывков из этой рукописи, чтобы представить себе город, куда судьба привела нашего героя подростком.

«Житомир... расположен на высоком левом берегу реки Тетерев, впадающей в Днепр. Берега Тетерева в районе Житомира очень живописны. Извилистая, не особенно широкая, метров 40 шириной, неглубокая и несудоходная

река течет среди величественных скал и отвесных берегов, покрытых большей частью дубовым, смешанным или сосновым лесом... Там, где ветры и дожди смыли почву, над рекой виднеются гранитные скалы, берега из гнейса и кварца».

«Какой хороший климат в этом городе! Летом жарко, дожди сильные и теплые, они не моросят из безнадежно серого неба, как в Риге. А ночи темные, с яркими звездами. Зимой снега много, он не тает, а лежит белый, сугробами... Как прекрасна весна, когда цветет сирень и белая акация! А цветет она на всех улицах, во всех усадьбах. Весь город полон аромата».

«...Меня приводили в восторг пирамидальные тополя, высоченные, ростом в шесть этажей. Таких деревьев я не видел раньше. Все деревья, вся зелень были другого цвета, чем в Риге: они были темно-зеленые. Вечером при луне улицы были очень красивы».

«Вокруг Житомира располагались тучные, плодородные поля, золотившиеся летней порой густой пшеницей или кровавыми прожилками сахарной свеклы, но это не было степью. Поля ограничивались, особенно на правом берегу реки Тетерев, мощными лесными массивами, за которыми проводился заботливый уход...»

Конечно, на трех тысячах страниц рукописи Житомир – всего лишь маленький островок счастья в море многотрудной, порою трагической жизни. В записках нашлось место и рассказу о том, как после трех лет службы в полку Леонид Сергеевич уехал учиться в Петербург в Военно-юридическую академию и успешно окончил ее, как женился на сестре М. А. Булгакова Варваре, студентке Киевской консерватории, как в чине капитана участвовал в Первой мировой войне и служил полковником в Белой армии, поведал о репрессиях, которые пришлось пере-

жить ему и его семье в 1930-е годы... Понятно, какими светлыми были среди всего этого воспоминания его о Житомире.

А вот некоторые официальные данные о городе, где прошли детские, отроческие годы Ивана Вороницына и куда он, не раз покидая ставшие родными края, возвращался снова и снова. Когда в 1895 году семья Вороницыных переселилась в Житомир, город быстро развивался как промышленный и торговый центр. Росло его население. Согласно первой переписи, проведенной в Российской империи в феврале 1897 года, в Житомире проживало 65 895 человек, из них 30 572 еврея, 16 944 русских, 9152 малоросса, 7464 поляка, 677 немцев и немного представителей иных национальностей. В 1913 году здесь будет проживать уже 90 700 человек. В сравнительно небольшом Житомире представители всех имеющихся здесь конфессий имели свои храмы и молитвенные дома. В городе в конце XIX – начале XX века действовали 14 каменных православных церквей, не считая домашних, во главе с златоглавым Свято-Преображенским собором, три католических костёла, лютеранская кирха, две большие синагоги и 54 хедера (молитвенные дома и одновременно начальные религиозные школы для мальчиков-евреев)...

Имелось несколько средних учебных заведений: две мужские гимназии, женская частная гимназия Овсянниковой, духовные семинарии – православная и католическая, семинария учительская. В Житомире выходили газеты: «Волынские губернские ведомости», «Волынь», «Житомирский листок объявлений». Можно было купить приличные книги. Шла бойкая торговля лесом, хлебом, скотом, хмелем и прочим. Крупных промышленных предприятий не было, но мелких заводиков и фабрик, больше похожих на мастерские, – множество. Среди них 4 коже-



Житомир. Общий вид

венных, 5 кирпичных, 3 свечных, 5 мыловаренных, 1 винокуренный. Славился Житомир перчатками, изготавливаемыми на фабрике Трибеля, который имел свои магазины не только в Житомире, но и в Киеве, Бердичеве и в других городах, а еще гнутой мебелью, которую изготавливали аж 10 предприятий. Работала электростанция.

Житомир долго оставался оторванным от остального мира, не имея ни водного, ни железнодорожного сообщения с другими городами. Наконец, в 1896 году провели узкоколейку до Бердичева, а уж оттуда, сделав пересадку, ехали на запад или в Киев. В те времена каждая железная дорога была самостоятельным ведомством, со своими вокзалами, билетами и прочим. Построили свой вокзал и в Житомире, который Леонид Карум характеризовал как «небольшой... деревянный, выстроенный в каком-то русском лубочном стиле с бесчисленными башенками». Зря он столь неуважительно отзывался о внешнем облике вокзала. Это дошла до Житомира чрезвычайно модная

в то время «ропетовская архитектура», названная так по имени создателя этого направления модерна Ивана Павловича Ропета (псевдоним Ивана Николаевича Петрова) (1845–1908). Историк пермской архитектуры А. С. Терёхин так высказывался об этом стиле: «В силу имитации форм русской архитектуры прошлых веков и использования пропильной резьбы по дереву, нередко покрывавшей весь фасад, дома приобретали вычурный, декоративный облик». Строили подобное и в Перми.

Несмотря на сложности поездки по железной дороге, занимавшей, например, до недалекого Киева не один день, большинство жителей Житомира предпочитало все же поезд, а не так называемый дилижанс, который до столицы края добирался за 8 часов: отправлялся из Житомира в 3 часа дня, в 11 вечера уже был в Киеве, на еврейском базаре, где находилась его конечная станция. Карум не без юмора описывает это средство передвижения, не отличавшееся ни скоростью, ни комфортом: «...между Жито-



Мужская гимназия



Соборная площадь

миром и Киевом... по Брест-Литовскому шоссе ходил огромный дилижанс, запряженный 6-ю лошадьми. Старые лошади, чаще всего слепые. Впереди на козлах, очень высоких, сидел кучер с огромным кнутом. Рядом с кучером могли сесть еще 4 пассажира – это был III класс. Внутри дилижанса, вроде широкой кареты, были отделения для I и II классов. Багаж клали на крышу. Но иногда желающих ехать было так много, что и на крышу ставили скамейку, и там создавали тоже III класс. От Житомира до Киева 130 км, и “балагула” (этим еврейским словом называли дилижанс) проходила их за 8 часов».

В 1899 году в Житомире появился трамвай – один из первых на Украине. Всего было 4 маршрута. Трамваи ходили часто, через каждые 5 минут. Город выглядел хотя и уютно, но провинциально. Карум в своих записках отмечал, что самой аристократической улицей Житомира была Киевская, по которой от центра шла трамвайная линия на вокзал. «На ней, в глубине двора, засаженного липами

и каштанами, стоял недалеко от центра ветхий одноэтажный губернаторский дом, комнат в 12, а по бокам от него лицом друг к другу и боком к улице находились два деревянных флигеля, в которых размещались канцелярия губернатора и губернское присутствие». На этой улице были единственные две приличные гостиницы под названиями «Франция» и «Рим», а «неприличных было очень много – десятка два – они размещались по разным улицам». На этой же улице располагались лучшая кондитерская «Франсуа», лучшая фотография Корецкого и самый большой универсальный магазин.

Самой бойкой торговой улицей была Бердичевская, где и находились все большие магазины, казначейство и Казенная палата, два частных банка. Целый квартал занимала 1-я житомирская гимназия. Именно в ней учились Иван Вороницын и его брат Сергей, а Леонид Карум – во 2-й, недавно открытой, поразившей бывшего прибалтийского гимназиста комфортом, современностью и прогрессом абсолютно во всем.

Главным притяжением для юного гимназиста Леонида Карума в Житомире стал городской театр, которым жители города очень гордились. Построенный в 1890-е годы, он, видимо, предназначался для Киева, но по каким-то причинам оказался в Житомире. Карум вспоминал его как небольшой, двухэтажный, построенный на тесноватой площади, «где сходятся Пушкинская, Театральная и Банная улицы, несколько удаленной от центра города... В партере всего 11 рядов, в каждом ряду 25 мест, по бокам два яруса лож, в первом ярусе – бенуаре – 12 лож, во втором – бельэтаже – 13. Над ложами галерея. По бокам сцены две большие ложи, одна – губернаторская, другая – городского головы». В театре в основном выступали гастролеры. С сентября по декабрь на сцене господствова-

ла драма, с декабря по конец февраля – опера. Сцена житомирского театра перевидала много известных актеров и певцов. Например, в 1901 году свое искусство горожанам показала труппа Петербургского Императорского Александринского театра во главе с М. Г. Савиной. При всем восхищении Савиной главной страстью Карума в эти годы и на всю жизнь стала опера. Он и сам хорошо пел. И в Прибалтике, и в Житомире был неизменным участником гимназического церковного хора.

Поскольку Волынская губерния была в те годы губернией пограничной, здесь находилось множество воинских соединений, в том числе и в самом Житомире, где квартировали три пехотных полка: 17-й Архангелогородский Великого князя Владимира Александровича полк, 19-й Костромской и 20-й Галицкий (последний обитал в пяти километрах от города, на хуторе Врангелевка.) Кроме пехотных полков, в Житомире находились 5-я артиллерийская бригада, 16-я конно-артиллерийская батарея и Донская казачья батарея. Но нас, прежде всего, интересует 19-й Костромской пехотный полк 5-й пехотной дивизии, куда на должность командира 1-го батальона в 1895 году перевели Петра Ивановича Вороницына, ставшего подполковником уже по прибытии в Житомир или перед отъездом из Нарвы.

Полк был сформирован 25 июня 1700 года князем Репниным из рекрутов. Неоднократно переименовывался. Участвовал во многих сражениях во время Отечественной войны 1812 года, в войне с турками и в подавлении польского мятежа, в Крымской войне... 17 апреля 1856 года получил наименование Костромского, а 25 марта 1864 года к названию полка прибавили номер 19. В 1895 году полк из города Ромны перевели в Житомир. В том же году, как

сказано выше, семья Вороницыных переселилась в этот город и осела здесь надолго.

Итак, Петр Иванович Вороницын начал свою службу в Житомире в чине подполковника и завершил ее, если верить пермским чекистам, генералом. Когда и как успел он пройти этот путь? В 1900 году 19-й Костромской пехотный полк праздновал свой юбилей – двухсотлетие. Поздновато спохватились с написанием истории полка. Времени подобрать серьезного автора и кому-то месяцами сидеть в архивах не было. Вот и поручили это молодому поручику Владимиру Богдановичу, который, как сам написал в предисловии, работал над сочинением всего год, очень торопился и успел его завершить к юбилею лишь благодаря помощи своего бывшего командира Стефана Иосифовича Курча, «по желанию и стараниями которого было начато это важное дело». Можно сомневаться в качестве сочинения, но в достоверности фактов конца XIX века, свидетелями и даже «делателями» которых были и Курч, и Богданович, сомневаться не приходится. Жаль, что изложение событий заканчивается 1900 годом, годом юбилея, а то бы мы узнали о службе Петра Вороницына больше. «Памятная книжка Волынской губернии на 1905 год», изданная в Житомире в 1904 году и сообщающая сведения, в том числе и по офицерскому составу 19-го Костромского пехотного полка, констатирует, что П. И. Вороницын – все еще командир батальона и подполковник.

И кто знает, сколько бы еще он оставался в этом чине, если бы не трагическое событие в жизни страны и армии – начавшаяся в январе 1904 года Русско-японская война. Как гласят официальные источники, 19-й Костромской пехотный полк «был отоброшен, в конце 1904 г. пере-

дислоцирован на театр военных действий, но в боях участия не принимал». Скорее всего, Петра Ивановича в силу его далеко не молодого возраста к участию в броске к Тихому океану не привлекали, оставили в Житомире, где с уходом большей части полка на фронт наверняка появились вакантные места и возможность получить чин полковника, что, видимо, и произошло. А вот в сведениях о составе полка за 1909 год П. И. Вороницын уже не упоминается. Скорее всего, вышел на пенсию. К этому времени для выхода на пенсию или в отставку у Вороницына были все основания. Согласно официальному положению, уволиться офицеры всех чинов могли в любое время, кроме военного, коли возраст и стаж позволяли. Подполковники на пенсию выходили в возрасте от 56 до 58 лет, полковники и генералы – от 58 до 62 лет. Петру Ивановичу было явно далеко за 50. Официальное положение гласило, что «при увольнении по предельному возрасту, если офицер аттестуется положительно, ему присваивался очередной чин вне зависимости от должности». Полковники при увольнении в отставку получали чин генерал-майора с общей выслугой офицером 30 лет. Наверняка Петр Иванович служил не меньше. Можно было бы сказать: жизнь удалась, если бы не трагедия с сыном Иваном...

Ребенком Иван Вороницын рос беспроблемным: послушным, умным, любознательным, очень привязанным к семье. Неплохо успевал в гимназии, поначалу в нарвской, а с 1895 года – в житомирской № 1. Но, как уже говорилось ранее, огромное влияние на Ивана оказывал его старший сводный брат Александр Неустроев, в 1897 году арестованный по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и сосланный в город Глазов Вятской губернии. По его примеру Иван с 4–5-го класса начал увлекаться чтением радикальной журналистики, нелегальной

литературы. Вскоре он становится членом тайного учебного кружка; вместе с одноклассниками, членами этого кружка, составляет революционные прокламации, печатает их на гектографе и пытается распространять. Неопытные конспираторы вскоре были раскрыты. Кара последовала незамедлительно. Весной 1902 года Иван был исключен из 6-го класса гимназии. Понятно, какой скандал разразился в семье! Семнадцатилетний Иван порывает с семьей и уезжает в Глазов – к месту ссылки любимого брата Александра.

Были ли Леонид Карум и Иван Вороницын знакомы в эти годы? Житомир – город небольшой. Гимназия № 1, в которой учился Иван Вороницын, и № 2, где получал образование Леонид Карум, находились недалеко друг от друга, и пути их просто не могли не пересекаться. И всё же, даже если они и были знакомы, то чисто номинально. Вороницын был на три года старше Карума, а в отроческие годы это огромная преграда, если, конечно, молодых людей не связывает что-то судьбоносное. Казалось бы, их должно было связывать то, что оба происходили из офицерских семей, оба очень любили Житомир, оба были людьми волевыми и целеустремленными...

Но разделяло их несравненно большее: разная самооценка, разные взгляды на жизнь, разный круг интересов, да и социальное положение совершенно разное. Отпрыск обеспеченной, благополучной семьи подполковника Иван Вороницын мог и рисковать своим статус-кво: это было так интересно, так романтично – почувствовать себя настоящим революционером, перелопатить скучноватую жизнь благополучного Житомира! Карум же нахлебался жизни приживала по углам добреньких родственников. Его мать, одна растившая двух сыновей, с большим трудом устроившись сиделицей в винной лавке, наконец-то получила соб-

ственный угол при ней. И Карум очень дорожил этим их домом, где они наконец-то были сами себе хозяева. Он мечтал стать человеком обеспеченным и уважаемым и твердо шел к своей цели. Гимназию он окончит с золотой медалью, а потом с отличием – военное училище, позднее – академию. Неизвестно, что стало бы с обоими житомирскими гимназистами, если бы не революция. Но революция случилась, и они оба потеряли в ней всё.

А пока исключенный из 6-го класса гимназии Иван Вороницын приезжает в Глазов, где вся ссыльная команда убежденнейших социал-демократов встречает его как равного. Именно здесь, среди близких по духу людей, под их влиянием он становится настоящим марксистом. Но новые друзья не только воспитывают молодого Вороницына как политика. Они пробуждают в нем тягу к знаниям, к самообразованию. Недолго (всего лишь несколько месяцев) пробыл Вороницын рядом с братом и его товарищами, но начал много читать, почувствовал интерес к литературным занятиям.

А еще страстно пристрастился к охоте. Позднее это будет скрашивать ему жизнь и в Архангельской губернии, и в Перми. Доцент Вятского государственного гуманитарного университета Д. А. Калинина в статье «Организация свободного времени как элемент повседневной жизни политических ссыльных конца XIX – начала XX в. (на примере Вятской губернии)» писала: «Еще одним занятием, которым в условиях Вятской губернии буквально заражались политические ссыльные, была охота. Охота была способом на время скрыться из-под надоевшего надзора со стороны полиции, выйти за пределы города и насладиться природой и одиночеством. В большинстве случаев охота приносила поднадзорным удовольствие от обще-

ния с природой и возможность отвлечься от сложных жизненных обстоятельств».

Осенью 1902 года Иван Вороницын уехал в Харьков. Он начал готовиться к экзаменам на аттестат зрелости. Но Харьков привлекал его не только возможностью наконец-то получить среднее образование, а со временем, возможно, и высшее в знаменитом Харьковском университете. Видимо, в Глазове он немало наслышался о славных революционных традициях этого города, известных еще со времен народничества, и в этом плане не отстававшего от таких революционных центров, как Петербург, Москва, Киев, Одесса.

В 1895–1896 годах в Харькове создаются социал-демократические кружки и группы, в том числе и рабочие на предприятиях. Агитация становится все более широкой и целенаправленной. В августе 1898 года Харьковская социал-демократическая организация приняла постановление создать Харьковский комитет РСДРП. Комитет вскоре начал выпускать листовки, организовывать многочисленные митинги. Но в 1901 году на некоторое время он прекратил свою деятельность, ибо почти все его члены были арестованы. И тогда группой харьковских социал-демократов создается по примеру петербургского местного «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», поддерживавший тесные связи с ленинской «Искрой». В городе начинает работать оргкомитет по созыву II съезда РСДРП.

Юный Иван Вороницын, пока еще не битый жизнью романтик, с головой погружается в эту удивительную и справедливейшую, как ему кажется, борьбу за всеобщее счастье. Он становится членом РСДРП, пока еще единой, не поделенной на меньшевиков и большевиков, работает

в созданном комитетом «Союзе учащейся молодежи», с начала 1903 года руководит социал-демократическим кружком рабочих. Но 25 марта 1903 года его арестовывают и привлекают к дознанию о Харьковском комитете РСДРП. При обыске у него нашли запрещенные печатные издания и рукописи революционного содержания, в частности проект программы ведения пропаганды, написанный его рукой. Предъявленное ему обвинение гласит: участие в деятельности Харьковского комитета РСДРП, распространение нелегальной литературы.

Это пока всего лишь обвинение, приговор не оглашен, но Иван находится в одиночном заключении в Харьковской губернской тюрьме, затем в арестантских ротах на Холодной горе. После чего этапом его препровождают в Москву, в Бутырки. Коли нет приговора, который по неведомой причине все задерживается и задерживается, Вороницын требует освобождения и, чтобы ускорить процесс, дважды устраивает голодовки. Вторая голодовка длилась девять дней.

Невольный товарищ Вороницына по несчастью в Бутырках, а позднее в Холмогорах Владимир Николаевич Залезский (1880–1957), член РСДРП с 1902 года, тогда социал-демократ, а позднее большевик, в 1925 году выпустит книгу «На путях к революции», в которой так опишет сей инцидент: среди «прибывших из Харькова политическим этапом и тюремной администрацией произошло столкновение при приеме, в результате чего один из политических, Вороницын, отправлен в карцер, где открыл голодовку. Нам предлагалось присоединиться к протесту башенников и потребовать выпуска Вороницына из карцера, а в случае отказа – присоединиться к голодовке. Никакого протеста в нашей камере организовать не удалось».

В заключении Вороницын оставался до 18 октября, когда на основании постановления Особого совещания, утвержденного министром внутренних дел 12 октября 1903 года, он и группа товарищей были высланы до решения дел в Архангельскую губернию. Как писал Залежский, в Архангельске ссыльные узнали, что Вороницын и еще один из товарищей назначены отбывать «гласный надзор полиции в г. Холмогоры», куда они и прибыли 15 ноября 1903 года.

Это ныне Холмогоры – заштатный районный центр, не очень большое и весьма неприглядное село, продолжающее скукоживаться и, вопреки холмогорским краеведам, ничем не могущее привлечь самых любознательных туристов, разве что деревней Ломоносово, находящейся в трех-четыре километра от Холмогор, посреди реки Северной Двины, на Курострове, где когда-то родился и рос российский гений. А ведь у селения такая длинная и такая славная история! Основано оно было почти девять веков назад – недавно Холмогорам исполнилось 880 лет! Расцвет города (а вплоть до 1925 года это был именно город) пришелся на вторую половину XVII века, когда Холмогоры были столицей Двинской земли, политическим, военным и религиозным центром Русского Севера. Расположенные в какой-то сотне верст от Белого моря, Холмогоры надежно соединяли Русь с другими странами.

Все начало меняться в худшую сторону уже при Петре I. Поначалу, трижды посетив Холмогоры (в 1693, 1694 и 1702 годах), Петр намеревался сделать из преуспевающего города центр судостроения и морской торговли. Но оказалось, что Северная Двина в районе Холмогор недостаточно глубоководна для прохода больших морских судов. И взоры Петра обратились к селению, расположенному также на берегу Двины, но на семьдесят верст ближе

к Белому морю. Основано оно было по приказу Ивана Грозного в 1584 году как крепость, защищающая русские земли от норвежцев, под названием Новохолмогоры. С 1613 года за селением официально утвердилось название Архангельский город, а позднее – просто Архангельск. С переносом в Архангельск всех основных сфер деятельности столицы края, особенно архиерейской кафедры, Холмогоры начали хиреть. Как писал еще в XIX веке известный российский этнограф-беллетрист Сергей Васильевич Максимов, в Холмогорах начался застой, затем упадок и всеобщее упадочническое уныние.

И чем быстрее хирел город, чем сильнее навевал на приезжих тоску и безысходность, тем более подходил на новую роль – стать чуть ли не северной столицей ссылки заключенных, особенно политических. О Холмогорах этого периода писали многие: и ученые, и литераторы-профессионалы, и опытные, небесталанные мемуаристы, и сами ссыльные... Приведем несколько выдержек из различных сочинений, чтобы лучше понять, в какой тяжелой обстановке очутился наш совсем еще юный, восемнадцатилетний герой, притом что вина его еще не доказана, приговора нет.

Во времена Екатерины II и Павла I Холмогоры еще сохраняли следы былого благополучия. Так, в начале XIX века архангелогородский священник К. С. Молчанов писал, что в городе в это время были 7 церквей, малое народное училище, богадельня для престарелых и бедных, «казенного строения 15 домов деревянных; обывательских домов, деревянных же, 300; лавок 150». Первым, кто посвятил Холмогорам целое сочинение, был уроженец Архангельска Василий Васильевич Крестинин (1729–1795) – историк, географ, общественный деятель, краевед, основатель Исторического общества, автор многих сочинений,

в частности таких, как «Начертание истории города Холмогор» (Петербург, 1790) и «Краткая история о городе Архангельском» (1792). Василий Васильевич рассказывает и об удивительной природе края, и об удачном расположении Холмогор на берегу могучей реки, и о разнообразных ценных товарах, в изобилии привозимых сюда из разных северных мест, и об оживленной торговле ими, и о... бедности города. Ибо всё, чем так бойко торгуют купцы, принадлежит не Холмогорам, а Архангельску, хотя большинство этих купцов родом из Холмогор, давно уже постоянно проживают они в губернском центре, куда и увозят немалую выручку. Крестинин перечисляет многие строения, появляющиеся в городе, и многочисленные пожары, эти строения, в том числе и храмы, уничтожавшие.

Трижды побывал в Холмогорах Сергей Васильевич Максимов (1831–1901) – этнограф, беллетрист, почетный академик Петербургской Академии наук. Первый и третий приезды были мимолетными, а вот во время второго удалось подробнее познакомиться с Холмогорами и сделать вывод о «плачевной судьбе города, незаслуженной, но неизбежной». «Над Холмогорами лежит роковая судьба безлюдья и бедности, – писал он и заключал совсем уж безнадежно: – Холмогоры показались мне и тогда беднейшим из самых бедных городков нашего обширного и разнообразного русского царства». И вроде бы о чем-то положительном поминал: о знаменитой холмогорской породе коров, о прекрасных костяных поделках местных жителей, об успешной работе двух кожевенных заводов... «А между тем, – писал он, – город так беден. Дома расшатались и погнили, узкие и кривые улицы, вытянутые какими-то углами на пространстве двух-трех верст, глядят печально и неприветливо; внутренность церквей потускнела от запустения как будто и от крайней скудости;

мосты во многих местах рухнули, с некоторых домов срывало крыши...» А вот кабаков много. Они чуть ли не на каждом перекрестке.

По описаниям Константина Константиновича Случевского (1837–1904), поэта, писателя, переводчика, сопровождавшего Великого князя Владимира Александровича в его путешествии, в частности на Русский Север, можно судить, как выглядели Холмогоры в 1885 году: «Это, собственно говоря, не город, а не особенно большое село Центральной России: в нем около тысячи жителей; луга и болота проходят в самый город, и холмогорскому скоту совершенно вольготно лежать даже на улице. Вправо от пристани тянулись разрушенные, накренившиеся лачуги; нам объяснили, что это местный гостиный двор».

Можно приводить высказывания еще очень многих авторов, единодушно признающих Холмогоры местом суровым, унылым, неприглядным и бесперспективным. Например, архангельского педагога и художника Василия Петровича Верещагина (1826–1851), однофамильца знаменитых живописцев, автора «Очерков Архангельской губернии», считавшего, что «холмогорцы – сущие нелюдимы». Или знаменитого революционера-анархиста, географа и геолога Петра Алексеевича Кропоткина (1842–1921), в сочинении «О русских и французских тюрьмах» (1887) тоже описавшего неприглядные Холмогоры и одним из первых отметившего, что город сей был не только местом ссылки, но и этапом, по которому проходили осужденные иногда раз в неделю, иногда чаще, и останавливались в специально отведенном для этого помещении, один внешний вид которого даже бывалых приводил в недоумение. Это была «полугнилая изба с покосившимся набок срубом, с прогнившей крышей, в которой торчало

жалкое подобие дымовой трубы, с кривыми, едва пропускавшими свет окнами».

Летом 1894 года знаменитый художник Василий Васильевич Верещагин с семьей отправился на небольшом кораблике по маршруту Устюг – Архангельск и даже по Белому морю до Соловецкого монастыря, по пути останавливаясь во всех значимых селениях. Итогом этого путешествия стала книга «На Северной Двине. По деревянным церквям», выдержавшая несколько изданий. Верещагин писал, что когда приближаешься к Холмогорам, «мало-помалу очарование исчезает. Видишь только кучу беспорядочных, безобразных домов и несколько церквей».

Но все вышеприведенные высказывания, как бы ни были хронологически приближены ко времени появления в Холмогорах Ивана Вороницына, все же были сделаны несколько ранее. Однако имеются воспоминания, в которых восемнадцатилетний Вороницын, бедовая голова, упоминается неоднократно. Во-первых, это названные выше мемуары Владимира Николаевича Залежского, в будущем видного ученого и государственного деятеля Советского государства, «На путях к революции», во-вторых – Михаила Васильевича Ильинского (1880 – после 1906) под названием «Архангельская ссылка». Последняя книга увидела свет в Петербурге в 1906 году, а совсем недавно, в 2009-м, была переиздана в Москве. Профессиональный революционер, социал-демократ, осужденный за провоз нелегальной литературы из-за рубежа, Ильинский появился в Холмогорах в январе 1904 года.

Вот как описал он город в своей книге: «Холмогоры считаются уездным городом. Но, увы, что это был за “город”! Полторы улицы, обстроенных небольшими деревянными домишками, в которых ютилось около полуто-

ры тысячи душ населения, три, четыре старинных церкви, несколько лавок, в которых нельзя было найти даже таких необходимых вещей, как лампа, кровать, – вот таков был внешний вид этого города. На улицах, занесенных глубокими сугробами снега, отсутствовало всякое движение. Кое-где из-под снежного покрова торчали какие-то колья, деревянные изгороди с поломанными дранями, с задворков сиротливо выглядывали полураскрытые крыши служб, кое-как сколоченных из бревен и досок. Во всем наблюдался беспорядок, раскиданность, разгильдяйство: точно обитатели этого селения пришли сюда на короткий срок и, чтобы хоть как-нибудь укрыться от жгучего мороза, понастроили себе там и сям небольшие, кое-как сколоченные хатенки. Болотная сырость и бесконечные затяжные дожди в осеннюю непогоду наложили отпечаток своей безотрадной сумрачности на их почерневшие мрачные срубы, на полуразвалившиеся трубы, на прогнившие тесовые крыши. Иногда со двора показывался обыватель, пристально всматривался в нас, “политиков”, и долго стоял на месте, глядя нам вслед и думая свою думу.

Не успели мы сделать и несколько десятков шагов, как улица кончилась, и за ней открылась ровная снежная пустыня. Я остановился. Теперь с возвышенного места можно было обозреть весь поселок, состоявший из сотни скупившихся построек.

– Так это и весь ваш “город”? – невольно вырвалось у меня при виде его убогих строений.

– А вы ж еще чего захотели? Разве так уж плох? – иронически ответил товарищ. – Бывает и хуже, – заметил он успокаивающе. – Побывали бы на Поморье, в Коле, в Коми, так наши Холмогоры столицей бы вам показались».

Ильинский поинтересовался, много ли в Холмогорах политических ссыльных. Оказалось, что он был пятнадцатым. Но вскоре ожидалось еще несколько человек: они шли этапом и со дня на день должны были присоединиться к колонии своих товарищей по несчастью. А ведь кроме самих ссыльных за ними часто добровольно следовали невесты, жены, сестры... Заключались браки. Рождались дети. Так что состав и численность колонии постоянно менялись. Однако, несмотря на старания близких, жизнь сосланных часто была трудновыносимой, за исключением тех, кому посчастливилось остаться в губернском центре – Архангельске, городе довольно крупном, не обделенном элементами интеллектуальной жизни, где возможно было найти дело по душе, и где было довольно обширное общество сотоварищей. Поэтому не случайно почти все, сосланные в Архангельскую губернию, пытались перевестись в столицу края. Ильинскому тоже удастся это в 1905 году. Что же касается Холмогор, Пинеги, Мезени, Шенкурска, Колы, Ижмы и других селений, жизнь попавших сюда чаще всего словно останавливалась, была тоскливой, бессмысленной, исключавшей какую-либо интеллектуальную деятельность, не требующей приложения молодых, здоровых сил. И они зачастую гасли совершенно.

Оторванность от Большой земли, постоянное чувство, что следят за каждым твоим шагом, нищета, неустроенность, порою враждебное отношение местного населения, отсутствие каких-либо развлечений, за исключением карт да охоты, суровый климат (короткое, сумрачное лето и длинная-длинная зима с морозами, порою достигающими пятидесяти градусов), и неизбежные в таких условиях бытовые дразги... Всё это часто приводило к депрессиям и даже суицидам, а у тех, кто посильнее и решительнее, –

к организации побегов, казалось бы, изначально обреченных. Но иногда они удавались.

Ильинский в своих воспоминаниях писал, что местные жители относились к ссыльным с недоверием, считая каждого преступником. Либо он «против царя бунтует», либо «в Бога не верит». Хозяйка квартиры, которую снимал Ильинский, более всего опасалась за сохранность сахара и чая, о чем прямо говорила постояльцу. А в Холмогорах, между тем, вынуждены были находиться такие уважаемые в своей среде социал-демократы, как А. П. Бибик, В. Н. Залежский, Я. Ф. Дубровинский, М. К. Кошутская и другие. Но главные силы, как уже говорилось, пребывали в Архангельске.

И в Архангельске, и в Холмогорах, да и в других местах северной ссылки преобладали меньшевистские настроения. Так, Евгений Федорович Дюбук и Екатерина Андреевна Маркова (он – земский статистик, она – врач) организовали в 1904 году в Архангельске подпольную группу социал-демократов Дальнего Севера меньшевистского толка. Группа выпустила прокламацию «Что делается в царских застенках».

Вороницын завел систематическую переписку с Архангельском и именно здесь, на севере, окончательно утвердился как меньшевик. Власти зафиксировали эту бурную переписку и в ночь на 20 февраля 1904 года устроили у Вороницына обыск, в ходе которого нашли нелегальные издания. Его тут же увезли в Архангельск и заточили в тюрьму, но в начале марта вынуждены были переправить по этапу обратно в Холмогоры. Возбудили новое дознание – о хранении нелегальной литературы, которое прекратили в июне 1904 года, как гласят источники, «соглашением министров внутренних дел и юстиции, ввиду понесенного уже Вороницыным достаточного наказа-

ния». Проглядели и местные власти, и министры, какие подвиги совершал в это время их подопечный.

Как уже говорилось, организация побегов почиталась среди ссыльных делом наиглавнейшим, благороднейшим, хотя и весьма ненадежным. То, что чаще всего подобные авантюры срывались или заканчивались печально (например, гибелью беглецов) не остановило ни Вороницына, ни всю помогавшую ему социал-демократическую группу. Побег был осуществлен. О нем много писали в разное время, пишут и в наши дни как об одном из самых известных, дерзких, трудных, но и результативных, тем более что был он коллективным. Ильинский писал: «Этот побег остался одним из самых блестящих и трудных в летописях нашей архангельской эмиграции», – а Залеский почти всю свою книгу «На путях к революции» посвятил этой дерзкой аванюре, тем более что лично принимал в ней участие, добравшись до Архангельска



Холмогорская колония политических ссыльных. Февраль 1904 г.

и перейдя там на нелегальное положение. Расскажем об этом побеге, как описал его Залежский, но вначале передадим его впечатление от Холмогор:

«Невеселая картина открылась передо мной. Городишко имел всего 800 жителей, то есть меньше средней деревни Центральной губернии. Расположен на невысоком берегу Северной Двины на “гряде”, вокруг которой тянется тундра, теперь скованная морозом. В самом центре города, где стоит полицейское управление, расстилается обширная площадь, совершенно пустая, которая летом оказывается самым обыкновенным болотом». Но тяготило даже не это, а многочисленные запреты и требования. Например, нужно было каждый день являться в полицию на регистрацию, каким-то способом добывать себе средства на пропитание (субсидии государства явно не хватало), однако при этом запрещалось заниматься педагогической деятельностью, работать в типографии и в прочих «благогородных» местах, даже если ты был прекрасным специалистом в этой области, а место оставалось явно вакантным. Не разрешалось выходить за пределы города далее, чем на полверсты. И тому подобное.

Количество политических ссыльных (без учета членов их семей) обычно не превышало пятнадцати человек, но, как писал Залежский, «здесь были и эсдеки, и эсеры, и пепеэсовцы [члены польской рабочей партии], и просто люди неопределенного толка». «Естественно, что свой тяготел к своим, и скоро мы, эсдеки, зажили тесной группой в 6–7 человек. Это были: Вороницын, Дубровинский (брат известного Иннокентия), я, две сестры Никитины, Львова». Был еще рабочий Солдатов, неплохой парень, но горький пьяница, который в самый ответственный момент и спасет группу и чуть не сорвет задуманный побег.

Вроде бы, рассуждал Залежский, в ссылке можно было почти полностью распоряжаться своим временем: и к товарищу сходить, и посидеть на берегу реки, и на лыжах покататься... Но, пишет он, «никогда в тюрьме, в одиночке, под замком я не чувствовал такой щемящей душу тоски, как здесь». Может быть, оттого, что из московских Бутырок до Архангельска сопровождали его жена с дочкой, но в Холмогорах он был явно один. Видимо, оставил дорогих ему женщин в губернском центре, не взял с собой в неведомую глушь, вот и рвался к ним все время. А пока в Холмогорах и для него, и для других политических ссыльных самым большим праздником был четверг, когда приходил этап с новым пополнением. Гнали его через Холмогоры в Мезень, Карпову гору, Усть-Цыльму, Ижму и в другие места. В основном это были профессиональные революционеры. Вопреки запретам, встречать этап выходили за несколько километров.

Многие ссыльные изначально думали о побеге и, идя в ссылку, «имели при себе зашитые в платье деньги, заделанные в подошвы паспорта». Холмогоры были во всех отношениях очень удобным местом для побега: и по своему географическому положению (на берегу реки, соединяющей их с расположенным в семидесяти верстах Архангельском), и по благожелательному отношению местных ссыльных, и либерализму холмогорского врача, который легко клал «занемогших» в больницу, «отставляя тем самым от этапа». Насчитывалось уже несколько удачных побегов, и власти ужесточили присмотр за «заболевшими», так что бежать с каждым годом становилось все труднее. Но Вороницын и товарищи надежд не теряли.

Цитируем далее Залежского: «В один из последних этапов мы встретили тов. Редкозубова, видного тогда пар-



Перепряжка этапных лошадей на ст. Уйма

тийного работника – эсдека, который нашей группе заявил, что ему необходимо немедленно же бежать, что он не может заходить в глубь губернии, и наша партийная обязанность помочь ему бежать из Холмогор. Мы прибегли к обычному методу: нажали на доктора и заставили его положить “заболевшего” Редкозубова в больницу, тем самым отставив его от этапа. Вместе с тем губернатору была послана телеграмма с просьбой оставить Редкозубова ввиду болезни в Холмогорах, тем более что этапы больше не шли ввиду наступающей распутицы. Ответ губернатора не замедлился: телеграмма гласила, что Редкозубов не может быть оставлен в Холмогорах, а так как сейчас по этапу идти не может, то должен быть заключен в тюрьму до открытия навигации с тем, чтобы следовать на место своего назначения. Это нас всех страшно возмутило, и устроить Редкозубову побег мы уже считали делом своей революционной чести. Мало того, у нас созрел план демонстративного побега вместе с Редкозубовым».

Но время шло. Приближалась распутица. На Двине выступила вода – вот-вот надо было ждать вскрытия. Собрались пятеркой и выработали такой план. Редкозубова помещают в больницу, но в камеру для арестованных, у дверей которой всегда стоит караул из местной команды. Освободить Редкозубова надо так, чтобы снять ответственность с солдата. Вся караульная команда Холмогор состояла человек из 100–120, но в наличии постоянно имелось гораздо меньше. Пройдоха-командир набирал команду из местных, предпочитая богатеньких, и за определенную мзду частенько отпускал их «в отпуск». Оставшиеся вместо двух часов вынуждены были стоять на посту по четыре, а если в закрытом помещении – то и по шесть. Наши соцдеки узнали, что у камеры Редкозубова солдаты стоят по шесть часов. Это было им на руку. Если солдат на посту заснет, Редкозубов в это время и удерет, благо, что камера обычно не запиралась.

Залежский пишет: «План побега нам рисовался в таком виде: утомленный многочасовым дежурством солдат законно засыпает, Редкозубов выходит из камеры в уборную, где окно без решетки, выдавливает стекло, выходит на задний дворик, перелезает забор, где в условленном месте его ждет один из нас, с которым они идут в заранее подготовленное помещение, где Редкозубов прячется, пережидает два-три дня, пока пройдет первый переполох поисков, а затем мы группой, человека в четыре, удираем».

Естественно, возникло множество вопросов. А если солдат не заснет? А если заснет, но дверь будет не заперта? Где найти такое помещение, чтобы незаметно спрятать очень крупного (и высокого, и широкого в плечах) Редкозубова?.. Для гарантии, чтобы солдат точно заснул, решили дать ему снотворное, подмешав его в водку, которой

Редкозубов угостит стража. Достали в больнице хлоралгидрат. Вычитали в словарях, какая доза наиболее эффективна, но не убийственна. А чтобы нейтрализовать горьковатый вкус зелья, решили использовать полынную водку. Благо, уж чего-чего, а спиртных напитков в местных лавках было в изобилии – на любой вкус. Насчет короткого пристанища договорились с эсерами. В Холмогорах из-за постоянных подпочвенных вод, прежде чем строить дом, роют большую яму, покрывают ее прочным тесом, вбивают столбы и уж на них ставят дом. У эсеров, живших коммуной в большом доме, яма была обширной и даже в половодье оставалась сухой. Прекрасное для беглеца место на несколько дней, пока не спадет ажиотаж поиска. Начали потихоньку заготавливать провизию, питье, теплые вещи, сено. И вдруг в назначенный для побега день эсеры труслили и в приюте беглецу отказали. Искать другой подходящий вариант времени уже не было. Как писал Залежский, «взбешенный Вороницын и, кажется, Дубровинский бросились туда, но, несмотря на все их настояния, угрозы и уговоры, эсеры оставались непреклонными». Положение было просто отчаянным. Вспомнили про Солдатова. Он хоть и пьяница, «но парень славный, рабочий и эсдек», живет в маленькой избушке, стоящей посреди двора, а жена его и дочь только что уехали на родину. Немедленно командировали к нему Вороницына. Солдатов принять гостя согласился, вот только яма у него маленькая, сырая, дышится в ней с трудом. Лишь в одном ее углу имеется сухое место, где с трудом может лечь человек. Побросали туда всё теплое, что оказалось под руками, и стали ждать. Но ни посланного за Редкозубовым человека, ни самого Редкозубова нет и нет. Послали второго – никакого результата.



Общий вид г. Архангельска

Что же оказалось? Как и задумывалось, в назначенное время Редкозубов угостил солдата полынной водкой с хлоргидратом, тот ее с удовольствием выпил, ничего не заметив, и сладко заснул. Но Редкозубов, испугавшись, что тот может проснуться, не выдержал ожидания и за десять минут до назначенных двенадцати часов ночи появился в назначенном месте, уже за забором. А там никого! Что делать? Города он не знает, не знает ни одного дома ссыльных. Он без шапки, в одном пиджаке, а апрель в Холмогорах – время далеко не теплое, кругом белеет снег. Благо, увидел святающийся огонек. Оказался дом эсеров, которые впустили его ненадолго, послали за эсдеками, те и увели его в дом Солдатов. Быстро поместили в яму, заделали пол и разошлись по домам.

Хватились Редкозубова через час. В городе начался переполох, тщательные обыски... Залежский пишет: «Весть о побеге Редкозубова, об аресте солдата, которого смена нашла спящим, о предании его суду – страшно взбудора-



Вид г. Александровска

жила весь гарнизон». Солдаты сами продолжали поиски. «Облазили все чердаки, сараи, разбросали поленицы дров, перерыли сеновалы, заглядывали в колодцы, в выгребные ямы и проч.». Прочесывали и окрестности. Говорили: «Если поймаем – в куски разорвем». Обыски продолжались каждый день. На беду соцдеков, вскрылась Двина, и Холмогоры оказались со всех сторон окруженными водой. Прошло дня три. Никто из знающих в такой обстановке не смел даже приблизиться к дому Солдатов. Пришлось посвятить в дело местную акушерку Попову, пожилую женщину, очень эсдекам сочувствующую. Попросили ее зайти к Солдатову, узнать, что с Редкозубовым. Она рассказала, что тот уже на исходе сил, кашляет, совсем закоченел. Решили выпускать его из ямы часа на два и спешно организовать побег.

Так как Двина вскрылась и основная масса льда прошла, решили отправиться в Архангельск на лодке. Но где ее взять? Их на берегу полным-полно, но к новой навигации их надо чинить, конопатить, не готовы они к плаванью по бурной весенней воде. Попова отдала собствен-

ную лодку, попросив своего дворника наскоро ее подлатать. Дальнейший план, по описанию Залежского, составили такой: «Днем сестры Никитины, Вороницын и Дубровинский двумя парочками отправляются на лодке, на глазах у полиции и обывателей, на пикник, на ту сторону реки и дожидаются там до вечера. С наступлением темноты Редкозубов переодевается в женское платье и вместе со мной под ручку, в качестве моей дамы, идет на условленное место за город, за полверсты ниже Холмогор, куда в 12 часов ночи пристаёт наша лодка, мы все садимся в нее и едем». Свою даму (Редкозубова) Залежский охарактеризовал так: «Из последнего получилась колоссальная бабича, страшно высокая, широкоплечая, с весьма угловатыми движениями и неловкой походкой. Тем не менее, нежно склонившись друг к другу, причем моя дама конфузливо куталась от любопытных взглядов в шаль, мы отправляемся к условленному месту».

И вот сидят они на бугорочке. Двенадцать, проходит полчаса, час – лодки нет! Совсем рассвело. На беду, в Холмогорах был базарный день, на реке начали появляться ладьи со спешащими на торжище. Наконец перед ожидающими предстали грязные, мокрые товарищи. Оказалось, отплыв от острова, попали они в такой сильный водоворот, что их все время возвращало на берег. Одно весло сломалось. Два часа бились они, гребя одним веслом и оторванными со дна досками. Пристали к желанному берегу верст на 5 ниже места, где их ожидали. Никаких веревок с собой нет, чтобы тянуть лодку против течения. Разорвали и мужчины, и дамы нижнее белье, свили некое подобие канатов, посадили Никитиных в лодку, а Вороницын с Дубровинским потянули суденышко вдоль берега. «Берег все время прерывался овражками, превратившись в бурные потоки, которые товарищам пришлось пе-

реходить или по горло в воде, или даже вплавь. В довершение лодка начала немного течь», – вспоминал Залеский.

Барышень отправили домой, мужчины сели в изрядно пострадавшую лодку и понеслись по течению: почти не надо было грести, только править. Но Двина становилась все шире, ветер крепчал, лодку начало захлестывать. Один из беглецов сидел на руле, двое на веслах (из которых одно было – грубо сделанный «самотес»), четвертый энергично вычерпывал воду, но она прибывала все стремительнее. Поняли, что нужно срочно причаливать, тем более что на берегу виднелась какая-то сторожка. Но оказалось, что за сторожкой находилась деревня, которую с берега не было видно. Дежуривший в сторожке крестьянин повел их в эту деревню, где десятский начал подозрительно выпытывать прибывших, «кто они и что они». Представились членами комиссии по обследованию берегов реки: где и как берега укреплять, чтобы деревни не подмывало. Идея эта крестьянам понравилась. Кроме того, авторитету прибывших поспособствовали две вещи: во-первых, у Вороницына была на себе охотничья тужурка с зелеными отворотами – она великолепно сошла за форменную чиновничью земельного ведомства. Во-вторых, у компании имелся бинокль – штука, совершенно неизвестная крестьянам этих мест, возбудившая у них большое удивление и почтение. Все понимали, что лодка для дальнейшего плавания совершенно непригодна, крестьяне предлагали оставить ее на берегу, а до Архангельска добираться на лошадях, что беглецов совершенно не устраивало. Гости охотно оставляли лодку, но попросили одного зажиточного хозяина, имевшего к тому же трех крепких сыновей, довести их до губернского центра на баркасе. Однако погода разыгрывалась не на шутку, плыть никому не хотелось. Пришлось



Пинежская колония политических ссыльных

организовать хорошее угощение с выпивкой и заплатить 25 рублей. «Деньги, конечно, большие, но ведь казенные, не свои – не жалко», – пояснили «чиновники» крестьянам. Хозяин баркаса и его сыновья не устояли. Часа в четыре путешественники сели на баркас, а в 10–11 вечера уже подплывали к Архангельску. «Скоро мы скрылись во мраке ночи», – заключает Залежский.

Но как далее сложилась их судьба? Редкозубову удалось скрыться за границей. О себе Залежский сообщает: «Из Архангельска я лично дальше не побежал, ибо мне сейчас же здесь подвернулась партийная работа в местном комитете партии». Что же касается Ивана Вороницына и Якова Дубровинского, их поймали и вернули в Холмогоры. Но чтобы не ударить в грязь лицом, не показать всему свету, что в побеге участвовало аж четыре человека, Вороницыну и Дубровинскому формально вменили в вину лишь самовольную отлучку из Холмогор с 22 по 25 апреля. Однако от беспокойных товарищей решили поско-



Онежская колония политических ссыльных

рее избавиться и выслать их подальше – в распоряжение мезенского исправника.

Если бы друзья попали в городок Мезень, это было бы намного хуже Холмогор. Располагался он в 390 километрах от Архангельска и в 45 километрах от Белого моря, а состоял из одной длинной улицы с деревянными избами по обеим сторонам реки, в честь которой поселение было названо. Оживляли его лишь две деревянные церкви и множество ветряных мельниц на окраине. Но ведь, скорее всего, в Мезени их бы не оставили – отправили куда-нибудь в совсем беспросветную глушь. Приятели судьбу испытывать не стали и в ночь на 3 июня 1904 года бежали из Пинеги, с половины предназначенного им пути. Оба удачно добрались до Архангельска, а дальше, естественно, спасались поодиночке.

Якова Федоровича Дубровинского товарищи по партии (а в это время он, как и Вороницын, стал меньшеви-

ком) отправили из Архангельска морем в виде багажа, соответственно его упаковав. Кстати, в ранней молодости Дубровинский учился на горном отделении пермского Алексеевского реального училища. В 1899 году вступил в РСДРП. Как профессиональный революционер много кочевал по стране. После побега из архангельской ссылки в 1905 году работал в Московской партийной организации, участвовал в Декабрьском вооруженном восстании, в Гражданской войне, стал большевиком, устанавливал Советскую власть в Сибири. Был расстрелян белыми в 1918 году.

Вороницыну тоже удалось перебраться за границу. В середине июля он приехал в Берлин, затем в Женеву, где познакомился с лидерами меньшевиков Ю. О. Мартовым и Ф. И. Даном, был представлен самому Г. В. Плеханову. В ноябре 1904 года нелегально вернулся в Россию, на этот раз в Москву, не ведая, что его дело, возбужденное по поводу связей с Харьковским комитетом РСДРП, прекращено по Постановлению от 17 сентября 1904 года – на основании Манифеста от 11 августа того же года, дарующего царские милости «в день Святого Крещения Наследника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича».

Вороницын стал работать организатором Бутырского района под псевдонимом «Вадим», а жил по паспорту некоего Островского. 9 февраля 1905 года был снова арестован, содержался в Таганской тюрьме, но по болезни был освобожден под залог 5 сентября 1905 года. Средства для выплаты залога собрал Московский комитет РСДРП меньшевиков.

Однако в Москве Вороницына не оставили – отправили в Севастополь восстанавливать социал-демократические организации, разгромленные охранкой после знаменитого восстания на броненосце «Потемкин».

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

О Севастопольском восстании ноября 1905 года и его руководителе Петре Петровиче Шмидте написано большое количество самых разнообразных работ (книг, статей, очерков, диссертаций, даже художественных произведений), сделано огромное число докладов на конференциях самого различного уровня, в том числе и международных. Сняты фильмы, созданы иные произведения искусства. Но в основном всё это – продукция последних десятилетий. А в первой половине XX века вспышки интереса к этому событию и к этой личности сменялись периодами почти полного забвения. И если о восстании в Севастополе все-таки вынуждены были порою вспоминать (как-никак одно из основных событий Первой русской революции), то личность Шмидта использовали как удобную карту – в нужный момент ловко выдергивая ее из колоды как козырную, а когда нужда пропадала, незаметно задвигая ее обратно.

Первый всеобщий приступ интереса к личности Шмидта и восстанию, которое случилось ему возглавить, проявился уже в ходе боев между моряками-повстанцами и, с другой стороны, кораблями и наземными войсками, оставшимися верными правительству. Вся страна следила за разыгравшейся в Севастопольской бухте трагедией, за уничтожением крейсера «Очаков», за расправой над восставшими... Особенно негодовала сердобольная Россия по поводу последнего. Как писал позднее И. П. Вороницын, «не было ни одной газеты, которая не отзывалась бы

на это черное дело», какие бы кары их владельцам и издателям ни грозили. Конечно, лились и ушаты грязи проправительственных газет. Полемика шла беспрецедентная.

Откликнулись и писатели. А. И. Куприн, который жил тогда в Балаклаве и был свидетелем подавления восстания, 1 декабря 1905 года опубликовал в петербургской газете «Наша жизнь» очерк «События в Севастополе», написанный с явной симпатией к мятежникам и лично к Шмидту, за что был выдворен властями за пределы Севастопольского округа. Литератор П. П. Кузьминский напечатал в 1906 году в Петербурге «драму-быль. Из недавнего прошлого» в четырех действиях под названием «Красный адмирал». Поэтесса Л. М. Белкина издала в Казани в годовщину гибели Шмидта, в 1907 году, поэму «Лейтенант Шмидт». Небольшая справка о погибшем герое появилась даже в таком знаменитейшем энциклопедическом словаре, как словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (2-й дополнительный том за 1907 год). Составил ее известный публицист В. В. Водовозов. А уж сколько было написано солидных статей и небольших книжек, конечно, по качеству чаще всего однодневков, пересчитать трудно. В 1925 году бывший адвокат Шмидта на процессе очаковцев А. М. Александров писал: «Нынешнее поколение не поймет той сказочной популярности и того обаяния, которым было окружено имя Шмидта в конце 1905 – начале 1906 годов. Не было уголка, где б не говорили о нем, не восхищались и не любили его заочно... Даже после гибели П. П. Шмидта вокруг его имени продолжали появляться всё новые и новые легенды, в которых подлинные события переплетались с самым невероятным вымыслом».

А затем наступило затишье. Отгремела революция 1905–1907 годов. Напрасными оказались ее многочислен-

ные жертвы, что бы ни говорили о ней самые знаменитые политологи и историки. Всего вернее охарактеризовал эту революцию Иван Петрович Вороницын, ее свидетель и активнейший участник: «Революционная незрелость масс и кратковременность общественного подъема – таков был общий характер революции 1905 года», а 1905-й он назвал «страшным годом, великим годом, безумным годом». Царское правительство сделало все, чтобы поскорее забыли и о Севастопольском восстании, и о П. П. Шмидте. И уж тем более о других, менее державшихся на слуху ее участниках.

Но произошла Февральская революция 1917 года. Для буржуазного Временного правительства оказалось очень злободневным возвеличить то, что могло легитимизировать новую власть, придать ей авторитет истинного борца за народное счастье. Начали возвращать обществу забытые события и имена. На юге России – прежде всего Севастопольское восстание и его руководителя лейтенанта Шмидта. Первым, кто занялся увековечиванием памяти о П. П. Шмидте, стал тогдашний командующий Черноморским флотом вице-адмирал А. В. Колчак (1874–1920).

Как раз к этому времени рыбаки случайно обнаружили на маленьком пустынном острове Березань в дельте Днепра останки расстрелянных там 6 марта 1906 года П. П. Шмидта и его сподвижников: баталера С. П. Частника, комендора Н. Г. Антоненко и машиниста А. И. Гладкова. По распоряжению Колчака 8 мая 1917 года прах погибших торжественно перезахоронили в Покровском соборе Севастополя. Колчак был одной из главных фигур церемонии, включавшей и торжественный проход кораблей, и «царский» салют из 101 залпа. По приказу Колчака клубу офицеров Черноморского флота присвоили имя Шмидта. 17 мая 1917 года в Севастополь прибыл А. Ф. Ке-

ренский (1881–1970), тогда военный и морской министр Временного правительства. После официальной встречи он отправился в Покровский собор – поклониться праху Шмидта и возложить Георгиевский крест на его усыпальницу. Тогда же в Симферополе была издана биография Шмидта, написанная публицистом Л. Я. Резниковым, а 5 июля состоялась премьера немого игрового фильма «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта».

По просьбе сына героя Евгения к его доставшейся от отца фамилии сделали приставку «Очаковский», что, впрочем, принесло ему одни лишь огорчения. Белая эмиграция, среди которой Евгений оказался после Октябрьской революции, не простила ему «подвигов» отца. Он и на перезахоронении его праха чувствовал себя чужим, одиноким. В 1926 году в Праге Евгений Петрович издаст книгу воспоминаний об отце, в которой с тяжелым чувством будет описывать вышеназванные торжества: «Я был центром всеобщего внимания и чувствовал на себе взоры десятков тысяч восторженных или любопытных глаз. Ничтожества, предавшие некогда моего отца, теперь униженно предо мной пресмыкались, но я не находил в душе моей ни торжествующего злорадства, ни чистой радости, ни светлого счастья. Там царствовала одна черная беспросветная ночь, а сердце сжималось от глухого отчаяния и странной, безысходной тоски».

Свершилась Октябрьская революция. Пришедшие к власти большевики поначалу довольно холодно отнеслись к погибшему «красному адмиралу», в лучшем случае считая его жертвой царизма, беспартийным человеком, случайно попавшим в водоворот революционных событий. И были недалеки от истины. Тем более что его считали своим и эсеры, и кадеты, и меньшевики, и анархисты... Довлела, конечно, и оценка Ленина, данная

Шмидту, – «политический авантюрист». Хотя и называли порою его именем какие-то не самые важные объекты. Например, в 1918 году в Петрограде переименовали Благовещенский (Николаевский) мост через Неву в мост лейтенанта Шмидта, а в Севастополе, едва изгнав белых, называли его именем бывшую Католическую улицу. Но всегда ли мы помним имена героев, чьи имена носят наши улицы? Шмидта успели забыть.

Однако Советская власть, как и ранее Временное правительство, нуждалась в своих героях. И в 1920-е годы начинается всплеск популярности Шмидта, когда большевики, можно сказать, приватизируют беспартийного товарища. В 1922 году Центроархив собрал и издал сборник документов, воспоминаний и писем, относящихся к Шмидту. В ноябре 1923 года по решению властей Севастополя останки Шмидта и его соратников вновь торжественно перезахоронили – на этот раз на Кладбище коммунаров и по новым канонам. В 1926 году Шмидта избрали почетным членом Севастопольского Совета депутатов трудящихся. До 1927 года в стране появилось двенадцать кораблей, носящих его имя. Художники принялись писать полотна, режиссеры – ставить спектакли...

Начали издаваться книги, посвященные Шмидту и Севастопольскому восстанию, особенно в связи с двадцатилетием последнего. Их публиковали родные и близкие Петра Петровича (лучшей считается написанная его сестрой А. П. Избаш (1865–1942), талантливой художницей), очевидцы и участники событий. Например, появились записки бывшего матроса В. И. Карнаухова-Краухова, книга И. И. Генкина «Лейтенант Шмидт и восстание на “Очакове”», его же «По тюрьмам и этапам» (автор активно участвовал в Севастопольском восстании, вместе с Вороницыным не раз сидел в тюрьмах). Появилось и несколько

публикаций И. П. Вороницына на эту тему. Хотя Генкин был бундовцем, а Вороницын – меньшевиком, на такую «мелочь» до 1930-х годов пока закрывали глаза. В серии «Библиотека юного пионера» вышла детская книжка о Шмидте Н. И. Гутлиной. Борис Пастернак в пяти номерах журнала «Новый мир» за 1926–1927 годы опубликовал посвященную Петру Петровичу обширную поэму. Даже, казалось бы, далекий от политики К. Г. Паустовский, работая над повестью «Черное море», специально посетился на несколько месяцев в Севастополе, чтобы написать главы, посвященные Шмидту и Севастопольскому восстанию («Дон-Кихот» и «Мужество»). Паустовский, никогда не знавший Шмидта лично, точно определил в этой повести его сущность: «...И теперь я думаю, что в истории русской революции нет имен, овеванных такой чистотой и благородством, как его имя; нет людей, каким был он, которые слишком любили свободу, для того, чтобы втянуть ее в убогие рамки партий, и слишком любили человека, чтобы забыть о величайшей свободе – свободе возрождения человеческой души».

Издавались научно-популярные и даже научные книжки. Конечно же, в годы культа личности Шмидт представлял перед читателями пламенным революционером, по сути, большевиком, героем, возвышающимся над толпой. Художники так его и изображали: на полотне четко прорисована фигура Шмидта, а вокруг и сзади – аморфная толпа матросов. Это был вождь, ведущий за собой массы.

Из всех публикаций о Шмидте для нас более всего интересны те, которые подготовил И. П. Вороницын. Ведь он не только лично знал Шмидта, участвовал в Севастопольском восстании, но, несмотря на молодость, был и истинным руководителем восстания, избежавшим смертной казни лишь потому, что «на момент совершения престу-

пления» был несовершеннолетним – ему не исполнился 21 год. Смертную казнь заменили пожизненной каторгой.

Первым сочинением, которое написал Вороницын о Севастопольском восстании и о Шмидте, был отчет, которого потребовала от него проходившая в Таммерфорсе 12–17 декабря 1906 года первая конференция военных и боевых организаций РСДРП. По заданию оргкомитета конференции большевик Логинов связался с Вороницыным, который в это время находился в севастопольской тюрьме, и попросил его подготовить сообщение о восстании.

В 1920-е годы этот отчет неоднократно публиковался в различных сборниках документов. Как считают некоторые специалисты, он был в какой-то мере субъективен. Далее мы приведем ряд фрагментов из него, чтобы рассудить, так ли это. Но могло ли большевистское руководство конференции не считать субъективной, например, такую оценку восстания: «Его стихийность бросается в глаза при самом беглом обзоре событий; для меня, как для одного из главных участников событий, она особенно ясна. Только отсутствием планомерного руководства, политической неподготовленностью матросских масс и можно объяснить тот факт, что массы готовы были идти за первым попавшимся революционером, совершенно не отдавая себе отчета в том, что хочет этот революционер. Только этим и можно объяснить ту роль, которую играл лейтенант Шмидт в ноябрьских событиях».

Однако более всего организаторов конференции, а впоследствии и советских историков не устроило в докладе то, что в нем крайне слабо была отражена роль большевиков в Севастопольском восстании. А как она могла быть отражена, коли большевики в эти дни оказались на обочине событий? Это позднее они припишут себе руководя-

щую роль, а беспартийного Шмидта сделают пламенным революционером. На самом же деле в Крыму в это время хотя и сильно еще было влияние эсеров, но недовольные массы всё более отдавали предпочтение меньшевикам. Последние в лице таких руководителей, как И. П. Вороницын и Н. Л. Конторович, событиями и рулили. А рядом с ними – беспартийный Шмидт, человек искренний, страстный, но в революционном движении действительно случайный. Не зря в то время восстание получило негласное определение как меньшевистское и потому, как полагают многие авторы, «было не в чести у идеологов КПСС». Можно списать некоторые недостатки отчета и на то, что писал его не опытный аналитик типа Мартова, а двадцатилетний юноша. Писал в тюрьме, не имея под рукой никаких документов. И отведено ему было на это всего несколько часов. Скорее всего, отсюда и некоторое косноязычие, корявость стиля, обычно не свойственные Вороницыну. Удивляться приходится другому: как он при всем при том сумел толково изложить суть наисложнейшего события.

К теме Севастопольского восстания и участия в нем Шмидта Вороницын еще вернется. В 1922 году в Харькове выйдет его мемуарная книга «Из мрака каторги», в которой первая глава будет посвящена Севастопольскому восстанию, а вторая – пребыванию в севастопольских тюрьмах его главных участников, суду над ними и приговору, вынесенному восставшим. Некоторые авторы упрекали и упрекают Вороницына во многих неточностях, встречающихся в этих главах, хотя тут же и оправдывают его: мол, любые мемуары всегда несколько субъективны, да и прошло слишком много времени, чтобы помнить все детали. К двадцатилетию Севастопольского восстания в 1925 году в Госиздате Вороницын выпустит книгу «Лейтенант

Шмидт», уже полностью посвященную человеку, с которым сражался рядом во время изначально обреченного бунта. Эта книга, как отмечали специалисты, написана на более высоком уровне. К ней приложен значительный список использованной литературы, которая позволила автору более доказательно пояснять многие события и факты.

Как мы уже говорили, Вороницын в своих книгах, даже мемуарных, крайне мало пишет о себе. В сочинениях, посвященных Севастопольскому восстанию, мы видим то же самое. О себе – ничтожно мало. Все больше о тех, кто был рядом. И о Шмидте, конечно. Вот и узнаём мы многие значительнейшие сведения об участии Вороницына в этих событиях от других. Например, лишь из сочинения Евгения Шмидта – о том, что Вороницын был единственным, кто бросился на небольшом судне к охваченному пламенем «Очакову», чтобы спасти Шмидта и его сына. Вообще Евгений очень тепло вспоминает бывшего сотоварища отца, хотя единомышленниками романтик Шмидт и убежденнейший меньшевик Вороницын никогда не были. Но, отмечая в своих сочинениях и незрелость Шмидта как политика, и случайность его явления как вожака восстания, и его нерешительность и многое другое, что невольно сводит героя с пьедестала, Вороницын жалеет его как личность глубоко трагическую, взявшуюся за дело, которое оказалось ему явно не по силам, но личность талантливую, добрую и честную.

Скорее всего, Шмидта погубило его огромное тщеславие. Вороницын писал, что Шмидт «обладал чрезмерным чувством своей значительности, граничившим с манией величия, был одушевлен той страстью к великим делам, которая в известных обстоятельствах дает в руки солдата жезл фельдмаршала и возлагает на слабые плечи отдель-

БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

И. П. ВОРОНИЦЫН

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

Государственное издательство.

И. П. Вороницын. Лейтенант Шмидт.
М.: Государственное издательство

ного человека бремя массовых чувств и стремлений. Люди, поднятые на такую высоту, обычно падают под этим бременем или становятся искупительной жертвой. Шмидта судьба обрекла на жертву». Вороницын говорит о нем как о человеке «с чистым сердцем и большой душой», отдавшем свою жизнь на великое дело. «Шмидт помимо воли был поставлен обстоятельствами на пост вождя и играл роль, которая его убеждениям не соответствовала. Тем больше славы его героизму и его большому чувству революционного освобождения родины». Личность Шмидта далеко не идеальная, заключает он. Но никто, даже его личные враги, не упрекали его в корысти и продажности. Основная его черта – полное бескорыстие и жертвенность во имя идеи. Шмидт сам говорил о себе: «Я служил лишь символом свободы».

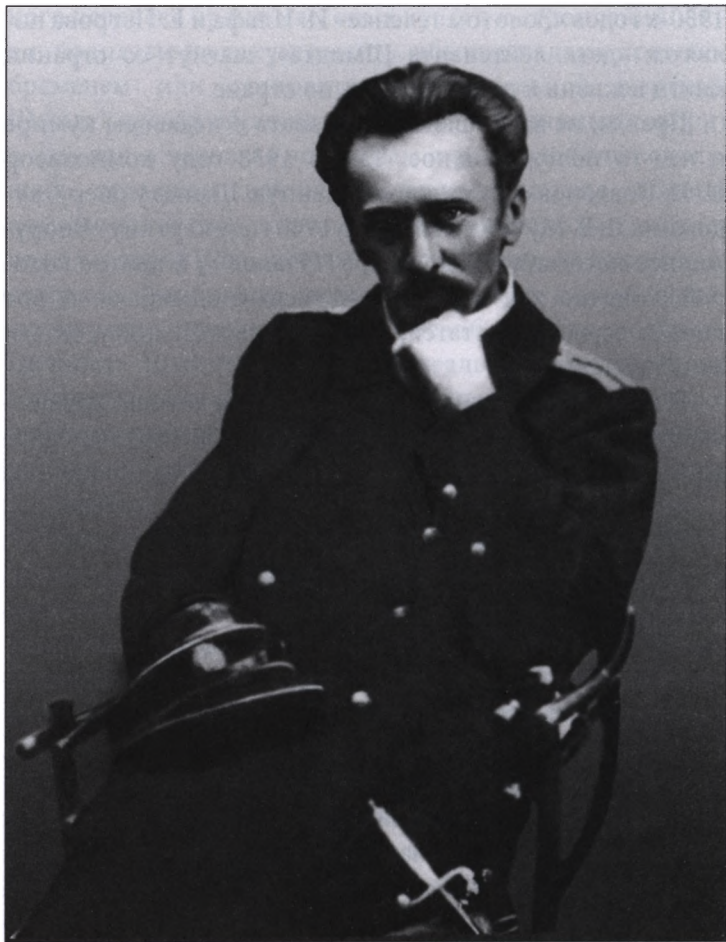
Противоречиво? Но противоречив Шмидт, а не Вороницын. Еще в книге «Из мрака каторги» он писал: «Я говорил уже о фигуре Шмидта. Эта многогранная, сложная личность еще не в полной мере освещена историей. Его жизнь и трагическая смерть, его подъемы и падения – все это для нас психологически не прояснено, как-то затуманено. Но, как бы ни судить его, надо признать, что он был одной из самых ярких фигур революции 1905 года, выкинутых на поверхность прихотливой стихией». Для знакомого со Шмидтом Вороницына многое в герое «не прояснено». Зато те, кто писал о Севастопольском восстании в советское время, не сомневались ни в чем.

В конце 1920-х – начале 1940-х годов интерес к Шмидту снова стихает. Появляются новые герои: папанинцы, челюскинцы, знаменитые летчики – сталинские соколы... О Шмидте становится возможным говорить даже с юмором, и даже в атмосфере всеобщих запретов никто за это не накажет. Как, например, в вышедшем в начале

1930-х годов «Золотом теленке» И. Ильфа и Е. Петрова появятся «дети лейтенанта Шмидта», шагнут со страниц книги в жизнь и пойдут гулять по стране.

Правда, не запрещалось создавать о недавнем кумире и что-то положительное. Так, в 1938 году композитор Н. И. Платонов сочинил посвященную Шмидту оперу; художник Л. Е. Мучник написал в 1940 году картину «Вооруженное восстание на крейсере “Очаков”», в центре которой, конечно же, народный «красный адмирал». А вот книг и серьезных статей, посвященных Шмидту, почти не появляется.

В послесталинский период, особенно в годы хрущевской оттепели, снова возвращаются к любимому народному герою. Но это уже не непоколебимый вождь-одиночка, пламенный революционер, возведенный на пьедестал, проводник большевистских идей. Его образ становится романтичнее, но человечнее, он оказывается более земным и понятным. Появляются посвященные Шмидту музеи. Первый – в 1962 году в Очакове, в здании, где состоялся суд над Шмидтом и его товарищами; в 1980-м – в Бердянске, где прошли его детские годы... Снова начинают издаваться посвященные Шмидту книги: научные, научно-популярные, литературно-художественные и прочие. Ставятся спектакли по пьесам, написанным о Шмидте. В 1968 году на экраны страны выходит документальный фильм, посвященный «красному адмиралу», а в 1970-м – художественный, не сходящий с экранов до сих пор «Почтовый роман» (режиссер Е. Матвеев). Создаются живописные и музыкальные произведения. Например, в 1970 году в Харьковском театре оперы и балета была поставлена опера композитора Б. Л. Яровинского «Лейтенант Шмидт», а в 1972-м в Одесском – одноименная опера Б. П. Кравченко.



Лейтенант Петр Петрович Шмидт. 1867–1906.
Фото из книги И. П. Вороницына

Довольно много пишут о Шмидте и в наши дни. Кто-то – с искренним уважением, даже с восхищением; кто-то – с подковырками и придирками; а кто-то – с нескрываемой ненавистью. Чудовищный плюрализм, воцарившийся в нашей прессе с начала 1990-х годов, неимоверные амбиции многих авторов, жаждущих выделиться на фоне огромного числа внезапно хлынувших публикаций пусть заведомо ложной, но шокирующей оценкой; суждения, основанные более на чувствах, чем на документах; элементы желтой прессы в, казалось бы, серьезных с виду творениях – всё это отнюдь не помогает нам лучше познакомиться с такой неординарной фигурой, как П. П. Шмидт, и с восстанием, возглавить которое он был обречен в момент, когда изменить уже ничего было нельзя. Например, писатель-маринист В. В. Шигин в 2001 году опубликовал в журнале «Наш современник» статью «Неизвестный лейтенант Шмидт», в которой показал Шмидта человеком психически неуравновешенным, без моральных устоев, но с большими амбициями. Та же оценка прозвучала в телевизионном документальном фильме «Лейтенант Шмидт. Назначенный герой» (режиссер М. Михеев) (2005). И нет ни малейшего сочувствия к человеку, добровольно пошедшему на мученическую смерть, который на суде всю вину брал на себя, спасая тем самым множество жизней. Не он эту кашу с восстанием заварил, но ему пришлось ее расхлебывать. Пошел, потому что позвали матросы, которые всегда относились к Шмидту с большим уважением как к гуманному командиру и опытному моряку.

Мы не будем идти на поводу у современных авторов. Постараемся очень кратко рассказать о Севастопольском восстании так, как писали об этом его очевидцы и непосредственные участники. И прежде всего – Иван Петрович Вороницын. Не будем анализировать все плюсы и ми-

нусы знаменитого бунта. Для нас главное – участие в нем Вороницына и оценка восстания, данная именно им.

Севастополь, слава русского флота и один из оплотов державы, никогда не отличался тишиной да гладью. Бунтарские настроения особенно сильно проявились здесь в 1905 году, когда в июне восстал знаменитый броненосец «Потемкин».

Но восстание, жестоко подавленное, никаких назревших матросских, да и вселенских проблем не решило. Понятно, что с ростом революционных настроений по всей стране всколыхнулись они и в Севастополе, хотя и обескровленном после июньского поражения и следовавших за этим кар, но не сломленном. Представители всех течений социал-демократии, в том числе и меньшевики, считали Севастополь одним из ключевых звеньев в битве с царизмом. Последние потому и послали туда Ивана Вороницына – юного, но уже успевшего проявить себя с самой положительной стороны. В помощь ему из Одессы



Броненосец «Потемкин» – бывший «Князь Потемкин-Таврический»



**Н. Шестопалов. Восстание на броненосце «Потемкин»
14 июня 1905 г.**

направили двух волевых пропагандисток, хорошо известных в рабочей среде под кличками Наташа (Наталья Вольская) и Нина (Инна Смидович). Наказали Ивану Петровичу бороться на два фронта: против правительства и против рвущихся к руководству назревающим восстанием большевиков.

Меньшевики справедливо считали, что Севастополь в данный момент к восстанию не готов, что преждевременность выступления приведет к гибели огромной массы людей, и пытались оттянуть момент взрыва. В то же время они понимали, что взрыв неизбежен, а потому подготовительную работу вели. Большевики же на III съезде РСДРП, проходившем 12–27 апреля 1905 года в Лондоне, призывали к незамедлительному всенародному вооруженному восстанию и поручили всем организациям партии «принять самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана вооруженного восстания и непосредственного руководства таковым, создавая для этого, по мере надобности, особые группы из



**Крейсер «Очаков» и броненосец «Потемкин»
у причала Лазаревского адмиралтейства на достройке**



**Кафе на Базарной площади, в котором в 1905 и 1907 гг.
размещался штаб Севастопольской организации большевиков
и боевой дружины**

партийных работников». Меншевики в это же время созвали свою конференцию в Женеве. «Два съезда – две партии», – так охарактеризовал Ленин положение РСДРП в 1905 году.

Итак, меньшевика Ивана Вороницына послали в Севастополь. Он был избран членом местного комитета Крымского союза РСДРП, выступал на митингах под именем Ивана Петровича, тесно сотрудничал с социал-демократической военной организацией и вошел в сформировавшийся в начале ноября 1905 года ее новый руководящий центр.

Как писал автор книги «Крейсер “Очаков”» Р. М. Мельников (кстати, апологет большевистского взгляда на Севастопольское восстание), «непосредственное руководство революционным движением осуществлял выделенный Советом исполнительный орган – Матросская

ЖЕНЕВА, 27 (14) мая 1965 года

№ 1.

ПРОЛЕТАРИЙ

Пролетаріє всьох странь
соединяйтесь!

Центральный Органъ Россійской Соціалъдемократической-Рабочей Партіи.

Издательство «Наша страна» Российская Социал-демократическая Рабочая Партия

[illegible]

Успешная работа/ Чтение документов имеет значение для нас, и

[illegible][illegible][illegible]

Ваше предложение, чтобы вернуть stolen компьютерный файл, который принадлежит мне и который я использую.
Д. К. Рок и Д. Р. Н.

Результаты и обсуждение: рассмотрены

**Большевистские газеты. «Пролетарий» № 1 –
с резолюцией съезда РСДРП**

комиссия, включавшая представителей Севастопольского комитета РСДРП, военной социал-демократической организации и рабочих порта. Во главе комиссии стал член РСДРП И. П. Вороницын». Мельников не уточняет, что тогда в Севастопольском комитете РСДРП всем управляли меньшевики, меньшевиком был и Вороницын. Да и возможно ли было это сделать, коли книжка вышла в Ленинграде в 1986 году? «В городе господствовала одна власть – власть Матросской комиссии. Начальства как будто не было», – цитирует Мельников одну из тогдашних газет. Восстало около 3000 человек. «В их руках на несколько дней оказалась, по существу, вся главная база Черноморского флота, весь Севастополь. Здесь, в “матросской республике”, реально осуществлялась власть Советов матросских, солдатских и рабочих депутатов... Здесь была организована народная милиция», просуществовавшая, правда, всего три дня.

Центром восстания стал крейсер «Очаков». Современнейший флагман Черноморского флота, он еще проходил

N. Lenin. Deux tactiques.

Prix : 1 fr. 25 cts. — 1 mk. — 18 ch. — 25 cent.

Россійская Соціалъдемократическая Рабочая Партія.

Пролетаріи всѣхъ странъ соединяйтесь!

Н. ЛЕНИНЪ.

**ДВѢ ТАКТИКИ
СОЦІАЛЬДЕМОКРАТІИ
ВЪ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦІИ.**

Изданіе Центр. Ком. Р. С. Д. Р. П.

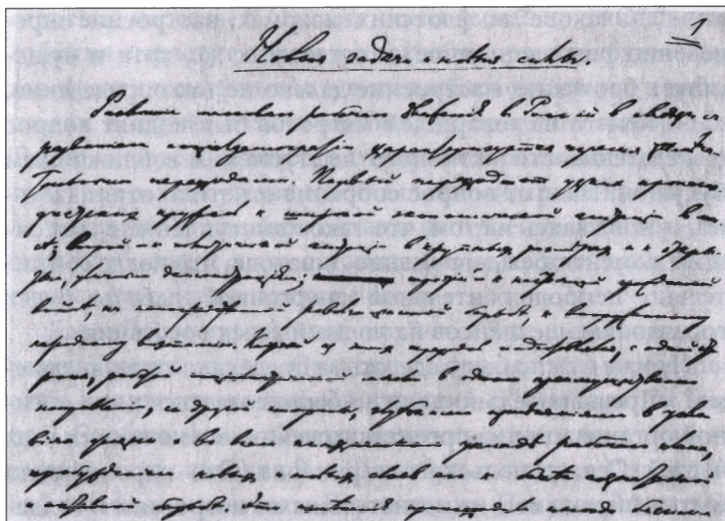
ЖЕНЕВА

Типографія Партіи. 3. rue de la Colline 3.
1905.

В. И. Ленин. «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Женева, 1905. Обложка брошюры

последние испытания в открытом море. Недоделок обнаружилось достаточно, а потому на корабле, помимо матросов и офицерского состава, находились сормовские рабочие-судостроители, известные всей России своей революционной активностью. Они не теряли времени даром и вели на судне эффективную пропагандистскую работу. А недовольства на корабле начались чуть ли не с первых дней формирования команды. Сказались и беспрецедентная грубость командиров, и плохое питание, и тяжелейшие условия труда, и многое другое. Как ни сдерживали меньшевики преждевременные бунтарские порывы матросов, после множества вспышек восстание началось. 11 ноября 1905 года восстал не один корабль, как было несколько месяцев назад, а подавляющая часть эскадры Черноморского флота вместе с ее главной базой, солдатами береговых соединений, рабочими порта.

Прав был Вороницын или в чем-то не прав, составляя в Севастопольской тюрьме доклад о восстании для конференции военных и боевых организаций РСДРП, судить не беремся. Предоставим это право читателям, приведя ниже фрагменты из него. Вороницын писал: «Севастопольское ноябрьское восстание по своему характеру мало чем отличается от целого ряда революционных вспышек, имевших место в ноябре и декабре прошлого года. Его стихийность бросается в глаза при самом беглом обзоре событий... Общие предпосылки восстания лежат главным образом в том возбуждении, которое в октябре и ноябре царило во всей России. Открыто проходившие многочисленные митинги привлекали всё внимание матросов». Особенно подчеркивает Вороницын активность рабочих порта, «имевших постоянное общение с матросами». Далее он констатирует: «Но с.-д. организация в то время постоянной работы среди матросов не вела. Незадолго до



Страница статьи В. И. Ленина «Новые задачи и новые силы».
Газ. «Вперед». 1905. 31 янв.

октября был разбит последний военный комитет в Севастополе, организованные матросы растеряли все связи с организацией. И только за несколько дней до ноябрьских событий мы начали восстанавливать разбитую организацию. <...> В первых числах ноября... организация смогла оправиться от сентябрьских и ноябрьских арестов и заняться восстановлением связей с матросами. Тогда же состоялось одно за другим два собрания бывших членов военной организации, на которых присутствовал и я, так как должен был взять на себя организаторские функции в работе среди военных. На обоих собраниях перебивало приблизительно человек по двадцати матросов. Прежде всего был поставлен вопрос о настроении в массе, о возможности поддержки матросами выступления рабочих. Выяснилось, что только в некоторых частях (на «Потем-

кине”, “Очакове”, во флотских казармах) настроение определенно революционное, в остальных же, хотя и существует брожение, настроение далеко не так определено. <...> Кем-то из товарищей-матросов был поднят вопрос о желательности активного выступления в ближайшем будущем. На этот вопрос собрание ответило отрицательно, основываясь на том, что такое выступление в настоящий момент преждевременно, и находя, что после сомнительно непродолжительной энергичной работы будет гораздо больше шансов на полный успех восстания».

Что же нужно было сделать за предельно короткое время? «Предварительно должно было создаться ядро военной организации из представителей по возможности всех частей Севастопольского гарнизона. Это ядро должно быть выбрано весьма сознательными матросами и солдатами. Члены организации у себя в частях немедленно принимаются за агитацию среди массы на почве ближайших экономических нужд. Политическая агитация идет параллельно. Главной задачей собрание постановило создание полулегальной организации представителей матросов и солдат для заботы о насущных интересах массы. <...> Как на средство достижения поставленной цели указывалось на забастовку. Идея забастовки пользовалась в то время большой популярностью. <...> В первые же дни после собраний работа пошла очень дружно. 6-го ноября удалось устроить два матросских митинга в 400–600 человек, на которых уже говорили о необходимости организоваться для борьбы с начальством и предлагалось приступить к выбору депутатов. Проводилась связь между борьбой за улучшение положения нижних чинов и борьбой за Учредительное собрание. Митинги прошли очень оживленно и предложенные соц.-демократические лозунги встретили полное сочувствие. Уже тогда было заметно, что на-

строение нарастает. Однако никто из нас не ожидал, что события вырастут сейчас же, как только массам будет указан практический выход в виде выбора депутатов и забастовки в случае отказа начальства признать выборных. Такая неподготовленность с нашей стороны объяснялась тем, что состав организации был новый, среди нас не было товарищей, знавших состав и настроение севастопольских матросов, и связь организации с массами тоже была очень непрочна, ее почти не было».

Далее Вороницын писал, что 8-го и 9-го им «в виде слуха» сообщили, что на «Очакове» матросы изгнали начальство, но при этом «прямых известий с “Очакова” не было». Сообщалось о мелких стычках матросов с командирами, о прошедших 9 и 10 ноября митингах. Странной кажется эта часть отчета Вороницына. Получается, что не социал-демократическое руководство во главе с Иваном Петровичем шло во главе восставших, а, наоборот, оно едва поспевало за матросами и солдатами, на несколько дней взявшими власть в Севастополе в свои руки. Вороницын писал в отчете: «11-го мне пришлось говорить с некоторыми товарищами, принимавшими участие в работе среди военных, и с некоторыми матросами, членами военной организации. Никто не предполагал, что взрыв последует так скоро; наоборот, нам казалось, что должно пройти некоторое время, прежде чем в движение втянется значительная часть гарнизона. Решили вечером на митинге все силы употребить на то, чтобы удержать особенно волнующихся матросов, находящихся на суше, и направить их энергию в сторону организационной работы».

Словом, основной пар руководителей уходил пока в митинги. Вороницын продолжает: «12-го утром был митинг, затем состоялось первое собрание флотских депутатов. Председателем был выбран я как представитель орга-

низации. На собрании выяснилось, что матросы решили идти мирным путем, забастовка должна быть совершенно мирной. Постановили: офицеров разоружать и прогонять, не допускать их во двор экипажей, караульную службу продолжать вести без офицеров; высылать патрули, уполномочить их арестовывать на улицах и проводить в экипажи всех матросов...». Комментируя дальнейший ход «мирных событий», Вороницын описывает аресты офицеров, в том числе и генералов, шествия с красными знаменами, попытку матросов овладеть «Потемкиным», переименованным после поражения июньского восстания в «Святителя Пантелеймона» (удалось ненадолго поднять на нем красный флаг), отказ солдат Белостоцкого полка действовать вместе с матросами...

Почти всю ночь на 13 ноября вырабатывались требования, обсуждался план дальнейших действий. При обсуждении последнего особенно ярко сказалась неподготовленность поднявшихся к активным наступательным действиям. Депутаты не могли себе представить, как можно действовать иначе. «Мы сперва предложим наши требования, – говорили они, – а потом посмотрим, что делать дальше. Если на нас будут нападать, мы будем защищаться». Вороницын констатировал: «Такой взгляд я объясняю тем, что идея вооруженного восстания массе была совершенно чужда. Они еще не представляли себе несоответствия между выставленными ими требованиями и занятой оборонительной позицией. Эта нерешительность дала возможность начальству оправиться».

13-го утром снова начались митинги. Вороницын сокрушался: «Ораторы употребляли все усилия, чтобы вызвать массу на активные действия... В этот день мы особенно остро почувствовали отсутствие у нас достаточного количества ораторов. Всю работу приходилось нести

двум-трем человекам. Приехавшие из Симферополя товарищи были не в курсе дела, а потому их помощь была слишком незначительна. Депутаты все время работали не покладая рук. Они ездили на суда, ходили к артиллеристам, к запасным, ходили в лагеря – состав собрания, заседавшего почти непрерывно, колебался между 20–30 человеками, в то время как депутатов всех было 50 человек. Только к вечеру собрались почти все депутаты. К вечеру в экипажи прибыл Шмидт».

Позднее в своей книге «Лейтенант Шмидт» Вороницын иначе опишет появление Петра Петровича среди восставших матросов. Шмидт пришел к мятежникам не по собственной инициативе. Моряки, высоко ценя его деловые и человеческие качества, и раньше заглядывали к нему домой, советуясь по тем или иным вопросам. Когда на «Очакове» вспыхнул мятеж, они очень долго уговаривали его примкнуть к восстанию. Вороницын писал: «13-го к нему явились за советом делегаты судовых команд, выбранные с разрешения начальства». К вечеру явились снова, «стали уговаривать отправиться с ними в дивизию. Шмидт долго отказывался». В конце концов, он уступил настойчивым просьбам. «Прибытию Шмидта все обрадовались, надеясь, что он, как офицер, сумеет более целесообразно использовать военные ресурсы восставших... Их энтузиазм передался Шмидту, и их вера поколебала его неверие». Но он поставил условие: не должно быть пролито ни одной капли крови.

Так писал Вороницын в книге. Но вернемся к его докладу. Сообщив, что 13 ноября к вечеру в экипажи прибыл Шмидт, он далее описал обширное выступление Петра Петровича «против соц.-дем., против самого движения матросов». Он не верил в успех движения и, желая блага матросам, предлагал ликвидировать забастовку. У него,

мол, есть свой план, который он приведет в исполнение тогда, когда найдет это нужным, а до тех пор все должно быть спокойно в его флоте. Речь Шмидта не вызвала сочувствия делегатов. Ему возражали и Вороницын, и некоторые матросы. «Было решено использовать, сколько это возможно, движение матросов, и там, где это возможно, переходить в наступление. Был произведен подсчет сил. Депутаты с судов заверяли, что если и не все присоединятся, то противодействовать во всяком случае не будут. Большинство же ручалось, что их команды присоединятся».

Как отметил Вороницын, Шмидт, слушая все это, менял отношение к восстанию. «Полевение совершалось в нем постепенно, от события к событию». Шмидт понял, что «толк будет, и предложил свои услуги, чтобы захватить офицеров и завладеть эскадрой. Было решено вести наступательные действия на суше и на море. В ту же ночь начался захват судов. Но масса с трудом втягивалась в наступательные действия – появился разлад. Медлительность наступления губила все дело». А в это время для подавления волнений стали подтягивать войска из других городов.

14 ноября около трех часов дня Шмидт прибыл на «Очаков», принял командование и обещал, что к ночи он арестует офицеров и завладеет стоящими на рейде судами. На другой день он должен был поднять на «Очакове» красный флаг и дать сигнал: «Командую флотом. Шмидт». Что и было сделано. Однако в целом операция, возглавляемая Шмидтом, не удалась. Это привело его в крайне болезненное состояние, и руководить далее «Очаковым» он не мог. Но, как писал Вороницын, «в то время со стороны экипажей судов, где руководство принадлежало нам, помимо захвата судов был захвачен арсенал, на “Потемкин”

были доставлены снятые с него ударники и ружья. Два пулемета были доставлены в экипажи. В порту арестовывалась вся администрация. Таким образом, активные нападения начались в ночь с 14-го на 15-е, но было уже поздно. Мы не успели подготовиться к обороне, не успели обеспечить за собой превосходство сил. Против нас были пущены в ход орудия судов, обстреливала крепостная и полевая артиллерия и пулеметы с Исторического бульвара. В нашем распоряжении были лишь ружья в экипажах (пулеметы еще не были установлены) и несколько орудий с мелких судов. Результаты усмирения известны».

Далее Вороницын поясняет причины неудач: «Движение возникло стихийно. Не было достаточной организационной и агитационной подготовки к нему. С.-д. была слаба организаторскими и агитаторскими силами, а потону и не могла использовать движение, как это было бы возможно при других условиях. Массы в восстание были двинуты общим всей России в те месяцы революционным настроением. Но отсутствие определенной политической цели восстания, неопределенность и незначительность причин его обусловили его медлительность и дряблость. В настоящее время с.-д. потеряла всякий престиж в матросских массах». Таковы суховатые строчки официального доклада И. П. Вороницына о Севастопольском восстании и о П. П. Шмидте. Дополним, что он писал об этом же в своих произведениях, прежде всего в таких, как мемуары «Из мрака каторги» и сравнительно небольшой книге «Лейтенант Шмидт».

Мемуары «Из мрака каторги» открываются главой о Севастопольском восстании и начинаются словами: «Восстание приближалось к своему концу. Неизбежным и роковым образом оно должно было кончиться нашим разгромом. Этот конец предвидели и чувствовали многие

из нас с самого начала. Но сознание долга и революционное чувство не позволяли нам отойти в сторону и побуждали к действию». И в мемуарах, и в книге о «красном адмирале», рассказывая о многих участниках восстания (при этом бесконечно мало упоминая о себе, хотя был одним из главных его руководителей), Вороницын характеризует Шмидта двояко: и как талантливого человека, добровольно взвалившего на свои хрупкие плечи непосильный, смертельный груз (прекрасно понимая, что он смертельный), и как личность тщеславную, совершенно далекую от большой политики и от истинной революционности, исковерканную жизнью и средой. Хотя, по собственным утверждениям Шмидта, он был социалистом с юных лет. Вороницын считал, что его «социализм» – чисто интеллигентский, не действенный, способный «конечно, поднять человека выше среднего уровня и доставить ему лично высокие переживания, но и только».

Родился П. П. Шмидт в Одессе 5 февраля 1867 года в семье морского офицера. И мать, и отец, и любимый дядя (он же крестный) Владимир Петрович были ветеранами Севастопольской обороны 1854–1855 годов. Мать Е. Я. Шмидт (в девичестве баронесса фон Вагнер, по материнской линии из рода киевских князей Сквирских) участвовала в Крымской войне как сестра милосердия. Отец дослужился до чина контр-адмирала. Дядя стал полным адмиралом, с 1890 по 1909 год – первым по старшинству среди военно-морских чинов Российского флота кавалером всех бывших в то время главных отечественных орденов, позднее – сенатором. Однако над этой столь благополучной с виду семьей тяготела тяжелая наследственная болезнь. Трое старших братьев Петра Петровича скончались в раннем детстве «от воспаления

мозга». Маленький Петя выжил лишь благодаря самоотверженной, безграничной опеке матери и двух старших сестер, но навсегда остался хрупким, болезненным, впечатлительным до крайности. Подверженность страшным припадкам сохранилась на всю жизнь. Подорвали его психику и ранняя смерть бесконечно любимой матери, и самоубийство старшей сестры, и появление мачехи, весьма враждебно настроенной к детям мужа от первого брака. Отец его, человек умный, образованный, добрый, страстно любящий море и морскую службу, почти не сходявший на берег, был в то же время «неуравновешенным до крайности, вспыльчивым до самозабвения», что тоже вносило свою лепту в душевную неуравновешенность сына.

Шмидт был человеком щедро одаренным. Успешно окончил гимназию в Бердянске, где семья жила в связи со службой отца, легко постигал науки, особенно математику, был общительным, имел в гимназические годы много друзей, увлекался спортом (плаванием, гимнастикой, греблей, парусными гонками), хорошо рисовал, пел, музицировал, играл на многих инструментах: виолончели, скрипке, гитаре, мандолине, цитре. Писал стихи. Много читал. Хорошо владел пером, даже мечтал стать журналистом, печатался в различных периодических изданиях (в основном под псевдонимами). Был потрясающим оратором, что и сослужило ему печальную службу, сделав кумиром на час, «красным адмиралом» на один день. Мог сагитировать и повести за собой любую толпу.

Вот как, например, описывает К. Паустовский в книге «Черное море» впечатление старого еврея-аптекаря от речи Шмидта, произнесенной им на кладбище, когда хоронили многочисленные жертвы вероломного убийства не бунтующих, а лишь пришедших встретить освобожден-

ных из тюрьмы. Старый аптекарь ранее Шмидта не знал и не слышал. Вот что он рассказал через много лет: «Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы... С кладбища он мог повести весь Севастополь за собой, захватить город, казармы и флот. Верьте мне, потому что я видел людей после его речи. Они готовы были зубами ломать тюремные решетки». Кстати, именно после этого выступления на кладбище пролетариат Севастополя избрал Шмидта своим пожизненным депутатом, чем тот невероятно гордился, считая это звание выше всех титулов, полученных при рождении.

Старик-аптекарь по прошествии многих лет мог и нафантазировать. Но вот как отзывались о речах Шмидта, произнесенных на суде, свидетели последнего акта трагедии. «Сила его ораторского дарования не поддается описанию», – говорил один из защитников Шмидта. А корреспондент «Одесских новостей» так передал впечатление от последнего слова Шмидта: «...и судьи, и защитники, и его товарищи по Голгофе с замиранием и слезами слушали величайшего трибуна».

При всех многочисленных талантах более всего Шмидт любил море и свою профессию. Был толковым и знающим капитаном (окончил Морское училище в Петербурге, многое постиг собственным опытом). Но предпочитал флот торговый, гражданский, где на судне он мог чувствовать себя истинным хозяином, устанавливая демократические порядки, заботясь о матросах, работая наравне с ними, за что команда его ценила и любила. А вот военный флот с его чрезмерной муштрой и беспрекословным подчинением старшим не терпел. Хрониче-

ски конфликтовал с начальством, сменив более тридцати мест работы.

И. П. Вороницын, оценив многогранную талантливость Шмидта (как, впрочем, и другие авторы), отметил и его слабости. Например, привычку Шмидта к страданию и жертве, нерешительность, пассивность, слабование... И в то же время безграничную веру в свою избранность, предназначение изменить мир к лучшему: отделив Крым от России, высадив десант в Одессе, Херсоне и в других приморских городах, провозгласить Южно-Русскую социалистическую республику и стать ее президентом. Его фантазии были безграничными и немного детскими. Вообразил в заурядной проститутке несчастное, но чистое создание и, чтобы вернуть ее к нормальной жизни, женился на ней, загубив и свою личную жизнь, и карьеру. «Мы можем только угадывать, как велики были его страдания», – писал Вороницын по этому поводу. Во время мимолетной встречи на ипподроме в Киеве, а затем сорокаминутной поездки в поезде увидел (вернее, вообразил) Прекрасную Даму (З. И. Ризберг). Удалось заполучить ее адрес, и началась семимесячная бурная переписка, возвышенно-восторженно-влюбленная с одной стороны и вежливо-холодноватая с другой. Зинаида Ивановна под всякими предложениями откладывала личные встречи со Шмидтом. Лишь накануне его расстрела она приедет с ним проститься, зато в советское время, благодаря этому почтовому роману, добьется персональной пенсии от молодого государства.

И Вороницын, и другие авторы считали, что добрый и мягкий от природы характер Шмидта исковеркала та великосветская среда, к которой он принадлежал по рождению. Он был представителем «золотой молодежи», которой все доступно и дозволено. Что бы ни вытворял юный

Шмидт, власти знали: наказывать бесполезно, любящий дядя вызовет племянника из любой сомнительной ситуации. И юный Шмидт мог затеять скандал в избранном обществе, наговорить дерзостей очень высокому чину, при всех дать пощечину человеку, который якобы обидел его несколько лет назад. Хронически не ладил с начальством. Когда в Петербурге «удачно» женился на проститутке и все от него отвернулись, дядя перевел племянника на Черноморский флот. Явившись к месту службы, Шмидт устроил в кабинете командующего флотом адмирала Кулагина такую сцену, что дяде срочно пришлось выхлопотать ему годичный отпуск «для поправки здоровья».

А пролетариат он любил. Хотя до конца его не знал и не понимал, но бесконечно ему сочувствовал. Еще в Бердянке пошел работать на завод сельскохозяйственных орудий, чтобы лучше вникнуть в условия труда рабочих. И ужаснулся, познав на себе, каковы эти условия. Вообще чуть не с детства считал себя социалистом. Как писал сам: «Я с юных лет интересовался общественными науками, только в них находя ответы на мучительные вопросы, разрешения которых требовало оскорбленное чувство правды и справедливости». Самообразование для него в это время (в основном в годы учебы в Морском училище) – «первый и единственный путь к построению жизни». И товарищи по училищу его не понимали.

Вороницын писал, что большое влияние на молодого Шмидта оказал Н. К. Михайловский, идеолог либерального народничества, бывший в те годы в расцвете литературной славы. Шмидт считал его своим учителем, заложившим основы его мировоззрения. «Я вырос под влиянием Михайловского, – писал Шмидт в 1905 году, – и этот апостол правды всю свою жизнь был для меня глубокоочтимым руководителем. Его смерть была для меня

горем, хотя я никогда не видел его, а только находился с ним некоторое время в переписке по вопросу “субъективного метода в социологии”. В своей книге о Шмидте Вороницын отмечал, что «действительно, “субъективный метод” Михайловского был Шмидтом усвоен целиком. Все мировоззрение Шмидта пропитывал идеалистический взгляд на развитие общества, представления, что законы этого развития зависят от человеческой психики, от более или менее сознательного отношения людей к их общественной жизни. Затем от Михайловского в первую очередь, а потом и от других своих учителей Шмидт усвоил народнический фетишизм общины, веру в то, что русский народ, благодаря общинному строю крестьянского хозяйства, как-то особенно предрасположен к социализму». Вороницын считал, что если бы не влияние Михайловского, может быть, сильнее было бы влияние на Шмидта Н. В. Шелгунова, ярого врага восьмидесятичества, хотя и не марксиста. «Отводя огромное значение экономике, Шелгунов все-таки утверждал, что единственным элементом прогресса является свободная человеческая личность». Знакомство с этим замечательным публицистом завязалось у Шмидта через сына Шелгунова, тоже ученика Морского училища.

Вороницын полагал, что не менее решающим было влияние на юного Шмидта тогда еще молодого экономиста Н. А. Карышева. Сам Шмидт писал о Карышеве: «Он направил меня на изучение политической экономии, и знакомство мое под его руководством с литературой этой науки окончательно утвердило те знания, на которых покоятся мои политические убеждения. Эти знания утвердили меня в полной научности социализма как неизбежной формы государственности». Но, как уже говорилось выше, Вороницын не считал Шмидта настоящим

марксистом. Он полагал, что учение Г. В. Плеханова было Шмидту совершенно неизвестно. Вороницын писал: «Шмидт даже в своей юности не был революционером и не проводил в жизнь своих убеждений. Он ограничивался платоническим сочувствием к людям, ведущим революционную борьбу с правительством, но в их ряды не вступил». И Шмидт, и его биографы вспоминали, что единственным фактом его «революционной» деятельности было написание печатными буквами и печатание на гектографе «Исторических писем» П. Л. Лаврова.

Как же складывалась обстановка в Севастополе и, в частности, на крейсере «Очаков», когда 14 ноября около 3-х часов дня Шмидт прибыл на мятежный броненосец? Команда встретила его, выстроившись во фронт, а караул отдал ему адмиральские почести. Шмидт занял командирское помещение и известил дивизию о том, что он вступил в командование «Очаковым». Вечером на корабль прибыли руководители движения на берегу (и прежде всего – Вороницын). Состоялось совещание, наметившее наступательные действия: овладеть рядом мелких судов, а также флагманским кораблем «Ростислав», захватить арсенал и т. д.

«Все эти планы были осуществлены лишь частично», – писал в своей книге о Шмидте Вороницын. Были захвачены минный крейсер «Гридень», контрминоносец «Свирепый» и три номерных миноносца. Ночью арестовали и перевезли на «Очаков» в качестве заложников важных офицеров и чиновников.

В 9 часов утра под звуки оркестра на «Очакове» был поднят красный флаг. Одновременно красные флаги подняли на мачте дивизии и на присоединившихся судах. Их было семь или восемь. Тогда же Шмидт, дав сигнал, что он командует флотом, отправил Николаю II свою знамени-



Бунтующие матросы

тую телеграмму: «Славный Черноморский флот, храня заветы и преданность царю, требует от вас, государь, немедленного созыва Учредительного собрания и не повинуетя больше вашим министрам. Командующий флотом гражданин Шмидт». Вот так сочетались в нем ярый монархист и руководитель восстания.

Между тем император, которого простые матросы почитали наравне с Богом, в письме к матери от 17 ноября 1905 года, уже после жесточайшего разгрома восстания, писал: «Какой-то прогнанный со службы офицер – бывший лейтенант Шмидт – провозгласил себя командиром “Очакова”, но после боя бежал, переодетый матросом, и был пойман. Его, конечно, придется расстрелять!». А ведь Шмидт не выгнан был, ушел в отставку. А уходящему в отставку прибавлялся чин, так что Шмидт по праву был капитаном второго ранга, а не лейтенантом, но начальство сие проигнорировало. И не бежал, переодетый матросом, а последним покинул пылающий корабль. В ответном

послании Мария Федоровна назвала Шмидта «подлецом» и «каналей», с которым «церемониться не надо».

Восставшие добились некоторых успехов: без единого выстрела захватили «Потемкин», Шмидт на «Свирепом» объехал корабли эскадры и на некоторых, хотя бы на время, поднимали красные флаги... Но взбунтовавшимся вскоре стало ясно, что восстание проиграно.

Началась жестокая расправа силами оставшихся верными правительству войск, прежде всего над «Очаковым». Вороницын писал: «На “Очаков”... был направлен такой яростный огонь, что о сопротивлении нечего было и думать. После нескольких ответных выстрелов объятый пламенем корабль представлял собой инертную массу, наполненную мечущимися в поисках спасения людьми. А канонада все усиливалась. Люди гибли в огне, под осколками непрерывно разрывавшихся снарядов, под дождем пуль из пулеметов и винтовок. Спасшиеся на шлюпках расстреливались из орудий, спасшиеся вплавь расстреливались из винтовок, а подплывшие к берегу добивались прикладами».

По-разному рисуют свидетели последние часы Шмидта во время расправы над восставшими, но все единодушны в том, что когда «Очаков» горел, Шмидт со своим шестнадцатилетним сыном Женей находился на пылавшем корабле, а не спасался, переодевшись в матросскую одежду. Вот как позднее описывал Евгений Шмидт эти мгновения в книге об отце: «Но у “Очакова” нашелся, наконец, защитник. Правда, единственный. “Свирепый”, испуская клубы густого черного дыма, на всех парах бесстрашно понесся на “Ростислав” с заряженным минным аппаратом. Им командовал И. П. Вороницын, 19-летний юноша, сын полковника, член боевой организации Р.С.Д.Р.П., один из честнейших и храбрейших русских лю-

дей. Когда “Свирепый” находился в каких-нибудь 50 саженях от своего врага, снаряд с канонерской лодки “Терек”, направленный опытным глазом и верной рукой, разворотил всю носовую часть “Свирепого” и лишил его не только боеспособности, но и способности к управлению. Через несколько минут его забрал голыми руками подоспевший правительственный миноносец».

В самый последний момент покинув «Очаков», Шмидт и Евгений пытались спастись вплавь. Как писал Вороницын, «когда Шмидт уже терял сознание в холодной воде, его с сыном спасли матросы одного из миноносцев, примкнувших к восстанию». Это был миноносец № 270, на который после гибели «Свирепого» матросы пересадили и Вороницына. Но и маленький миноносец в результате точного попадания снаряда теряет ход и становится удобной мишенью.

Шмидта с сыном, Вороницына и нескольких других участников восстания доставили на «Ростислав», пред грозные очи морского начальства. Женю на другой день отпустили «на попечительство родственников», а над Шмидтом, Вороницыным и прочими поиздевались всласть. Морили голодом, темнотой, холодом... Как считают некоторые авторы, пытали.

Бой продолжался два с половиной часа, если можно назвать боем это избиение, по сути, безоружных. Было арестовано до 40 процентов состава флота – около 6000 человек. Шмидта хотели казнить сразу, но революция еще бушевала, газеты систематически публиковали сообщения о «красном лейтенанте» и его подвигах. Он стал национальным героем. Каратели решили провести показательный суд над Шмидтом, а пока оставили его в том «чумном каземате», куда поместили сразу после ареста. Там он и находился почти до самого суда в полном одиночестве.

Царь торопил, и в конце декабря следствие было закончено. Суд начался 7 февраля 1906 года и продолжался одиннадцать дней. Но вместо обличения офицера-предателя он превратился в его триумф. Как уже говорилось, Шмидт всю вину брал на себя, в результате смертный приговор вынесли лишь четверым: самому Шмидту и его соратникам по «Очакову»: баталеру С. П. Частнику, комендору Н. Г. Антоненко и машинисту А. И. Гладкову. Иначе жертв было бы во много раз больше.

Всех потрясло последнее слово Шмидта на суде. Потрясло и его сотоварищей, и тех родных, кому дозволено было там присутствовать, и журналистов, и даже самих вершителей действия. Под названием «Слово о России» оно вошло в историю и стало известно всей стране. Шмидт говорил: «Я знаю, что столб, у которого встану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей Родины... Позади за спиной у меня останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, обновленную, счастливую Россию».

Романтику Шмидту легче было умирать с мыслью, что жизнь он прожил не зря. А его любимый сын, казалось бы, единомышленник во всех ситуациях, в эмиграции выпустил свои воспоминания об отце, в которых утверждал, что доживи отец до Октябрьской революции, он бы ее не принял. Сам Евгений, несмотря на все сложности заграничного бытования (он скончался в бедности и одиночестве в Париже в 1951 году), в Советском Союзе никогда не был.

А что же Вороницын? Коли он был такой важной фигурой в Севастопольском восстании, почему мы раньше о нем ничего не знали? Хотя много ли мы знали о других героях-меньшевиках, сложивших головы в революционных схватках или в сталинских застенках? Но Вороницын был так дерзок и смел (порою до безрассудства!), так непозво-

лительно молод даже для тех «пионерских» времен, так непримирим к злу, к малейшей несправедливости и в то же время так готов к страданиям, если они, как он полагал, могли принести кому-то благо, что не занимать должного места в революционной среде – конечно же, меньшевистской! – он просто не мог. И, конечно же, Вороницыну, пока его не репрессировали большевики, многие подражали и многие завидовали. Не страданиям, а популярности среди сотоварищей по партии, его авторитету, талантливости, со временем – огромной образованности. Вот и партнер его по восстанию, по отсидке в севастопольских, а позднее и в других российских тюрьмах, И. И. Генкин (Шаевич) в своих книгах, особенно в таких, как «По тюрьмам и этапам» (1922) или «Лейтенант Шмидт и восстание на “Очакове”» (1925), старался вроде бы, с одной стороны, подчеркнуть свою близость к этому незаурядному революционеру, а с другой – как-нибудь аккуратненько низвести его с пьедестала.

Был Иосиф Израилевич (Исаевич) Генкин всего на год старше Вороницына. Он родился в 1884 году в городе Очакове в бедной рабочей семье. Вершиной его образования стала народная еврейская школа, где в основном изучали «Тору». Был рьяным бундовцем и меньшевиком. С 1901 года – член РСДРП, с 1904-го – секретарь Крымского комитета РСДРП. Участвовал в организации знаменитого побега потемкинцев. За участие в Севастопольском восстании его осудили на 15 лет каторги, сокращенные позднее до десяти лет, ибо к моменту ареста был несовершеннолетним. Отбывал срок в Смоленске (до 1907 г.), Шлиссельбурге (до 1909 г.), Вологде (до 1911 г.), Орле (до 1915 г.). После окончания каторжного срока отправлен на поселение в Тунгусскую волость Иркутской губернии. В Сибири неожиданно проявил себя талантли-



И. И. Генкин

вым администратором, с победой Февральской революции остался там по собственной воле. Был председателем больничной кассы в Иркутске. Очень скоро от меньшевизма открестился. Много сотрудничал в сибирской и центральной периодике, работал в Монголии, Англии, США и в других странах (как корреспондент ТАСС, торговый представитель и т. д.). Когда в 1929 году вернулся из Нью-Йорка в Москву, трудился в Научно-исследовательском институте монополии внешней торговли.

Параллельно с восхождением по карьерной лестнице писал и публиковал одну книгу за другой, всячески подчеркивая в них свою значимость как революционера, что не спасло его от ежовских репрессий. В 1938 году был арестован «за участие в правотроцкистской организации» и в 1939 году расстрелян.

Описывая в книге «По тюрьмам и этапам» назревание революционных настроений в Севастополе, Генкин сообщал, что в начале ноября 1905 года в городе «сформировался новый руководящий центр социал-демократической военной организации», куда вошли двое штатских: один из первых организаторов работы среди военных в Севастополе Николай Конторович и «случайно приехавший в Севастополь старый партийный работник Иван Вороницын». Коли Генкин был близок к руководству восстанием, что он и пытается показать в обеих своих книгах, он не мог не знать, какая это была «случайность», и называть «старым партийным работником» двадцатилетнего

юношу тоже более чем странно. Генкин всячески подчеркивает слабость, нерешительность Совета депутатов, одним из главных руководителей которого был Вороницын, жесткие споры Вороницына со Шмидтом и т. д. Но он же рассказывает, как боялись Вороницына и его окружения царские прислужники, как хотели немедленно расстрелять его на месте без всякого суда, когда доставили с катера на «Ростислав»... Генкин писал, что Вороницын и большинство депутатов могли бы скрыться еще в самом начале беспощадного разгрома, но не сделали этого, «опасаясь, что это произведет дурное впечатление на рядовых участников восстания. Впоследствии все они были приговорены к смертной казни», которую позднее заменили бессрочной или двадцатилетней каторгой. И далее в книге Генкин постоянно называет Вороницына «главным руководителем восстания».

А вот как конец севастопольских событий описывает сам Вороницын в книге «Из мрака каторги»: «Начинает чувствоваться отсутствие полной непосредственной поддержки. Примкнувшие части или открыто переходят на сторону правительства, или пассивно предоставляют нам разделяться со стягивающим силы и переходящим в наступление врагом. На судах царит колеблющееся настроение. Команды некоторых из них добровольно отдали замки от орудий в самом начале восстания. Другие же суда подняли красный флаг уже тогда, когда для нас, руководителей и сознательных участников, стало совершенно ясным, что на победу рассчитывать не приходится и нужно лишь, придав движению организованный характер, достойно его завершить».

Когда после жестокого избиения восставших из орудий береговых батарей и верных правительству судов, продолжавшегося два с половиной часа, Вороницына и



**Горельеф, посвященный памяти участников восстания
в ноябре 1905 г. в Севастополе**

его товарищей, мокрых, продрогших, окровавленных, доставили на главное судно карателей «Ростислав», их выстроили в ряд, а командир броненосца бросился на них, «топая ногами и изрыгая ругательства». Вороницын пишет: «С особенной силой его ярость сосредоточилась на мне: я не переодевался в матросский костюм, и моя “вольная” одежда ясно указывала на то, что я “агитатор”.

– Расстрелять его.

Я снял с себя пальто... и отошел от товарищей. Было как-то безразлично. Всем существом овладела полная апатия – реакция на пережитый в эти дни нервный подъем. Чувствовалась смертельная усталость, и в моем мозгу бы-

ла только одна мысль: скорее бы уж все кончилось. Очевидно, адмирал ожидал испуга, просьб, слез... Вышло шесть матросов с винтовками. Но тут последовало: – Отставить! – и я снова занял свое место в ряду товарищей. Нас переписали. Когда очередь дошла до меня, записывавший нас офицер спросил:

– Вы революционер?

– Да, я социал-демократ.

– Неправда! Демократы против насилия и крови. А вы, смотрите, что вы наделали!

– И все-таки я социал-демократ, – ответил я, пожимая плечами.

Офицеру этому пришлось ждать следствия и суда, чтобы убедиться в том, что я действительно социал-демократ и что “демократы” тоже не прочь употреблять при нужде “насилие”.

Поначалу Вороницын и его единомышленники попали в так называемые «артиллерийские карцера», которые Иван Петрович описывал так: «...Это старое, промозглое здание, сырое и грязное, полное той особенной вони, которая свойственна военным тюрьмам, каталажкам захолустных городов и арестным помещениям при полицейских участках. Этот запах, запах кислых щей, сырого черного хлеба, человеческого пота и испражнений, запах парашки и покрытых плесенью стен сразу ударил мне в нос и как-то привел в себя. Захотелось чайку, хотя бы горячей воды...». Караул оказался не таким свирепым, как морские конвоиры, от которых пленники натерпелись издевательств и оскорблений. «Появился котелок с кипятком и кусок хлеба».

Порассуждали о совершившемся и о предстоящем. Вороницын и его товарищи были уверены, что пощады ждать не приходится и спасению прийти неоткуда. Они были взяты с оружием в руках, были участниками, а не

которые и руководителями открытого военного мятежа. Единственное сомнение, которое у них еще оставалось, это – расстреляют их без суда, как только у победителей случится свободная минутка, или будет разыграна комедия «полевого скорострельного суда». Несмотря на печальные думы, усталые головы склонялись, веки слипались, и арестанты засыпали один за другим. На голом грязном полу было сыро, холодно, жестко. Узники крепче прижимались друг к другу, чтобы согреться. В карцерах пленники были совершенно отрезаны от остального мира. «Оставшиеся на воле друзья не могли со мной снестись, – писал Вороницын, – так как они не только не знали о том, где я нахожусь, но и не знали, уцелел ли я. Больше того, находились даже очевидцы моей смерти».

Больше пути Вороницына и Шмидта с их соратниками не пересекались: их после ареста содержали в разных казематах, судили по разным категориям, и расправа была неадекватной. Разделаться со Шмидтом торопились; Вороницына и его компанию продержали в тюрьме ровно год, переведя из «артиллерийских карцеров» в тюрьму.

Уже опытный сиделец по разным острогам, Вороницын, очутившись в тюрьме, даже как-то успокоился, ибо уже выработалась у него «тюремная философия». Суть ее состояла в следующем: «В тюрьме нет ничего хуже неприятия тюрьмы. Тот революционер, который с первого же дня начинает носиться с мыслью, что его, может быть, скоро выпустят, у которого, следовательно, тюремное жизнеощущение сложится в тонах минорных, – самое несчастное существо в мире. Он будет неспособен к тюремной борьбе с вечным врагом – начальством. И если товарищеский долг его в эту борьбу вовлечет, он будет ядром на ногах и камнем на шее у тех товарищей, которые и в тюрьме чувствуют себя “на почетном посту”. Без борьбы



**Одесса. В. Богданов, арх. Ю. Лапин и М. Волков.
Памятник матросам-потемкинцам на Потемкинской площади.
Открыт в июне 1965 г.**

тюрьма немыслима. Сидящий всегда к ней готов, даже в те дни и месяцы, когда размеренно и спокойно идет жизнь. Средства и формы этой борьбы бесконечно разнообразны и в высокой мере индивидуальны. И это знает не только каждый пленный революционер, но и каждый тюремщик. В психологии того поколения, к которому принадлежу я, тюрьма сыграла немалую роль. Она выработала те общие черты характера, которые у предшествовавших нам поколений выражались еще более ярко: энтузиазм не только в важном, но и в мелочах, романтизм, противоречивший порой теоретическому реализму, стойкость и нестигаемость в вопросах даже практического свойства. И тюрьму – нашу школу и наш университет – мы даже любили. Мало кто из людей, много времени проведенных в заключении даже в самых скверных тюрьмах, не найдет нескольких добрых воспоминаний в этом мрачном прошлом и не помянет несколькими теплыми словами то холодное время. Нет ничего удивительного, что, очутившись в одиночке городской севастьяпольской тюрьмы, я почувствовал себя сразу по-домашнему, успокоенно».

Вороницын писал эти строки, когда за плечами у него уже были и Смоленский централ, и Шлиссельбургская крепость, и Вологодский каземат, и другие тюрьмы. Поэтому и процитировали мы столь обширный отрывок его сочинения «Из мрака каторги», чтобы яснее стали нам последующие страницы его жизни, почти сплошь состоявшие из неимоверно трудных отсидок, и чтобы лучше смогли мы понять, что помогало ему все это преодолеть. Последующие тюрьмы будут страшнее севастьяпольской, хотя и она была далеко не сахар. Генкин писал, что в дни их ареста в тюрьме царила неимоверная теснота. В камеры, рассчитанные на двенадцать человек, помещали более тридцати. «Грязь, пыль, паутина, клопы, вши –

все это делало наши жилища противными до омерзения; клозеты – в этом же помещении готовим и кипяток – подходили на зловонные клоаки; коридоры были темные, воздух затхлый, отовсюду разило таким ароматом, что с непривычки голова кружилась; пища была сквернее скверного», – писал он.

Но в севастопольской тюрьме пока еще не привыкли к эксцессам, подобным только что закончившемуся восстанию, до этого сидели там мелкие уголовники и контрабандисты, а потому и нравы царили весьма вольные. Генкин сообщал, что арестованные переходили из камеры в камеру, ходили на прогулку когда вздумается, получали передачи с воли... Всегда имели свежую литературу, прокламации. Даже издавали тюремный журнал, печатавшийся здесь же, в тюрьме, на гектографе. Но поскольку многим грозила смертная казнь, на воле товарищи готовили побег Вороницыну, Конторовичу и другим, наиболее активным участникам восстания. Первым должен был бежать Вороницын. Однако, как писал Генкин, хотя у Вороницына «смелости и решительности было более чем достаточно, тем не менее несколько подобных попыток кончилось ничем». Казалось бы, до тонкости продуманные акции срывались из-за каких-то мелочей.

Далее передаем слово Вороницыну. В книге «Из мрака каторги» он пишет: «Между тем, к концу июня должен был начаться суд над нашей группой. Власти заканчивали свои приготовления. А момент мы считали самым неподходящим. Правительственный террор все усиливался. Нужно было во что бы то ни стало оттянуть, отложить суд». Выяснили, что их дело находится в здании военноморского суда, хранится в простых деревянных шкафах и «без особенной затраты сил и средств может быть похищено». Исчезновение следственных материалов «поста-

вит суд в необходимость наново производить следствие, собирать и размножать материалы, разыскивать тех свидетелей, которые успели уехать (а таких было огромное множество), словом, настолько усложнит и ослабит энергию следствия, что, помимо нужной нам оттяжки, благоприятно отразится на положении многих подсудимых». «Товарищи на воле с удовольствием согласились произвести такую оригинальную экспроприацию», что и было сделано. Расчеты полностью оправдались: дело было назначено к доследованию.

Но, хотя и с опозданием, суд начался.

Вороницын и его товарищи по заключению долго спорили: участвовать в суде или нет. Вороницын позднее писал: «Наша партийная группа стояла за то, чтобы по примеру участников процесса Петербургского Совета рабочих депутатов бойкотировать суд, обратившись к гражданам с декларацией, поясняющей и мотивирующей этот акт протеста». После жарких дискуссий решили суд бойкотировать, декларацию поручили написать Вороницыну, что он и сделал, и за подписью его, Н. Конторовича и И. Генкина она была напечатана во всех революционных газетах.

Вот как сам Вороницын описывал попытку властей провести суд по собственному сценарию: «Суд происходил при закрытых дверях в одном из корпусов флотских казарм. Уже задолго до него... властями были приняты экстренные меры охраны. У здания суда были выставлены пулеметы, всюду были усиленные патрули. Начальство знало, что всеобщие симпатии были на нашей стороне, что все еще находящийся в брожении флот с напряжением ожидает исхода процесса, и поэтому готовилось ко всяким неожиданностям. Судьи были подготовлены к нашему наступлению. Когда после обычных формальностей судебного разбирательства я обратился к председателю с просьбой

дать мне слово для заявления, среди судей возникло смятение.

– Какого рода заявление? Для чего заявление? Сейчас никаких заявлений делать нельзя. В свое время вы получите слово.

Я настаивал. Меня поддержали наши защитники. Наконец слово мне дается, но с предупреждением, что я буду лишен его, если вздумаю “митинговать”. “Митинговать” я как раз и собирался.

– Наш суд, – начал я, – происходит в обстановке осадного режима, среди ужаса смертных казней, при полном бесправии народа...

Председатель прерывает меня.

– Я не позволяю вам говорить об этом. Вам разрешается только говорить по существу предъявленного вам обвинения.

Снова мы препираемся. Из среды подсудимых раздаётся ропот. Слышны взволнованные и негодующие возгласы. Я продолжаю, наконец. Едва удается мне произнести несколько слов, в которых я хочу выразить наше отрицательное отношение к этому суду, заклеить его как суд палачей над жертвами, победителей над побежденными, как комедию и преступление, – председатель снова начинает звонить и лишает меня слова».

Выводят из зала Вороницына, выводят одного за другим согласных с ним товарищей. Защитники в знак солидарности тоже покидают зал.

В последние дни в зале при ничтожном количестве народа царили тишь да гладь. Приговор выносится при полном безмолвии, осужденным о нем сообщают в тюрьме. Все же удалось добиться минимального количества смертных приговоров – всего пять, да и те заменили бессрочной каторгой. Основным обвиняемым был Вороницын. Он

обвинялся в том, что был «главным лицом, подготовлявшим и организовавшим восстание», что, председательствуя в «мятежном комитете», руководившем движением, вошел в непосредственную связь с лейтенантом Шмидтом для объединения действий восставших на захваченных судах и в казармах; что в дни восстания говорил речи на митингах, убеждая «биться до последней капли крови», водил матросов в Брестский и Белостокский полки и призывал солдат этих полков присоединиться к матросам; что 15 ноября 1905 года перешел на контрминоносец «Свирепый», на котором находился в то время, когда «Свирепый» проходил вдоль эскадры и стрелял по войскам, подавлявшим восстание. Что именно Вороницын подбил своих товарищей не участвовать в суде и был автором соответствующей декларации.

Как уже говорилось, первоначально суд приговорил Вороницына к смертной казни, но, принимая во внимание, что во время совершения вменяемого ему преступления он не достиг совершеннолетия, заменили ее каторжными работами без срока. После объявления приговора осужденных сразу же заковали в ножные кандалы и перевели в морской арестантский дом, а через несколько дней наступил и час отъезда. Но куда отправляют, видимо, не знал никто, кроме старшего конвойного офицера, специально присланного в Севастополь для выполнения столь важной миссии. Начинается обыск – первый в бесконечной серии предстоящих. Раздевают догола. Обследуют каждый шов одежды, каждую пуговицу, каждую складку тела... «Унизительная, гнусная и подлая церемония», – писал об этом действе Вороницын. Наконец обыск окончен.

Начинается отправка на вокзал. И. Генкин вспоминает: «К каждому из нас приставлено было по два солдата, воо-

руженных винтовками. Вороницын же, Циома, Барышев, Конторович, Симоненко и Киршенштейн удостоились особой чести: их отправили на вокзал каждого в особой карете, с двумя вооруженными браунингами солдатами внутри кареты и четырьмя верховыми казаками снаружи». Ходили слухи, что рабочие и матросы хотели их освободить. А так эту «торжественную» отправку обрисовал Вороницын: «Наиболее “опасные” из нас были посажены на извозчиков вместе с конвойными, причем каждого извозчика эскортировало несколько кавалеристов. И на всем пути до вокзала при бледном свете фонарей мы видели сильные патрули на углах пустынных улиц. Нас везли особым экстренным поездом до Харькова, без остановок на станциях, с курьерской скоростью. Уже после того как мы миновали Симферополь, подполковник [Третьяков] злорадно сообщил нам, что попытка освободить нас не удалась.

– Какая попытка?

– Полно! Вы ведь прекрасно знаете, что на поезд между Севастополем и Симферополем должны были напасть. Но я принял все меры. Ожидали, что вас повезут завтра.

У страха глаза велики! Никто не хотел нападать на поезд, но что на начальство напала паника, это было для нас очевидно. Самые необычные предосторожности принимались во время пути. У каждого окна нашего отделения вагона стоял солдат с вынутым из кобуры револьвером в руке. А в отделении конвоя, отгороженном от нас солидной решеткой, и день и ночь бодрствовало несколько человек».

Довезли арестованных до Москвы, долго колесили по круговой дороге вокруг нее, затем, как всем показалось, повернули на восток... Уж не в Сибирь ли? Конвой молчал. И вдруг в Смоленске, как громом поразило! Выходи! Приехали! Это было 5 декабря 1906 года.

ГОЛЫЙ БУНТ

Только по прибытии осужденные узнали, что арестантские роты в Смоленске переименованы в каторжную тюрьму. После упразднения в 80-х годах XIX века Харьковских централов это была первая каторжная тюрьма в Европейской России. Ранее особо опасные преступники отбывали наказание, как правило, в Сибири или на Сахалине, если не считать Шлиссельбургской крепости, предназначенной для лиц крайне опасных по политическим мотивам. Но революция 1905–1907 годов выявила такое огромное количество преступников-политиков, что перед Главным тюремным управлением встал вопрос: куда девать эти тысячи лиц, заполнявших тюрьмы обычного типа, где им явно было не место?

Сибирь для них тоже не подходила – слишком вольные установились там за последнее время порядки. Из тамошних чухлых тюрем легко было бежать, а уж когда осужденный переходил в разряд ссыльнопоселенцев – тем более. Да и что это за наказание – быть ссыльнопоселенцем, особенно в южных регионах Сибири? Освобождаешься от тюремной опеки, приписываешься к какому-нибудь крестьянскому обществу, находишь жилище, работу, при желании воссоединяешься с семьей... Не случайно многие по истечении срока ссылки так и оставались в Сибири. Правительство смотрело на это сквозь пальцы, когда речь шла об уголовниках. Но политические...

Вскоре и в Сибири тюрьмы оказались переполнены ими. А Петербург так далеко! И следить за этой массой

опасных преступников за тысячи и тысячи верст нереально. Пришлось вводить каторжный режим в ряде тюрем западной и центральной России. Изрядно пострадавший от этого нововведения Иван Вороницын, естественно, подробно описал в своей книге «Из мрака каторги», какие страшные начались изменения там, где он уже успел ранее побывать. Он считал, что правительство горело жаждой мести своему поверженному, но не раскаявшемуся врагу, превращая тюрьмы в дома пыток и смерти.

Вот и явилась Смоленская тюрьма первым таким каторжным централом, а Вороницын и его товарищи – одними из первых ее гостей, на которых и должны были сие нововведение опробовать.

А теперь о том, что нам предстоит.

Так же, как нашему герою, предстоит нам пройти через разные каторжные централы, претерпеть все тяготы пребывания в Шлиссельбургской крепости... Мы пройдем через немыслимые испытания, читая воспоминания о них многоопытных сидельцев, а прежде всего, конечно, самого Ивана Петровича Вороницына. Во-первых, ради него, во имя возвращения широкому читателю его светлого имени затеяна эта книга, он ее главный герой. Во-вторых, просидел он в подобных заведениях (царских, немецких, советских) столько, сколько другим, самым пламенным революционерам и не снилось, да при этом много лет в кандалах, не только ножных, но и ручных. В-третьих, он оставил нам описания почти всех этих «мест отдаленных», а что может быть ценнее первоисточников? В-четвертых, Вороницын был незаурядным литератором, но сочинения его, за редчайшими исключениями, после 1920 – 1930-х годов XX века не переиздавались, а хотелось бы, чтобы читатель оценил и эту сторону незаурядной личности. Вот почему приводимые здесь фрагменты из его произведений столь обширны.

Но прежде чем начнем перелистывать самые горькие страницы жизни Ивана Петровича, повторим мысль, которая, собственно, и подвигла нас на создание этой книги: как порою жестоки бывают друг к другу люди лишь потому, что по-разному понимают, в чем суть человеческого счастья и каковы пути к нему. А ведь часто и те, кто мучает, и те, кто мучается (как правило, совсем не зря, а тоже пролив немало крови) – очень хорошие в обыденной жизни люди. Покажем это на примере начальника Главного тюремного управления А. М. Максимовского и застрелившей его вскоре эсерки-террористки Е. П. Рогозинниковой.

Александр Михайлович Максимовский (1861–1907), окончив юридический факультет Харьковского университета, совсем не думал посвящать себя делам тюремным. Но когда назначили его служить по этой части, решил: добро можно делать везде, а на данной стезе – особенно. Все, кто знал его, даже родственники осужденных, считали его хорошим человеком, честным, порядочным, добрым, отзывчивым, искренне верующим христианином... Жизнь вел почти аскетическую, наибольшую часть собственных средств тратя на благотворительность, прежде всего – на беспризорных детей. Никогда не думал о личной безопасности. Даже на работу ездил не в специальном экипаже, а на конке. Мнение было единодушным: погиб по причине не конкретных его деяний, а занимаемого им поста. Предчувствуя свою раннюю смерть, говорил, что если такое случится, не надо казнить убийцу, немилосердно это. А вот гибель своих друзей от рук террористов, реки крови, пролитые в ходе революции, простить не мог и был непреклонен в проведении тюремных реформ, в ужесточении мер по отношению к тем, кто готов был тащить народ к всеобщему счастью через горы трупов. За это эсеры

и вынесли ему смертный приговор, поручив исполнить его Евстолии Рогозинниковой.

Евстолия Павловна Рогозинникова (1886–1907) – милая, добрая, талантливая, интеллигентная девушка. Родом из города Красноуфимска Пермской губернии, из большой и очень музыкальной семьи. Все члены семьи играли на каких-либо музыкальных инструментах, пели, сочиняли музыку. Евстолия была так талантлива, что ее приняли на казенный счет в Петербургскую консерваторию. Занималась первоначально по классу фортепиано, затем перешла на вокал. Ей сулили блестящее будущее, собирались отправить совершенствоваться в Милан. Но Евстолия увлеклась политикой, вступила в «Летучий боевой отряд Северной области», стала эсеркой-террористкой. Ей был всего 21 год, и вскоре она должна была выйти замуж.

Пришла к Максимовскому на прием якобы с личной просьбой. И когда он принял ее, несколько раз в упор выстрелила ему в лицо из револьвера. Не приходя в сознание, Максимовский скончался в тот же день. Однако эсерам удалось исполнить лишь первый акт трагедии. Замысел был чудовищным. После убийства Максимовского Евстолия должна была выстрелить в окно – подать знак сообщникам, что задание выполнено. Ясно было, что к месту убийства начнут стягиваться самые важные чины жандармерии, которых перестреляли бы одного за другим. Евстолию будут допрашивать в жандармерии, а у нее на теле более пяти килограммов экстрадинамита и два детонатора. Огромное здание жандармерии должно было взлететь на воздух со всем персоналом, конечно, да и с теми, кто случайно окажется рядом. Но в окно Евстолия не попала, сообщники об удачном убийстве извещены не были, экстрадинамит на теле девушки вовремя обезвредили,

хотя опасность взрыва была велика чрезвычайно. А день был приемный, в помещении находилась масса людей...

Евстолию повесили в тот день, когда хоронили Максимовского. В своем предсмертном письме она писала родным: «Только высший долг заставил меня идти туда, куда пошла я. Нет, даже не долг, любовь, большая, большая любовь к людям. Ради нее я пожертвовала всем, что было у меня... Как хорошо любить людей! Сколько сил дает такая любовь! Все невзгоды свои кажутся маленькими, ничтожными в сравнении с человеческими задачами... Своей любовью я обойму весь мир». Когда-то о поступке Рогозинниковой говорили как о подвиге революционерки, в ее честь и в честь ее брата (тоже террориста) называли одну из главных улиц Красноуфимска. Сегодня о подобных героях говорят как о безумцах террора.

Но вернемся к Ивану Петровичу Вороницыну. Черпая сведения в основном из его мемуаров «Из мрака каторги» и в какой-то мере из других источников, расскажем, как протекала в Смоленской тюрьме жизнь недавних участников Севастопольского восстания и их новых товарищей по застенку.

Уже с наступлением темноты 5 декабря 1906 года уставшие от непривычных кандалов и довольно длинного пути от вокзала до тюрьмы вошли страдальцы в свое новое жилище. Первое впечатление от него: парашечная вонь и грязь. Встретившее «долгожданных гостей» начальство всем своим видом и поведением старалось показать, что оно еще не привыкло к обращению с такой публикой, старалось не провоцировать столкновения и поскорее покончить с формальностями. У прибывших же, как писал Вороницын, «настроение было обратное, боевое. Уже ввалившись огромной, беспорядочной гурьбой в тюрьму, мы подняли страшный шум: кто пел революционные песни,

кто просто “драл глотку”, чтобы показать, что мы, мол, матросы, никого и ничего не боимся. А когда надзиратели пробовали уговорить нас вести себя тише, в дело пошли угрозы.

– Знай, с кем дело имеешь, тюремная крыса. Мы всю вашу тюрьму разнесем.

Нас загнали в несколько пустых камер и оттуда по одному стали вызывать с вещами для обыска».

Зерно громкого конфликта, который вскоре разразится между вновь прибывшими и «добреньким» начальством, было заложено с первых, можно сказать, мгновений пребывания арестантов в Смоленской тюрьме. И заключалось оно не в оре, устроенном едва ступившими на порог централа севастопольцами, не в пении революционных песен, а в ужасающей антисанитарии, которая здесь царила. Порядки-то как раз оказались вполне либеральными.

Как писал И. И. Генкин в книге «По тюрьмам и этапам», режим в Смоленском центре «представлял собой смесь безалаберности с пережитками настоящей каторги». События происходили накануне созыва II Государственной Думы, «и тюремное начальство с нами, политическими, очень считалось». И Генкин, и Вороницын отмечали, что хотя пища была безобразной (баланда, где «крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой; такие же жидкие, скверно пахнущие щи из кислой капусты с кусочками бычьих ушей и губ; сырой, тяжелый хлеб...»), но разрешалось покупать продукты на свои деньги, а благодаря тому, что жили коммуной, никто не голодал. Свидания давались «всем со всеми». Письма писали тоже без ограничения в количестве и в размерах. Вороницын, например, писал родным чуть ли не ежедневно, и были это не коротенькие весточки, а, как оценит их жанр позднее сам Иван Петрович, «письма-дневники».

Да и общаться между собой сидельцам разных камер было нетрудно. Как писал Генкин, «двери всех камер были у нас не глухие, а решетчатые, так что при выходе и возвращении с прогулки, с оправки и т. п. мы, пользуясь всеобщим попустительством высшего и низшего начальства, беспрепятственно подходили к этим решеткам и невозбранно передавали и получали записки. Более конспиративную почту мы передавали через деревянные вентиляционные трубы, которые поднимались с первого этажа на крышу, и в которые обыкновенно ночью вставлялись вытяжные рукава от парашек. При помощи почти легально водившихся у нас ножей мы до того расширили входные отверстия в эти трубы, что могли свободно передавать из этажа в этаж даже целые пачки книг».

Да и с кандалами научились мириться. Когда после первой ночи, проведенной на новом месте, насквозь промерзшие молодые арестанты принялись бегать, прыгать, возиться, чтобы согреть окоченевшее тело, кандалы начали бешено лязгать. Вороницын писал: «...и надо сознаться в мальчишестве! Это нам нравилось. Такая же музыка исходила из других камер нашего этажа и слышалась снизу. У многих появилась мысль: почему бы не снять кандалы? Ведь рассказывают, что в Сибири каторжники надевают их, как начальство свои мундиры и ордена, лишь в торжественных случаях: к приезду губернатора, прокурора и т. п. А обычно ржавеют они себе в сумке или в изголовье нар. Сказано – сделано!».

С помощью массивных скамеек, появившихся откуда-то поленьев, дверью в отхожем месте толстые ножные кольца сплющивались в овал и затем стягивались через пятку. Но надзиратели, заметив проделки с кандалами, доложили об этом начальству, и был издан приказ перековывать арестантов, у кого они довольно легко снимались,

в более узкие кандалы. И хотя этот приказ не особенно усложнил жизнь арестантов (много ли найдется матросов, вчерашних крестьян и рабочих с тонкими лодыжками?), все же принялись действовать осторожнее и снимать эту напасть только на ночь. Но и это было большим облегчением, ибо спать с холодным железом на ногах, вызывающим ломоту в костях и затрудняющим любое движение, было мучительно.

Однако молодость есть молодость. Как писал Вороницын, «если отвлечься от некоторых неудобств, кандалы доставляли нам в эти первые дни нашей каторги много удовольствия. Начать с того, что каждые кандалы издавали свой особый звон. Доходило даже до завистливого чувства по отношению к тем счастливым, чьи цепи звучали чисто и звонко, были запевалами в этом кандалном хоре». И действительно, под звон кандалов даже пели, поднимая этим себе настроение и воодушевляясь, если звучали революционные мелодии. Конечно, во всех этих байках по поводу кандалов чувствовалось молодое бахвальство.

А. Я. Бруштейн, член «Группы помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы», в книге «Цветы Шлиссельбурга» писала: «Такие люди, как Владимир [В. О. Лихтенштадт, признанный вожак политических] и ближайшие друзья его по заключению – Борис Жадановский, И. П. Вороницын и другие, всегда особо подчеркивали свою внутреннюю, духовную независимость от кандалов». «Решетки, кандалы и прочие жупели, устрашающие трусливых мещан, – писал Владимир, – не имеют к истинной свободе никакого отношения». Конечно, при всей внутренней свободе заключенного кандалы были тягостны. Они затрудняли движения, заставляли осторожно шевелить руками и переступать но-

гами. Не сразу привыкали заключенные и к зловещему лязгу и звону кандалов, волочившихся по полу».

В других своих произведениях Вороницын был реалистичнее. Например, в книге «История одного каторжанина», посвященной Б. Жадановскому, он пишет: «Трудно передать словами то ощущение какой-то особенной легкости, которое испытывает каторжанин, когда с него снимают цепь. Долгие годы цепь эта охватывала его ноги, стесняла движения, давила на поясницу, звенела и днем, и ночью при сколько-нибудь сильном движении. Он с нею свыкся, она как бы вошла в плоть и кровь, стала неотъемлемой частью его тела, без нее он уже не мыслит себя. И вдруг несколько ударов молотком по зубилу – разлетаются толстые заклепки, и он уже не он, а совсем другой. Он движется бесшумно, без лязга и звона, тело приобретает новую гибкость и ловкость, а ноги, странно легкие и свободные, почти чужие, без повиновения и пьяно делают смешные шаги. Ноги помнят кандалы много времени после того, как они сняты. Наяву, но особенно во время сна они часто делают те осторожные движения, которые при кандалах были необходимы, чтобы не вызвать сильного нажима или не причинить боли».

Кандальный срок – мучение, целиком зависящее от произвола начальства тюрьмы. Плюс к этому иногда прибавляется небрежность, а иногда жестокая мстительность тюремщиков, превращающая ношение кандалов в невыносимую пытку. Например, как писал Вороницын, «наручные браслеты (наручники) попадались иногда не круглые, а овальные. Такие не могли вращаться вокруг руки, а впивались в запястье. Это причиняло боль, ранило и уродовало руки. Цепь, сковывавшая наручники, бывала слишком коротка. Это делало невозможным раздельное движение правой и левой рукой, приходилось двигать

ими одновременно». Следует напомнить, что ручные кандалы Вороницын носил более пяти лет, а ножные – до 1915 года.

Но даже не кандалы были самым гнусным из первых впечатлений от Смоленской тюрьмы. Как уже говорилось, самым непереносимым были нестерпимая вонь и повсеместная грязь. Если всё это чувствовалось уже в коридорах, в приемных и им подобных помещениях, то что творилось в камерах, заполненных свыше всех допустимых норм!

Вот как описывал Вороницын население своего пристанища: оно «в первые дни состояло почти исключительно из севастопольцев, и притом гражданских лиц, так как матросов сажали отдельно, но затем к нам стали прибавлять и новую публику. У нас оказались и представители Польши, и кронштадтцы, и киевские саперы. Появились и герои эксов и мелкого террора, именовавшие себя то анархистами, то максималистами. Очутился среди нас и один уголовный (в это время уголовные в общей массе политиков совершенно терялись), но он скоро почувствовал себя у нас не ко двору и перепросился куда-то в другую камеру». Пересматривая собственные письма, написанные из Смоленска (напомним, что книга «Из мрака каторги» была издана в Харькове в 1922 году, еще до высылки в Пермский край, когда архивы автора были в целости-сохранности), Вороницын проследил, как постепенно наполнялась их камера, кубатура которой, согласно табличке над дверью, была равна 18 саженьям. Итак, в первые дни в ней сидело 10 человек. Но уже в письме от 27 декабря он отмечает, что их 12, в письме от 30 декабря эта цифра возросла до 16-ти, а 4 января – до 18-ти.

Но, как писал И. И. Генкин, «бодрости и свежести настроения у всех было еще достаточно, каждый, кто имел



**Узника, приговоренного к пожизненному сроку,
заковывают в кандалы**

даже бессрочную, лишь начинал свою карьеру каторжанина, время было полное радужных перспектив, а начальство своим трусливым и лицемерным гуманизмом только подливало масла в огонь». И Вороницын, и друзья его полагали, что просидят они недолго, что захлестнет Россию новый, на сей раз победный, вал революции и освободит их. Да и в сравнении с тем, что будет твориться в каторжных центрах в последующие годы, в это время (зимой 1906/07 года) в Смоленской тюрьме лишь едва вырисовывалась первая, мягкая «проба пера». Однако почти каждый из смоленских арестантов до перевода в Смоленск сидел в обычных тюрьмах, где жилось еще вольготнее. Понятно, что многое их на новом месте раздражало.

Но вернемся в первый день пребывания севастопольцев в Смоленской тюрьме. Переодетые в отвратительно

грязное белье (о нем речь еще пойдет), Вороницын и товарищи очутились в камере. Глаза у них слипались от усталости. Кое-как, неумело натянули они на рамы коек выданный каждому на руки брезент и улеглись. Далее цитируем Вороницына: «Прошла первая ночь в каторжной тюрьме. Нас кусали изголодавшиеся клопы. Парашка, огромный сосуд без крышки, обдавала нас своим зловонием. Потертые от времени казенные одеяла не спасали нас от холода. Они были узкие и короткие, и тело, соприкасавшееся, несмотря на все усилия обернуться, с брезентом, ломило и ныло. Затекала шея от спанья на непривычных соломенных подушках, плоских, как блины, и твердых. Было еще совсем темно, когда нас разбудил грубый окрик: “Встать на поверку!”. В отворенную дверь вошли тюремщики с дежурным помощником во главе. Мы продолжали лежать, ожидая, что́ будет дальше. Последовал короткий, но энергичный разговор. Нам было сообщено, что по свистку, утром и вечером, мы обязаны построиться в два ряда, в затылок и стоять так, пока нас не пересчитают».

Но главная проблема оставалась в ужасных белье и одежде. Снова предоставим слово Вороницыну: «До сих пор мы носили собственное белье, нижнее и теплое. Казенное бережно хранилось в мешках. При обыске все у нас отобрали. Отобрали также и те казенные вещи: армяки, полушубки, коты и пр., в которых мы прибыли, снабдив нас взамен грязными и заношенными предметами обмундирования. Особенно ужасно было белье. Старая, покрытая заплатами дерюжина, плохо промытая, с подозрительными пятнами, издающая какой-то гнусный запах. Пошито оно было на подростков... У наиболее рослых из нас нижний край рубашки не сходил с поясом кальсон, а рукава не прикрывали локтей... Если бы мы подверглись

этому обыску кучей, или если бы необысканные еще знали, находясь вместе в камере, во что нас одевают, все не обошлось бы так гладко... Не обошлось без мелких стычек, конечно, но в общем, когда мы вновь собрались в отведенных нам камерах и стали делиться впечатлениями, оказалось, что сплеховали почти все».

А вот несколько слов из книги И. Генкина «По тюрьмам и этапам». Помянув отвратительное питание, грязь, массу вшей и клопов, он, как и Вороницын, отмечает, что всех особенно раздражала «необходимость носить старое и грязное, отвратительно выстиранное арестантское белье. От арестантских рубаш и портков, часто вшивых и запачканных подозрительными пятнами, у многих появились прыщи и чирии». Инспектор Крашинский и начальник Вихорев делали вид, что сочувствуют арестантам. Сами, мол, не понимают, почему заключенным не позволено носить белье собственное, которое зря валяется тут же, в цейхгаузе. Они советовали писать жалобу в Главное тюремное управление, которую они непременно поддержат, а заодно попросить денег на ремонт бани и прачечной, которые никуда не годятся. Кое-кто предлагал вызвать начальника и потребовать, чтобы всем вернули собственное белье. Но благоразумное большинство решило подождать, осмотреться, познакомиться с населением тюрьмы и тогда уже «затянуть волынку».

Потекли каторжные будни. Камеры перетасовали «по разрядам». В одних поместили бессрочников и тех, кому предстояло сидеть не менее двадцати лет, в других – срочных до пятнадцати лет, в третьих – малосрочных. Вороницын очутился в одной камере с Борисом Жадановским, Николаем Конторовичем, Иосифом Генкиным и им подобными, то есть с самыми активными, самыми непримиримыми. Но познакомились, общались и с сидельцами дру-

гих камер. Обсуждали отношение к администрации, возможные формы борьбы с нею, обдумывали требования, которые вскоре собирались ей предъявить... В первые же дни выявились вожаки, выступавшие перед тюремщиками от имени заключенных, образовалось ядро (вскоре его назовут «бюро»), которое будет руководить общим протестом.

Во время этого подготовительного периода Вороницын тесно сошелся с Борисом Жадановским, человеком необычайной чистоты, цельности, благородства. Он станет для Вороницына идеалом человека, гражданина, революционера. Очень слабый здоровьем, тщедушный с виду, Борис был несокрушим духом, любил людей, умел с каждым найти общий язык. Его тоже любили (или, по крайней мере, уважали) все окружающие, каких бы взглядов они ни придерживались. Даже самые злобные тюремщики пасовали перед ним.

Вороницын позднее много писал о Жадановском. В 1926 году в Госиздате выйдет довольно обширная его книга «История одного каторжанина», целиком посвященная Борису Петровичу. Много страниц уделит он ему и в уже цитируемых мемуарах «Из мрака каторги». В частности, он пишет: «Меня всегда поражала в Борисе Петровиче его твердость и стойкость в раз принятых решениях. Волевой момент в его психике преобладал. В щуплом, маленьком и неразвившемся теле жила огромная стальная душа. Он не был способен кривить душой и политиканствовать ни с товарищами по каторге, ни с начальством. На его аскетическом лице, подвижном и выразительном, приязнь и неприязнь выражались ясно и резко. И редко кто пользовался у нас такой общей, почти без исключений любовью и таким бережно-внимательным отношением, как он.



Б. П. Жадановский. 1905 г.

Начальство его ненавидело. Но в то же время оно испытывало по отношению к нему и чувство удивления, доходившее порой до восхищения. Особенно сильно это проявлялось у надзирателей, грубый язык которых никогда не поворачивался сказать ему обычное “ты”, даже в те времена, когда иначе как на “ты” им было формально запрещено говорить с каторжными. Вспоминается, как в один из мрачных периодов в на-

шей Шлиссельбургской жизни [Вороницын разделит с Жадановским “гостеприимство” не только Смоленского централа] грубая и злая скотина, помощник Талалаев, набросился на Жадановского, вечного застрельщика во всех протестах:

– Так ты не хочешь подчиняться! Да я тебя одной рукой, мозгляк, раздавлю. – И негодяй поднял огромную действительно руку над маленькой беззащитной фигурой.

– Нашел чем хвастаться, дурак, – своим жиром, – холодно отпарировал Борис Петрович, презрительно искривив губы и глядя снизу вверх прямо в глаза тюремщику. И перед этим презрением и этим бесстрашием поднятая рука бессильно опустилась».

Борис Петрович Жадановский (1885–1918) происходил из военной дворянской семьи. Окончил Полтавский кадетский корпус, Санкт-Петербургское Николаевское военно-инженерное училище. В училище увлекся социал-демократическими идеями. И когда вскоре после окончания учебы оказался на службе в Киеве (в чине подпоручика), установил связь с военной организацией РСДРП

и примкнул к восстанию саперов, 18 ноября 1905 года возглавил их демонстрацию, встреченную пулями проправительственных войск. Когда под градом пуль саперы рассеялись, он один остался стоять – маленькая фигурка в офицерской форме. Вороницын писал: «Командир усмирителей дал команду: “Рота, по офицеру...”. Из всей сотни рук только одна пара не дрогнула. Только одна пуля попала в грудь Жадановского, пронизав легкое. Считая его убитым, палачи прошли дальше. Друзья подобрали его и скрывали в течение месяцев...».

И все-таки его задержали. Затем был суд, приговоривший его к расстрелу, замененному вечной каторгой. Неудачный побег. Ночью выпрыгнул на полном ходу из поезда, везшего его в Смоленск. А ведь был в кандалах. И окна зарешечены. И стражники дремали рядом... Предал его, страшно пострадавшего при падении из окна поезда, казалось бы душевно приютивший человек. Так и очутился Жадановский рядом с Вороницыным в Смоленской тюрьме. И в тюрьме он не смирился даже на короткий момент, даже после долгого карцера. Не зная, что с ним делать, начальство шлет доклад в Главное тюремное управление о его неисправимости. Оттуда приходит распоряжение: наказать Жадановского 100 ударами розог. Но даже тюремный врач (один из самых сквернейших врачей, как характеризовал его Вороницын) отказывается дозволить сие, ибо это равносильно убийству. И экзекуцию заменяют 30-суточным темным карцером.

Вороницын писал: «Человек с одним только действующим легким, и к тому же слабым легким, с острым малокровием, человек, о каких обычно говорят: в чем только душа держится, – Жадановский, благодаря своей сильной душе, вышел из раскрытой революцией тюрьмы таким же стойким революционером, каким вошел в нее. Тюрьма,

холодная мертвая тюрьма выпустила свою жертву. Но революция, с мыслью о которой он жил в тюрьме, сожгла его в своих раскаленных объятиях... Те немногие товарищи, с которыми удалось мне связаться в 1917 году, с тревогой сообщали о том, как тяжело переживал Жадановский бурные этапы революции. У него обострился легочный процесс, и он лечился в Крыму. Как-то не вязалась с его образом пошлая и простая смерть от чахотки. А она уже вплотную стояла за его спиной. Но наступила весна 1918 года. На Крым надвигалась контрреволюция в образе объединенных немецких и “гайдамакских” войск, поддержанных местными татарскими и русскими белогвардейцами.

Жадановский не смог оставаться посторонним зрителем. Он участвует в организации так называемого «социалистического отряда» и принимает на себя командование им. Эта горсточка храбрецов из 150 человек пытается сдержать удар огромных неприятельских сил. Но до разгрома отряда Жадановский не дожил – 29 апреля он был убит осколком снаряда в самый разгар боя.

Однако вернемся к назревавшему в Смоленском центре протесту. Позднее постоянно будут наши арестанты ностальгировать по смоленской вольнице, ибо в других тюрьмах попадут в такой ад, что первая встреча с каторгой покажется им сущим раем. Вороницын вспоминал, что не было «никакого каторжного “прижима”». Они нарушали самые элементарные тюремные правила без всяких репрессий со стороны администрации. Иван Петрович писал: «Нас только уговаривали не петь революционных песен, становиться на поверку и т. д. Вызывая наиболее влиятельных каторжан в контору, начальник тюрьмы и инспектор чуть не плакали. “Подумайте, – говорили они. – Ведь это же тюрьма. Это какая-то гостиница. Каждый делает, что он хочет. Надзирателям грубят, при

входе начальства в камеру не встают, валяются на койках. Кандалы снимают. Ну, пусть бы хоть на ночь только. А то ведь днем разгуливают по коридору и на прогулке без кандалов. А пение революционных песен!.. Меня отдадут под суд за то, что я распустил тюрьму. Я обязан вас наказывать. Я имею право сажать вас в карцер. Вы – лишенные прав. Смотрите! Читайте! До ста ударов розгами»».

Сидельцы, в свою очередь, переходили в наступление. Цитируем Вороницына: «Наши требования представляли собой такой огромный перечень, что скоро начальство не выдерживало и, прерывая перечисление, начинало осаживать. Тут были и посулы все устроить в скором времени, и ссылки на то, что, мол, это зависит от Тюремного управления, куда уже сообщены наши требования, и даже подкупы. Так, в один прекрасный день, без всякой просьбы с нашей стороны, были раскованы Жадановский, Конторович, я и еще некоторые другие, которых начальство имело основание считать “закоперщиками” всей волынки. Мы же требовали, чтобы вообще кандалы были сняты. Но самым болезненным, самым насущным вопросом у нас был вопрос о белье и одежде. Я говорил уже о том, какое белье пришлось нам одеть в вечер приезда. Одежда тоже была не лучше. Грязная, заношенная, скроенная на подростков, а не на взрослых людей. Она издавала специфический запах грязного тела и тюремного цейхгауза, мы требовали права носить свое белье и ходить в своей одежде».

Подобные разговоры продолжались бесконечно и всех утомили. Решили, что пора действовать. Возникла дискуссия о формах борьбы. Предлагалась пассивная голодовка, но большинство было против: средство слишком сильное, если отнестись к нему серьезно. Предлагали и активный бунт с битьем дверей и окон, неподчинением начальству. Но даже те, кто предлагал этот путь, понимали, что игра

не стоит свеч: введут военную силу, часть арестантов перестреляют, избыют, разведут по разным тюрьмам. Кто-то высказал мысль о «голом бунте». Эту идею встретили с энтузиазмом. Когда начали продумывать детали, стены тюрьмы сотрясались от молодого смеха.

И вот 21 декабря, когда в тюрьме уже было около 500 человек, начался «голый бунт». Обратимся к книге Вороницына: «Когда утром у нас отворилась дверь на поверку, входившее начальство в удивлении и ужасе отшатнулось. В камере перед дверью лежала огромная куча белья и одежды. В полумраке зимнего утра среди клубов табачного дыма и испарений двигались фантастические фигуры: кто был совсем голым, кто задрапировался в коечный брезент, кто наподобие мумии забинтовался в узкое одеяло... У некоторых чресла были перепоясаны, но многие бесстыдно выставляли напоказ свою срамоту.

– Что это? Что с вами? Что случилось? – в испуге из коридора крикнул дежурный помощник. Стоявшие за ним надзиратели еле удерживались от хохота. Коротко и ясно мы объяснили.

– Но я же должен вас пересчитать. Когда вы в таком виде, я не могу войти в камеру. Это неприлично...».

Последовал ответ «в духе морской словесности». Помощник ретировался. Сильными ударами ног вслед ему из камеры выкинули белье. Посыпались обещания и угрозы: что дадут белье чистое, выстиранное (но нового нет), что позволят самим в цейхгаузе выбирать подходящее, что отключат отопление и обнаженные арестанты простудятся... На подобную угрозу последовала своя: мол, только попробуйте, мы все столы и лавки пожжем, всю тюрьму спалим. Подействовало. К батареям парового отопления подойти нельзя было ни днем, ни ночью – так топили.

Заклученные выбрали такую форму бунта, что у начальства руки оказались связанными, положение – почти безвыходным: каторжане никаких законов не нарушают. Где прописано, что в камере нельзя находиться голым? В одном из своих писем-дневников Вороницын писал: «Мы и стремились именно к тому, чтобы таким пассивным, законным, так сказать, нарушением всякого порядка и всего строя тюремных отношений поставить начальство в положение безвыходности. Конечно, с тюремщицкой точки зрения, такое состояние долго продолжаться не могло. Голый бунт потому и оказался таким сильным орудием, что он вырывал у начальства всякий повод, всякий предлог для применения физической репрессии. Насильно белья не наденешь, а наденешь, так снова снять его нетрудно». Чтобы не дать начальству повода к каким-либо санкциям, арестанты уступали ему в некоторых требованиях. Например, не без удовольствия строились «во фронт», когда оно приходило с ними беседовать. А оно приходило. Вслед за помощниками явился сам начальник тюрьмы с тщательно расчесанной пышной бородой, в новом, с иголки мундире, сильно надушенный. Вороницын так передавал его речь:

«– Я вас не понимаю, господа. Ведь вам было обещано удовлетворение всех ваших требований... т. е. пожеланий, так как требовать вы, как лишенные прав, не можете. Да, да, да... Я знаю: вы лишены имущественных и сословных прав, а не человеческих. Не беспокойтесь: я сам юрист и культурный человек... Я понимаю, что минимальные требования культурного существования вам должны быть гарантированы. Но... в пределах разрешаемого тюремной инструкцией. И к удовлетворению ваших законных требований все меры мною принимаются. Однако

пойдите и вы мне навстречу и оставьте эту свою смешную и, простите, дикую затею...».

А ведь, кажется, так легко было решить все усугубляющийся конфликт. Ну, нет нового белья, да еще подходящего по размерам; ну, существуют проблемы со стиркой – пусть каторжники ходят в своем. И стиркой сами занимаются. И одежду носят, в которой приехали. Даже в сибирских тюрьмах подобное не возбранилось. Что уж говорить о тюрьмах Европы! Вороницын и компания приводили множество подобных примеров, но начальство не отступало от собственных догм. Послало одного из своих представителей в Петербург, в Главное тюремное управление, за поддержкой, чтобы он там разъяснил весь «ужас» создавшегося положения. В конце декабря 1906 года оттуда пришла официальная бумага: бунтарям отказать во всех требованиях. Бумага была зачитана протестующим с соответствующими комментариями и выводами. Один из помощников начальника тюрьмы privately сообщил сидельцам, что решено убрать из Смоленска всех севастопольцев. Мол, именно от них исходит все зло.

«А мы еще подлили масла в огонь», – писали Вороницын, Генкин и другие. Они решили отметить печальную годовщину Кровавого воскресенья – 9 января, когда в Петербурге была расстреляна мирная демонстрация рабочих и их семей, идущих с петицией к царю с мольбой о помощи.

В столице с 1904 года действовала легальная организация «Собрание русских фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга», создателем и руководителем которой был священник Георгий Аполлонович Гапон (1870–1906), личность явно незаурядная, яркая и очень-очень спорная. Мифы о том, что был он провокатором, агентом охранки, развеяны в наши дни, кажется, окончательно.

Хотя и революционером не был, ни к одной партии не принадлежал. Очень недолго (в мае 1905 года) входил в партию эсеров, но быстро с ней расстался. Действовал сам по себе, никаких соперников рядом не терпел, считая себя единственным истинным вождем рабочих, которые его обожали.

Выходец из крестьян, окончивший духовные училище, семинарию и академию, он был совершенно необразован как политик, но безумно, неистово честолюбив. Не смогли его приручить ни царские министры, ни Г. В. Плеханов во время недолгой эмиграции Гапона в Женеву после ужаса Кровавого воскресенья, ни эсеры, ни большевики... Хотя все ценили его как блестящего агитатора, умевшего в считанные минуты переориентировать любую толпу и повести за собой. В. И. Ленин, не раз лично встречавшийся с Гапоном, на III съезде партии характеризовал его как «человека, безусловно преданного революции, инициативного и умного, хотя, к сожалению, без выдержанного революционного миросозерцания». Не умея в приватной беседе связать и двух слов, перед большой аудиторией Гапон преобразался, становился оратором прямо-таки блестящим. Рабочие готовы были идти за ним хоть на край света, ибо говорил он их языком и об их проблемах. Гапон мучился комплексом Наполеона и втайне мечтал стать вождем всероссийским, возможно, даже потеснив на троне Николая II.

Гапону пришла в голову идея – составить подробную петицию на имя самого императора, в которой перечислить многочисленные требования рабочих, причем не только экономические, но и политические (например, о созыве Учредительного собрания). Петицию составил он сам, а подписали примерно двести тысяч человек. Решили стройными колоннами из разных районов Петер-

бурга двинуться к Зимнему дворцу, чтобы лично вручить ее императору. Кто же предполагал, что император, зная о предстоящей демонстрации, но опасаясь за свою жизнь, отсидится в Царском Селе? А ему еще так верили, так любили его, так надеялись на царскую милость!

Гапон предупредил демонстрантов, чтобы вели себя мирно, по-божески, никакого оружия, даже перочинных ножииков с собой не брали. 140 тысяч демонстрантов двинулись к Зимнему дворцу. Впереди шел Гапон. Рядом с ним рабочий нес портрет царя (портрет не спасет: рабочий будет убит). С рабочими шли их жены и дети. Несли иконы, хоругви... И вдруг мирная демонстрация была атакована кавалерией, стреляли пехотинцы. Началась паника. На земле лежали убитые и тяжелораненые... Сколько демонстрантов и случайных прохожих пострадало в тот день – точно не известно до сих пор. По официальным данным, убито 200 человек, ранено около 800; по неофициальным – убитых и раненых было 4500. А сколько таких, кто, боясь ареста, за медицинской помощью не обращались? Есть источники, которые сообщают про 20 000 жертв. Именно расстрел этой мирной демонстрации стал началом Первой русской революции.

Вот эту печальную дату и решили отметить каторжане Смоленской тюрьмы. Предварительно собрали черные и красные ленты, обрезки бумаги, лоскутки, будь это части оставшейся одежды, обертки чая, книжные обложки, закладки и тому подобное. В день 9 января черные и красные флаги были вывешены из окон, появились на решетках дверей. Арестанты, заманив через форточки голубей, привязывали к их лапкам красную бумагу, ленты, просто записки и выпускали их на волю. По свидетельству Генкина, в день 9 января вышел первый номер тюремного журнала – довольно объемистая тетрадь с самыми разно-

образными материалами. Здесь были и статьи, и стихи, и рисунки. Произносились речи. Тюрьма, кажется, шаталась от громкого пения революционных песен. Появление начальства встречали «Марсельезой», и оно «постыдно удирало» (по словам Вороницына). А вслед ему неслись крики: «Долой палачей! Смерть тюремщикам!».

Данное «мероприятие» окончательно развязало руки начальству. 11 января 1907 года под вечер Вороницыну и компании сообщили, что по распоряжению Главного тюремного управления несколько человек переводятся из Смоленска в другую тюрьму.

- В какую тюрьму?
- Ничего не известно.
- Когда именно?
- Вам сообщат.

Решили не сопротивляться, не возражать. Ехать куда повезут. Вороницын писал: «Поэтому, когда нас по одному стали вызывать в контору, мы без всяких разговоров собирали вещи, накидывали на себя сохранившееся для всяких выходов верхнее платье и, попрощавшись с товарищами, выходили в контору. Вывозили в качестве зачинщиков семь человек». Это были: Николай Конторович, Иосиф Генкин, Борис Жадановский, Захарий Циома, Яков Киршенштейн – солдат Брестского полка, одесский анархист Лев Гершкович и Иван Вороницын. В конторе их тщательно обыскали, заковали в новенькие кандалы. Начальник тюрьмы и инспектор Крашинский, присутствовавшие при отправке, с заметной иронией пожелали, чтобы в новой тюрьме бунтарям жилось не хуже, чем под их крылышком. И компания отправилась под весьма основательным конвоем в путь.

Несколько подробнее описал сей «торжественный» отъезд И. И. Генкин в своих мемуарах «По тюрьмам и эта-

пам»: «Второпях нас почти не обыскивали. С особым удовольствием и демонстративными подчеркиваниями мы напялили на себя наше собственное белье, принесенное из цейхгауза... Когда мы, сопровождаемые чуть ли не 30 конвойными, выходили из ворот тюрьмы, в некоторых камерах 2 и 3 этажей, выходящих на улицу, раскрылись окна и из них полетели целые снопы горящей бумаги: это устроили иллюминацию в честь нашей отправки... В специальном вагоне, вне всякой очереди, с соблюдением строжайшей конспирации, не говоря никому, куда нас везут, доставили нас поздней ночью в Петербург. На вокзале нас уже ожидали специальные арестантские кареты. На каждого из нас приходилось по три конвойных».

Надо сказать, что Иосиф Исаевич во всех своих сочинениях любил подчеркнуть, а, скорее всего, и приукрасить значительность арестованных; опасность, которую они могли для окружающих представить, а потому и многократно приумножал бдительность охраны. Вороницын же писал, что давно уже все знали или, по крайней мере, догадывались, что конечным пунктом их путешествия станет Шлиссельбургская крепость. После многих лет мрачной славы жестокой государственной темницы под напором революции 1905 года ворота крепости распахнулись, и как государственная темница она перестала существовать. Начались азартные споры, что делать с крепостью дальше: превратить ли ее в музей-реликвию славного прошлого нескольких поколений революционеров, стереть ли с лица земли, устроить ли там острог для уголовников... Последнее возмущало общественность больше всего! На святом острове, где десятилетиями звучали стоны гибнущих борцов за народное счастье, устроить свалочное место для отребьев общества! Но революция потерпела поражение... Из газет, случайно попавших в руки

арестантов еще в Смоленске, им стало известно, что находившаяся ранее в распоряжении Департамента полиции Шлиссельбургская крепость передавалась в тюремное ведомство и была переименована в Шлиссельбургскую каторжную тюрьму. О том, что главарей «голового бунта» переведут, возможно, туда, сообщали его участникам некоторые из петербургских родственников. Конвой, естественно, молчал. Но на вокзале проходивший мимо тюремный священник, сочувствующий арестантам и вышедший их проводить, шепнул, что их, кажется, отправляют в Шлиссельбургскую крепость. Поезд мчался в полной темноте, и определить, куда действительно везут Вороницына и его товарищей, было невозможно. Но ближе к Петербургу, когда рассвело, сомнения рассеялись. Стало ясно, что старая «Бастилия» возрождается и готова принять новых постояльцев.

Мы выше сообщали, как описал прибытие в Петербург вожakov «голового бунта» Генкин. А вот как поведал о том же Вороницын: «На вокзале в Петербурге к нашему приезду уже была приготовлена встреча: казаки, кареты-автомобили. Мы переночевали в подвальном этаже “Крестов” в светлых карцерах. Утром меня посетил помощник начальника Святловский, с которым у меня, в бытность его начальником сева­сто­польской тюрьмы, были хорошие отношения. Как-то пугливо озираясь, точно боясь произнести самое имя страшной крепости, сказал он, что нас переводят в Шлиссельбург, но “это секрет”. Я, конечно, обещал ему хранить свято эту великую тайну.

Наши кандалы еще раз осмотрели. Мои показались чересчур уж вольными, хотя все попытки стянуть их с ног оказались тщетными. Тем не менее, был приглашен кузнец, который долго совещался с начальством, какие кандалы будут подходящими из немалого ассортимента при-

несенных им с собой. Выбрали они кандалы старого типа, восьмифунтовые, с массивными браслетами. Долго длилась церемония расковки и заковки. Когда раздались первые удары молота по зубилу, кто-то застучал в дверь одного из карцеров и чей-то хриплый голос крикнул:

– Кого заковывают? Товарищ, кто вы, откуда и куда вас везут?

Мне удалось узнать впоследствии, что неведомый собрат ухитрился передать мое сообщение дальше, и, благодаря ему, на тех же днях в газетах появилось сообщение о нашем проезде. Нам выдали по двухфунтовой пайке хлеба и по куску вареного мяса. Тем же порядком и с теми же церемониями, что и при приезде, доставлены были мы на вокзал Ириновской узкоколейной жел. дороги, и скоро пронзительный свисток “кукушки” возвестил, что начинается наш последний этап».

А вот как этот «последний этап» описал Генкин: после ночевки в подвальных карцерах «рано утром, в таких же каретах-конурках, как и накануне, всё с такими же таинственными предосторожностями, закованные не только в ножные, но и в ручные кандалы, да еще скованные за руки по два человека вместе, мы были доставлены на какой-то вокзальчик... К вечеру мы очутились у какого-то замерзшего озера. Была вьюга. Снежная пыль била нам в лицо, залепляя глаза и уши. Полузамёрзшие, в развевающихся от ветра арестантских халатах, звонко позвякивая кандалами, часто спотыкаясь, падая и увлекая за собой прикованного товарища, понукаемые руганью конвойных, с обнаженными шашками сопровождавших наш маленький кортеж, прошли мы версты полторы по льду озера».

Простим Генкину обнаженные шашки и скованных по двое арестантов: может быть, так и было. Только Ворони-

цын почему-то не упоминает столь эффектные подробности. Он описывает медленный проезд по узкоколейке, дает топографическое описание проплывающей за окном местности, поясняемое Жадановским, который совсем недавно проходил в этих местах практику, мелькающие «микроскопические» станции, какого-то рабочего на одной из них, приветливо-жалостливо смотрящего им вслед, неожиданное дружелюбие конвойных в пути... Один, например, открыто сочувствуя арестантам, даже взял у них несколько открыток, чтобы послать родным. Но вот поезд остановился. Конвойные сразу подтянулись. Забыты откровенные разговоры, всякое либеральничанье. Звучит команда: «Выходи! Стать по двое! Марш!». Никакого упоминания об обнаженных шашках, о скованных парами. Зато как подробно описал Вороницын свое первое, щемящее душу впечатление от встречи с крепостью, в которой придется провести ему изрядное число лет! Приведем его полностью.

«Мы медленно спускаемся на лед и поворачиваемся лицом к безбрежной Ладоге. Снег, снег и снег без конца и края. Черный и мрачный лес остался за нами. Глаза беспокойно ищут. – Где же она? Где крепость? – Вот... Вот она. – И руки протягиваются, показывают что-то, гораздо ближе, чем почему-то казалось сначала. На беспредельном снеговом фоне, стеной поднимающемся вдаль, маленькое сероватое пятно.

– Это крепость?

Наши взоры обращаются к конвойному офицеру. Он утвердительно кивает головой. И только по мере того, как мы приближаемся, из этой серой неопределенной массы начинают вырисовываться очертания. Колокольня, труба электрической станции, башни, валы... И прежнее впечатление чего-то плоского, незначительного исчезает,

уступает место новому. Вырастает мощная громада валов, стен и башен, громоздится все выше, и, наконец, она над нашими головами, страшная и неприступная. Со льда мы переходим на территорию крепости... Нам не дают остановиться, перевести дух после подъема. Нас торопят: "Скорей, скорей!". Вот она – эта башня-ворота. Над ее широкой пастью двухглавый орел и надпись: "Государева". Буквы вылинявшие и неотчетливые. Потом тюремные мастера ее обновили, и своим ярким золотом на старой стене она резала глаз, как румяна на щеках старухи. Перед тем как ступить под ее мрачные своды, что-то невольно тянет оглянуться назад, на этот простор, на эту "волю". Душу охватывала жуть, и сердце тоскливо сжималось. Иллюзий уже у нас не оставалось. Надежда на близкое торжество революции и, следовательно, на скорое освобождение, если не угасала совсем, то лишь едва теплилась. Все говорило за то, что из этих стен нам скоро не выйти».

Это было 13 января 1907 года.

А как же «голый бунт»? Чем закончился он, и узнали ли наши, теперь уже шлиссельбургские узники о его последствиях?

Вороницын и компания были едва ли не из самых первых, кто поселился в крепости после недолгого ее «отдыха» от заключенных. После амнистии 1905 года, освободившей из ее казематов старых народовольцев и молодых социал-революционеров, ее камеры вновь стали заполняться. Публика поступала из разных городов и самая разношерстная. Были и серьезные политические, были и люди случайные. Вскоре после возрождения «Бастилии» одна за другой прибыли две партии заключенных из Смоленска, в большинстве своем – севастопольцы: Мазин, Клименко, Барышев, Дорофеев, Симоненко и другие.

От старых друзей и соучастников и узнали руководители «голового бунта», как и чем он закончился.

После высылки Жадановского, Вороницына и их ближайших товарищей начальство Смоленской тюрьмы убедилось, что и без главарей массы сдаваться не собираются. Главное тюремное управление обвинило администрацию в неспособности навести порядок и командировало в Смоленск подполковника П. И. Черлениовского, широко известного в каторжном мире под кличкой Петрушка. Впоследствии он печально прославится как начальник Псковского централа, где пробудет с 1908 по 1912 год. Этого маленького плешивого усача вспоминали в своих мемуарах почти все сидевшие в Псковском центре революционеры, ибо был он истинным «поэтом розги» – сек своих подопечных за всё: не принял на Пасху яйцо, записал в тетрадь невинное стихотворение, сорвал с клумбы цветок (сколько лепестков – столько ударов). А по окончании экзекуции провинившегося еще ожидали 15 суток карцера.

Ранее, в Смоленске, Петрушка был весьма решительным, но еще не таким смелым, как в Пскове. Не чувствовал еще себя хозяином положения. Прибыв в Смоленск, он начал с угроз. Решительно входил в камеры, топал ногами, кричал, ругался, но, встречая должный отпор, мячиком вылетал в коридор. Решил ввести в камеры солдат. Тоже не помогло. Сажал без меры в карцеры – и тут успеха не добился. Вернулся к методу, уже частично опробованному – высылке самых непокорных в другие тюрьмы: в Шлиссельбург, во Владимир, в Москву, в Сибирь... А на место убывших поступали новые заключенные – менее боевые, более склонные идти на уступки. Тем более что получили новое белье и одежду. И «голый бунт» затих самым естественным образом. Этот успех Петрушка приписал себе. В Управлении его оценили,

и карьера Черлениовского пошла в гору. Стал полковником, начальником Псковского централа. Встречая непокорные партии политических, поступавших в его руки в Пскове, не упускал случая похвастать: «Я в Смоленске “голый бунт” усмирал, а с вами и подавно справлюсь».

Когда после особо жестокой экзекуции, сведения о которой просочились в прессу, Петрушку вынуждены были снять с насиженного места и перевести в Кострому, он был так убит «несправедливостью», что через год скончался.

А жизнь Вороницына и его друзей после Смоленска пошла в Шлиссельбургской крепости своим арестантским чередом.

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ

Знаменитый русский революционер-народник, публицист, историк, этнограф А. С. Пругавин (1850–1920), посвятивший Шлиссельбургской крепости несколько работ, выделял в ее истории три периода. Первый – с момента завоевания крепости и до постройки так называемой Старой тюрьмы. Второй заканчивался 1884 годом, когда возвели Новую тюрьму, предназначенную для народовольцев. Третий период завершался 1905 годом, когда под напором революции ворота «государевой темницы» распахнулись, как думал Пругавин и ему подобные, навсегда. Выше уже упоминалось, как посыпались предложения о превращении недавнего острога в нечто культурно ценное. Но прошло всего несколько месяцев. Первая русская революция потерпела поражение. И Шлиссельбургская крепость снова стала тюрьмой, причем каторжной. В 1907 году она получила наименование «Шлиссельбургский каторжный централ», больше которого по числу заключенных станет со временем лишь Александровский централ близ Иркутска.

Вороницын и его товарищи и тут были одними из первых – одними из первых политических, вновь появившихся под мрачными сводами страшного заведения. Вот как рассказывает об их водворении сюда сам Вороницын: «Дико и гулко звучит под сводами лязг наших цепей. Мы сближаем ноги, чтобы еще сильнее гремели они. Это наш привет старой Бастилии. Под теми же сводами мы поворачиваем направо. Стало светлее, и перед нами открыва-

ется внутренний вид крепости. Окруженный голыми деревьями собор – старинного типа церковка. Вокруг нее какие-то могильные памятники. Могилы палачей – “иродов”, терзавших отданных во власть им беззащитных людей. Направо белые двухэтажные здания. В одно из этих зданий нас вводят, сдают, принимают. Надзиратели частью в обычной тюремной форме, частью в шинелях военного образца. Это оставшиеся от прежнего периода жандармы, пожелавшие продолжать свою службу в тюремном ведомстве...».

И Вороницын, и Генкин, и другие свидетели первых дней «возрождения» крепости отмечали некоторую неуверенность обслуживающего персонала, который еще не понял случившихся изменений, не нашел надлежащего тона в общении со вчерашними участниками революции. Не сразу нашел этот тон и начальник крепости В. И. Зимберг. Он явился минут через пятнадцать после того, как ввели смоленских арестантов в приемную. И выглядел столь невзрачно, что каторжане поначалу приняли его за какого-то младшего помощника: лет 35-ти, небольшого роста, коренастый, белобрысенький, с маленькими глазками, весьма небрежно одетый. Вездесущий Генкин заметил и изрядно потертый синий сюртук, и засаленную форменную фуражку, и залатанные сапоги. Не случайно вскоре заключенные дадут Зимбергу кличку Чухна, имея в виду и его внешний вид, и национальность. Вороницын в мемуарах «Из мрака каторги» больше стремился показать психологическую сущность нового вершителя их судеб. А чтобы эта сущность была понятнее, приведем довольно обширную цитату из этих мемуаров.

Итак, перед ожидавшими появляется сам Зимберг. «На лице его написано сознание своей важности и значения.



Город Шлиссельбург. Открытка 1911 г.

Он легким кивком головы здоровается с нами... Видно, что он напускает на себя эту важность, не привык еще. Он был помощником начальника в петербургской “предварилловке”, где согласно духу времени либеральничал с заключенными политическими и “прижимал” уголовных. Роль начальника каторжной тюрьмы ему внове. В разговоре с нами он на первый раз выдерживает роль до конца. Познакомившись с нашими “формулярами” и создав по ним определенное представление о нас, он перешел к вопросу о нашем содержании. Говорил он с заметным, как мы решили тогда, немецким акцентом.

– Здесь не Смоленск, а Шлиссельбург. Вы должны это помнить. Вы – лишенные прав каторжные, и этим определяется режим и отношение к вам...

– Но вы должны помнить, г. начальник, что мы политические.

– Этого я помнить не должен. Каторжные не разделяются на политических и уголовных. Инструкция обязыва-

ет меня применять к вам в случае дурного поведения даже розги, и я буду строго держаться инструкции.

– Мы не допустим применения к нам розог... Мы найдем способы бороться и протестовать.

– Здесь ваши протесты услышат только стены и невидимые волны! Если вы будете исполнять инструкцию, которую я вам потом передам, вы можете рассчитывать на смягчение вашего положения. Самое главное, чего я требую от вас, это послушания, вежливого обращения с надзирателями, потому что они ваше начальство.

– Мы культурные люди и вежливы со всеми. Но если нас будут оскорблять...

– Вас никто не будет оскорблять...

– ...Если с нами будут обращаться на “ты”, мы тоже будем “тыкать”.

– Не имеете права. За это я буду наказывать. Надзиратели обязаны к вам обращаться на “ты”. Я буду их наказывать, если они этого не будут исполнять...»

Позднее обнаружится, что импровизатором, к тому же наделенным воображением, Зимберг никогда не был. А потому к каждой вновь прибывшей партии он обращался с одинаковой речью и ответы на обращенные к нему вопросы давал, словно под копирку. Да и где, когда было ему постигать искусство словесности? По национальности Зимберг был не немцем, а эстонцем, хотя поначалу всех старался убедить в том, что он чистокровный тевтон. Постоянно пересыпал свою речь немецкими словечками, любил поговорить о немецкой литературе, пока не испортились отношения с Германией, назывался Вильгельмом Гансовичем, затем разом «обрусел», превратившись в Василия Ивановича.

Молодой ученый М. В. Лаврентьев в диссертации «Пенитенциарная система России (кон. XIX – нач. XX вв.)

и Шлиссельбургская политическая тюрьма» дал довольно подробную его биографию. Поскольку Зимберг окажется первым и единственным начальником Шлиссельбургской крепости как каторжного централа, и нашим героям – Вороницыну и его друзьям – придется долгие годы находиться под его начальственным оком и во многом от него зависеть, расскажем о нем, опираясь на труд Лаврентьева и других авторов, несколько подробнее.

Сын эстонского крестьянина, Зимберг родился 14 ноября 1870 года. В 1888 году окончил Ревельское городское училище. Начинал работу писарем в канцелярии губернатора Эстляндии. Отличался исполнительностью, угодливостью, способностью «без мыла пролезть везде и всюду», а потому стал быстро карабкаться по служебной лестнице, не имея должного образования, материальной поддержки, необходимых связей... Зимберг избрал стезю тюремного надзирателя, ибо это давало ему некоторые преимущества перед службой военной или гражданской. В 1894 году он уже помощник начальника Ревельской следственной тюрьмы, а с 1899 года исполняет должность ее начальника. Но хотелось повыше, хотелось в Петербург. И когда в столицу перевели благосклонно относившегося к Зимбергу его начальника барона Мирбаха, тот взял его с собой и устроил помощником второго разряда Петербургской одиночной тюрьмы – знаменитых «Крестов».

С 1 июля 1903 года по 30 июля 1906 года Вильгельм Гансович уже исполняет должность начальника Санкт-Петербургского Дома предварительного заключения, а с 25 октября 1906 года он – начальник Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Добивается перевода сюда с собой почти всех своих бывших подчиненных. Среди них помощник начальника тюрьмы Гудима, эстонские надзиратели и даже эстонский военный караул. На короткое

время был командирован в Архангельск, затем вернулся в Шлиссельбург и оставался тут до 4 мая 1917 года, когда его уволили «по болезни». Был награжден царским правительством рядом орденов.

Один из политкаторжан, И. С. Мельников, дал Зимбергу такую характеристику: «Это был карьерист, наделенный замечательным нюхом. Ему не нужно было давать свыше буквальных, точно регламентированных указаний. Своим чутьем он сам улавливал, что именно в данное время будет угодно его хозяевам». В Шлиссельбурге он оказался на месте, ибо умел соблюдать равновесие. Вороницын писал: «Мелкими поблажками удерживая заключенных от слишком громких историй, он допускал только такие протесты и выступления, которые выгодно в глазах высшего начальства оттеняли его распорядительность. Но он умел и жать нас так, как другому самодуру-тюремщику не удавалось. Из исполняющего должность начальника он через несколько лет стал начальником, оброс жирком и чинами, выгодно во всех отношениях женился, побывал в заграничной командировке и собирался уже шагнуть в тюремные инспекторы, когда революция положила конец росту его величия».

После беседы с Зимбергом прибывших повели в цейхауз. Там у них отобрали бывшее на них белье и одежду и обрядили во все новенькое. «Шапки, галстух, бушлат и брюки, портянки и коты – все это было чистенькое, подогнано по росту. Правда, качество белья оставляло желать лучшего, – отмечал Вороницын. – Оно оказалось сшитым из того грубейшего холста, который ткется в больших тюрьмах и, будучи надето на тело, вызывает неимоверный зуд. Только после многократной стирки оно очищается от кострики, делается мягче и не так терзает кожу». Другие авторы так описывали приемку прибывших в Шлиссель-

бург. Перво-наперво – стрижка наголо. Затем переодевание в арестантское платье установленного образца. Для зимнего времени – это сшитые из серого сукна короткие однобортные куртки с пуговицами и суконные брюки. Обувь – так называемые коты́ (мягкие туфли). Вместо чулок и носков – портянки. Верхнее платье – суконная шинель и стеганая куртка. Шапка – бескозырка. Нижнее белье из серого полотна. Оно подробно описано Вороницыным. Летняя одежда изготовлялась из такого же полотна. К 1907 году уже отменили нашивку «бубнового туза» на спине верхнего платья и бритье половины головы.

Из цейхгауза новоиспеченных шлиссельбуржцев направляли в тюрьму. Всех заводят в корпус № 3, так называемую Новую тюрьму, построенную в 1884 году для народныхольцев. Товарищей Вороницына сдают дежурному надзирателю с указанием, кого в какую камеру посадить. А его выводят из здания и конвоируют по направлению к Старой тюрьме. На вопрос Вороницына, за что такая немилость, почему его изолируют от товарищей, надзиратель отвечает, что, мол, так приказал начальник. Вороницын предположил, что, скорее всего, смоленское начальство характеризовало его как зачинщика «голового бунта» и советовало начальству Шлиссельбурга держать его от других арестованных подальше. Иван Петрович решает добиваться отмены этой изоляции.

В других своих книгах мы уже довольно подробно описывали внешний вид Шлиссельбургской крепости, ее внутреннее устройство, историю и царящие в ней порядки³. С течением времени все это постоянно, порою кардинально менялось, особенно начиная с 1907 года, когда она стала каторжным тюремным централом.

³ См.: *Аверина Нина*. О том оставляю каждому судить... Федор Васильевич Кречетов. Пермь, 2017.

После того как старинная русская крепость Орешек была отвоевана Петром I у шведов, она обратилась в грозный форпост на пути вражеских войск. Однако с сооружением других крепостей, особенно таких, как Кронштадт, Шлиссельбургская стала постепенно терять свои бывшие функции и еще при Петре I превращаться из славы русского оружия в тюрьму, правда, пока для немногих высокопоставленных лиц. Специально построенных тюремных зданий здесь еще не было. Арестанты пребывали в домиках, предназначенных для иных целей. Но когда число заключенных возросло, их начали размещать в бывших солдатских казармах, построенных по проекту архитекторов И. Устинова и Д. Трезини в 1728 году. Именно в этом длинном двухэтажном здании, отделенном от остальной территории крепости мощными каменными стенами и проточным каналом, томились и Николай Новиков, и шейх Мансур, и Федор Кречетов... Во времена Вороницына этот корпус числился под номером 1, а среди арестантов был известен как «Зверинец», ибо его надстроили третьим этажом с общими камерами, не имевшими четвертой стены: ее заменяли железные решетки от пола до потолка, и вся жизнь заключенных проходила на глазах надзирателей.

Первое специальное здание для арестантов решил построить Петр III, но внезапно закончившееся его короткое царствование не позволило осуществить этот замысел. Стройка в самом начале была Екатериной II приостановлена. Завершил ее Павел I в 1798 году. Здание было рассчитано на 10 одиночных камер. Не предполагали тогда правители, насколько ничтожным окажется вскоре это количество. Власти называли это сооружение «секретным домом», а каторжане – «сараем». Именно здесь после неудачного восстания томились некоторые из декабристов. В 1907 году корпус этот перестроили полностью:

на старом фундаменте возвели двухэтажное здание, вместо 10 одноместных камер устроили по 6 на каждом этаже, способных вместить 140 заключенных. Сюда из других корпусов переводили тех, кого намеревались содержать в особо суровых условиях. Этот корпус, получивший номер 2, был как бы тюрьмой в тюрьме, потому и имел еще одно прозвище – Сахалин. Сохранил он и свое бывшее название – Старая тюрьма. Так его начали именовать еще в 1884 году, когда под личным наблюдением Александра III специально для народовольцев было спешно достроено обширное здание по образцу новейших американских и западноевропейских тюрем. Рассчитано оно было на 40 одиночек. Этот корпус стал называться Новой тюрьмой и во времена Вороницына значился под номером 3.

При всей тяжести существования каторжников после 1907 года оно несопоставимо с тем, в каком жили и умирали народовольцы. За 20 лет, предшествовавших Первой русской революции, в камерах Шлиссельбургской крепости были заживо замурованы 69 человек. Из них 15 (в том числе А. И. Ульянов) казнены в стенах тюрьмы, четверо покончили с собой, 15 умерли от цинги и чахотки, четверо сошли с ума. Эта тюрьма хладнокровно осуществляла замысел правительства – заменить смертную казнь медленным, но верным умиранием. Народовольцы были полностью изолированы от внешнего мира. Долгое время они не знали даже, кто сидит за стенкой рядом, а прогулки по 15 минут проходили в полном одиночестве. Вера Николаевна Фигнер (1852–1942), член исполкома «Народной воли», участница подготовки покушения на императора Александра II, в 1884 году была приговорена к вечной каторге и более двадцати лет провела в одиночном заключении Шлиссельбургской крепости. Автор двухтомника мемуаров «Запечатленный труд», во втором томе «Когда



Вид общей камеры «Зверинца»

часы остановились» она писала: «Мы были лишены всего: родины и человечества, друзей, товарищей и семьи; отрезаны от всего живого и всех живущих. Свет дня застлали матовые стекла двойных рам, а крепостные стены скрыли дальний горизонт, поля и людские поселения. Из всей земли нам оставили тюремный двор, а от широт небесного свода – маленький лоскут над узким, тесным загончиком, в котором происходила прогулка. От всех людей остались лишь жандармы... Пять лет я не видела ночного неба, не видела звезд». Удалось увидеть, когда ночью вели в другой корпус в карцер. Не было ни свиданий, ни переписки с родными. «Ни одна весть не должна была ни приходить к нам, ни исходить от нас. Ни о ком и ни о чем не должны мы были знать, где мы, что мы <...>. «Вы узнаете о своей дочери, когда она будет в гробу», – сказал один санинник обо мне в ответ на вопрос моей матери». Впрочем, кто они такие, не знали даже смотрители, а, возможно, даже начальство, ибо, как во времена Новикова и Кречето-

ва, у них не осталось ни имени, ни фамилии – только номер.

Очень медленно в их жизнь приходили некоторые послабления. Например, после 1887 года всем разрешили гулять по двое (ранее это дозволялось очень редко и очень немногим, как особая награда за примерное поведение). После трех лет заключения народовольцам впервые дали бумагу. Смотритель, вручая пронумерованную тетрадь, предупредил, что когда она закончится, ее непременно нужно будет вернуть, лишь после этого можно будет получить новую. Это означало, что написанное будет читать начальство, а затем и Департамент полиции. Как вспоминала Вера Николаевна, праздника не получилось. И все же они много писали, в том числе почти все – стихи. Очень долго арестанты страдали от отсутствия не то чтобы хороших, а хотя бы приемлемых книг. Тюремная библиотечка едва насчитывала 160 названий, причем половина из этих книг были религиозного содержания, а половина настолько устарела и обветшала, что книги боязно было взять в руки. Лишь после 3–4-х лет хлопот народовольцам разрешили пользоваться их собственными книгами, привезенными с собой.

Особенно тяжело отсутствие серьезного чтения переживали люди, склонные к занятиям наукой. Н. А. Морозов (1854–1946), член кружка чайковцев, «Земли и воли», член исполкома «Народной воли», проведший в Шлиссельбурге 22 года, считал, что самой главной пыткой было «одиночество под вечным враждебным наблюдением и вечное безмолвие». Добавлением к пытке одиночеством и ничегонеделанием было, прежде всего, отсутствие книг. А у него было столько идей! И Морозов начинает восстанавливать в уме свои богатейшие знания, полученные ранее, а с доступом к бумаге – и записывать многие из бле-

стящих озарений. Со временем он начнет находить самые различные способы получения книг и даже наглядных пособий... И сколько он создаст благодаря своей колоссальной памяти и огромному трудолюбию! Выйдя на свободу, станет со временем ученым-энциклопедистом: химиком, физиком, астрономом, математиком, историком, литератором, с 1932 года – почетным членом Академии наук СССР.

Долгое время заключенным недоступен был любой труд, даже самый примитивный. Не разрешали, например, расчищать снег в крошечном закутке, где они гуляли. А там была единственная протоптанная дорожка, по бокам которой алели на снегу кровавые пятна – следы отхаркиваний тяжелобольных туберкулезников. Со временем «смилоствовались», и чтобы арестанты хоть как-то укрепляли свои мышцы, привезли в этот закуток кучу песка и лопаты: перебрасывай песок с места на место, укрепляйся! Через значительное время привезли земли, соорудили маленькие грядки, на которых народовольцы начали выращивать различные овощи. Какая это была радость! Затем дозволили работать в мастерских – переплетной, столярной... И лишь через 13 лет разрешили переписку с ближайшими родственниками, но не чаще двух раз в год и с той и с другой стороны. Как особую милость даровали право читать не копии с полученных писем, а их подлинники. Жесточайшая цензура довлела и над этой эпизодической перепиской. Но время уже оставило страшные следы забвения: писать часто было и некому и не о чем! Плюс ко всему вышеперечисленному – отвратительная еда, ужасная окружающая обстановка... И такие травмирующие «мелочи», как ежесубботные обыски, когда баба-охранница уводила Веру Николаевну в специальное помещение и тщательно просматривала

каждый шов одежды, каждую складочку тела... Но именно народовольцы изменили весь уклад жизни последующих узников Шлиссельбурга. Благодаря им арестанты Нового Шлиссельбурга учились в его стенах, учили других, занимались переводами, писали книги, трудились в различных мастерских, на огородах, в теплицах, выращивали замечательные цветы... Все это значительно скрашивало их жизнь, да и помогало материально.

В 1911 году соорудят огромный корпус, рассчитанный на 600 арестантов (№ 4). Всего же централ сможет принять одновременно 1700 человек. Для сравнения: при Екатерине II число арестантов Шлиссельбургской крепости не превышало десяти человек. При Павле I, который сажал в крепость за всякую ерунду (играл в карты или плохо маршировал), оно достигло 49 (46 мужчин и 3 женщины).

Но вернемся к Ивану Петровичу Вороницыну. Его направили в «сарай» (корпус № 2) и поместили в одиночную камеру № 7. Вот как описывает Вороницын свое новое жилище: «Я приступаю к осмотру камеры. Вышина значительная, но света мало. Окно высоко, стекла грязные, и совсем близко крепостная стена, преграждающая доступ к свету. Взобраться на окно можно без труда. В левом углу печка, в правом стульчак ватерклозета и рядом раковина и кран водопровода. С такими удобствами сидеть мне еще не приходилось. Но зато пол мне не нравится: бетонный, в трещинах... Койка подъемная. Я спускаю ее, настилаю сверх жидкого мочального тюфяка простыню, одеяло, обрабатываю кулаками тугую соломенную подушку и собираюсь уже развалиться, как форточка в двери открывается и слышится окрик надзирателя: “Днем ложиться на койку не полагается!”».

Многое не полагается в этом мрачном каземате, где стоит гробовая тишина, не слышно ни единого звука. На-

пример, нельзя простукивать стены в надежде обнаружить в соседних камерах товарищей по несчастью и получить хоть какую-то информацию. И уж тем более – заглянуть в глазок чужой камеры, когда, отправляясь за кипятком в конец коридора, услышишь за ее дверью звон кандалных цепей. Нельзя иметь при себе более двух книг (конечно, если содержание этих двух одобрит начальство). Хотя книги эти – из твоей личной библиотечки, которую отобрали по прибытии. Не полагается во время короткой прогулки бегать, даже если ты начинаешь коченеть на морозе. Нельзя написать домой и маленькую открытку, пока не пройдет двух недель после твоего появления в крепости. Но это при условии, что ты будешь вести себя хорошо. На вопрос Вороницына: «Значит, мои родные будут наказаны, если я буду плохо вести себя?» – он получает ответ: «Арестант должен хорошо вести себя, чтобы не огорчать своих родителей». Но ведь в этой тюрьме понятие «плохо вести себя» очень широкое. Например, ты заслуживаешь наказания, если не позволяешь обращаться к тебе на «ты». Путаясь и запинаясь, надзиратель читает Вороницыну длинную инструкцию о том, что можно, а что нельзя делать арестованному.

Но и эта дотошная инструкция показалась Главному тюремному управлению излишне мягкой. И через несколько дней оно прислало новую, подготовленную специально для Шлиссельбурга, а затем ставшую основой для всех других тюрем. В ней и без того не ахти какие права арестантов были значительно урезаны. Например, если раньше дозволялось на собственные деньги выписывать продукты без ограничения, теперь на это можно было расходовать только 4 рубля 20 копеек в месяц, из них 1 рубль 20 копеек – на курение и письменные принадлежности. Книги дозволялось читать лишь строго научного

или религиозного содержания. Письма разрешалось писать только ближайшим родственникам и законным женам раз в месяц на листке установленного формата (ранее писали раз в неделю, а объем послания практически не ограничивали). Носовые платки, к счастью, не отменяли, но строго следили, чтобы они были без красных каёмок. За серьезные проступки полагалось наказание розгами «до ста ударов в один прием». При всем при том, что Зимберг был преданным поклонником инструкций и соблюдение их было главной его целью, каторжане научатся всевозможными способами обходить многие пункты и открыто бороться с наиболее нелепыми и жестокими из них.

Однако пока, в первые дни, в тюрьме еще царит некоторая вольница. На другой день после прибытия в камеру Вороницына приносят отобранный при обыске табак, и заядлый курильщик Иван Петрович может затянуться сигаркой открыто. Открыто, ибо маленькую толику зелья, уже зная о тюремных порядках на этот счет, он сумел вовремя припрятать. Передавая ему табак, сообщили, что вообще-то курить разрешается лишь арестантам хорошего поведения, а это ему как бы аванс от начальства. Обнаружилось и еще кое-что положительное, по сравнению с предыдущим острогом. Вороницын пишет: «Утром выдали два фунта очень хорошего хлеба. Обед тоже после Смоленска показался недурным: щи с несколькими кусочками мяса и гречневая каша, сдобренная говяжьим жиром. После обеда на один час разрешено было открыть койку и отдохнуть. После отдыха пригласили на прогулку. В общем, было весьма недурно сравнительно со смоленскими порядками, и совсем не так скверно, как рисовалось в воображении при отправке из Смоленска сюда. Не хватало только общения с товарищами. Но я был уверен в том, что и они добиваются

моего перевода к ним, и что сам я сумею довольно скоро этого перевода добиться».

А пока дни тянулись однообразно и скучно. В какой-то мере спасала работа. Это и занятия с полученными книгами (пусть пока всего с двумя), и разнообразные писания (от писем до серьезных рефератов и статей). К литературному и научному творчеству тянуло все больше и больше. Правда, писать приходилось при тусклом свете свисающей с потолка слабой и неудачно подвешенной лампочки, а зрение у Ивана Петровича угасало с каждым днем. Удовольствие он находил даже в работе физической, к чему не очень-то был с детства приучен. Мешали этому и случающиеся порою невралгические боли в спине, иногда такие сильные, что невозможно было нагнуться. И все же он расчищал деревянной лопатой снег в маленьком дворике, куда выводили его на прогулку. Поддерживал порядок в своей камере. Несколько раз заставляли топить печки и куб для кипятка, подметать и начищать воском пол в коридоре... За прошедшие в Старой тюрьме две недели один раз принял ванну и все-таки познакомился с двумя «абorigенами», заключенными сюда пожизненно. Именно звон их цепей слышал Вороницын, когда в день прибытия ходил в конец коридора за кипятком. Это были петербургский рабочий Цеданский и кронштадтский матрос Панчишин. Оба – бессрочники. Со вторым через неделю позволили Вороницыну гулять вдвоем.

Но боли в спине все плюсы сводили на нет. Пришлось просить, чтобы вызвали врача. «...Был приглашен из рода какой-то ветхий эскулап, прописавший мне ежедневно бутылку молока и фунт белого хлеба и заявивший начальнику, что мне необходимо лежать, благодаря чему на две недели было разрешено койку не поднимать». Но долго довольствоваться дарованным покоем не уда-

лось. Как-то перед самым обедом пришел к нему в камеру старший надзиратель, предложил собрать вещи и следовать за ним. Наконец-то его переводили поближе к товарищам, в Новую тюрьму. Заглядывая вперед, скажем, что 23 декабря 1908 года Вороницыну сделают операцию. Об этом в своих дневниках и мемуарных заметках сообщают некоторые его товарищи. Но что это была за операция, никто не уточняет. Может быть, она была связана с болями в спине?

Привели Ивана Петровича в Новую тюрьму, где кроме приехавших с ним из Смоленска шести товарищей он никого не застал. Неизвестно, по какой причине, но в это время сменили все номера камер, и точно сказать, сидишь ли ты в камере, где совсем недавно томились Вера Фигнер или Николай Морозов, было весьма затруднительно. А ведь сколько силы духа прибавило бы подобное «землячество»! Вороницын просидит в камере № 37 до 1909 года, когда, по его выражению, начнет свое «турне» по другим тюрьмам, завершившееся снова Шлиссельбургом. Словно предвидел свое возвращение сюда, когда шутливо наказывал товарищам: 37-ю оставить за ним!

Камеры в Новой тюрьме оказались значительно меньше, чем в Старой, но были они уютнее, чище и светлее. Вот как описывал свою Вороницын: «Печки не было. Вместо нее, направо от двери... находилась стоячая батарея парового отопления, которую из коридора можно было регулировать. Койка спускалась с той же стороны, где находилось отопление. Противоположная сторона была занята железным столиком и сиденьем, причем сиденье было ближе к окну, так что свет непосредственно на стол не падал. В углу такой же ватерклозет, как и в старой тюрьме, раковина водоотлива и кран. Впрочем, у двери углов не было. Они были заложены для того, чтобы заключенный

не мог ускользнуть ни на один миг из поля зрения глаза, так что даже естественные надобности приходилось совершать на виду... Окна были квадратные и не очень большие, но все же достаточной величины для того, чтобы в камере было светло даже в пасмурные дни».

А вот на первом этаже, окна камер которого затемняла крепостная стена, всегда было мрачно. Окна же второго этажа находились на уровне бруствера этой стены, и, взобравшись на окно, сквозь самую верхнюю часть его можно было увидеть узкую полоску ладожских волн. Электрическая лампочка на длинном шнуре свисала с середины потолка, и никто не запрещал притянуть ее к столу или к изголовью кровати. К концу лета 1908 года проводку заменят, и лампочка будет висеть над самым столиком. Вороницын добьется, чтобы ему лампочку повесили на более длинном шнуре, чем у других. Напомним, что зрение у него было очень плохое, а занимался он с книгами и рукописями много. Правда, с наступлением белых ночей электрическое освещение в крепости прекращалось.

Полы во всем корпусе были асфальтовые, когда-то выкрашенные в желтый цвет. Но краска эта удержалась лишь в тех камерах, которые не имели постоянных жильцов. Содержать камеры в чистоте, особенно мыть полы, поначалу не было обязанностью их обитателей. Хотя, как рассуждал Вороницын, казалось бы, чего проще! Воды – изобилие! Наполнишь ею раковину, намочишь в ней мочальную швабру и трешь ею пол до желаемой чистоты. Особенно заботились о чистоте своих «палуб» недавние матросы. А вот некоторые из интеллигентов могли не прикасаться к полу в течение нескольких недель. Позднее заботу о чистоте камер вменяют в обязанность их обитателям.

Постепенно тюрьма начала наполняться. Публика попадалась самая разношерстная. «Случайная масса», которая во дни отлива революции «заполнила ряды экспроприаторов и героев мелкого террора, стоявших почти на уровне с уголовщиной», как отмечала вступительная статья к сборнику «На каторжном острове» (1967), составила значительную часть политзаключенных Шлиссельбурга. Однако



Д. А. Трилиссер

среди них было немало не только «сумбурных голов», но и чистых душ. Значительную группу, отмечал Вороницын, составляли анархисты (Романов, Соколов, Сперанский, Краснобродский и другие); эсеры (Друганов, Яковлев, Кругликов, Фельдман...); социал-демократы из Риги (Захаров, Семенчиков, Рубинштейн...) и прочие. На эту же пестроту состава заключенных указывали и другие арестанты, в том числе авторы сборника «На каторжном острове». Например, Д. А. Трилиссер (1884–1934), член РСДРП с восемнадцати лет, большевик. Был заключен в Шлиссельбургскую крепость в 1907 году, в 1912-м отправлен на вечное поселение в Восточную Сибирь, после революции – видный советский и общественный деятель.

В статье «Новый Шлиссельбург» он писал: «Пионерами “Нового Шлиссельбурга” были герои-севастопольцы И. П. Вороницын, Антон Конуп, Штрикунов, Письменчук и другие, а затем пришли и герои Кронштадтского восстания... Политический состав заключенных в крепости был удивительно пестрым: эсеры, меньшевики, большевики, анархисты-индивидуалисты, анархисты-коммунисты

и т. д. и т. д. Такая же пестрота была и по национальностям». Это были люди разных взглядов, разных убеждений, даже если они принадлежали к одной организации. Много спорили, «но никогда политические споры не ослабляли среди политических каторжан товарищеских отношений, спайки и готовности помочь друг другу, отстоять друг друга».

В героях ходили бунтари разного толка, особенно бунтари из принципа, считавшие, что недопустимо плясать под дудку гнусного начальства. Они были убеждены, что единственным достойным отношением революционера к тюрьме является полная непокорность, наплеватьство на всё и вся, к каким бы последствиям это ни приводило. Вороницын писал, что такие люди слыли героями среди тюремной массы, особенно среди уголовников. Ими восхищались, им поклонялись, но подражали очень редко, ибо участь их была незавидной: темные карцеры, розги, голод, холод, избиения, издевательства, переводы из тюрьмы в тюрьму. Наиболее яркими из подобных непокорных были севастопольцы Антон Конуп и Николай Симоненко. Николай Семенович Симоненко (1877–1913) – в прошлом слесарь машиностроительного завода в Николаеве, с 1901 года – матрос, санитар дивизии Черноморского флота. За участие в Севастопольском восстании был осужден на бессрочную каторгу. Вместе с Вороницыным возглавлял в Смоленске «голый бунт» и был переведен в Шлиссельбург, откуда за непокорность в 1909 году попал в Орловский централ и там уморил себя голодом в знак протеста против избиения политических заключенных.

Были бунтари и иного толка, например бунтари по темпераменту, бунтари по наивности, бунтари по болезни и прочие. Самым ярким примером бунтаря по темпераменту можно назвать армянина С. М. Романова. Он был

одним из лидеров группы анархистов-общинников («безначальцев»), судебный процесс над которой завершился в Петербурге 30 ноября 1906 года. Все обвиняемые не признавали суд, неоднократно вступали в драки с судебными приставами и жандармами охраны. Лидеры группы (в том числе и Романов) были приговорены к 15 годам каторги. В быту, среди товарищей Романов был веселым, добродушным, покладистым, сам любил подшутить над собственной неказистой наружностью (был он очень маленький ростом, чрезвычайно худой) и не сердился, когда это делали товарищи. Он был вечной мишенью арестантов-остряков, а записной карикатурист Друганов даже злоупотреблял этим благодарным сюжетом. Но он становился неистово гневен, просто страшен при малейшем подозрении на обиду, причиненную тюремщиками: например, показалось, что надзиратель неодобрительно на него посмотрел. А ведь этот немолодой человек имел за плечами Технологический институт, долгие годы революционной борьбы на стезе анархиста, полностью отрицавшего всякую теорию, всякие доктрины. Как писал Вороницын, с первого же дня пребывания в Шлиссельбургской крепости «он вступил в неизбывный конфликт с начальством всякого рода» и в гнев был так страшен, что тюремный персонал старался с ним не контактировать. «Нельзя было отделаться от Романова посылкой в сумасшедший дом, отделались от него переводом в другую тюрьму».

Оригинальный тип составляли бунтари по наивности. Один из них – севастопольский моряк М. В. Прудкой. Вороницын так описывал его: «Флегматичный хохол, не интересовавшийся никакими принципами, только и мечтавший о том, как он вернется домой и займется своим хозяйством, любивший и в тюрьме копать в земле, тру-

долголюбивый и прилежный, он был бунтарем по своей наивности. Он, например, считал, что как человек простой он с таким же простым человеком, как надзиратель, мог не церемониться и привычную матросскую словесность применял и к случаю, и без случая. Его за это сажали в карцер». Но Прудкой считал, что в сырых, холодных, заплесневелых карцерах надо наводить хоть какой-то порядок. Обладая недюжинной физической силой, он один раз начал ломать дверь, почти разнес ее в щепки, но прибежавшие надзиратели надели на него смирительную рубашку. В другой раз начал разбирать стену карцера и сделал уже порядочное отверстие в ней, когда заметили его проделку. На вопрос, зачем он это делал, Прудкой заявил, что ему холодно было: «Собака и та на соломе спать».

Вороницын, приводя эти истории, делает вывод: «В сущности, дух протеста... жил во многих из нас и часто проявлялся под впечатлением внешних толчков, выводивших из равновесия, или под влиянием нравственных и принципиальных побуждений. Каторжная жизнь в такой мере коверкала человеческую психику, что часто самый уравновешенный человек вдруг прорывался и, только попав в карцер и испытав своеобразное чувство удовлетворения, начинал соображать, что ведь он не раз пропускал и более серьезные случаи к возмущению и протесту, как бы просыпал их принципиальные основания. Вопросы чести и достоинства революционера, конечно, играли в наших выступлениях немалую роль, создавая своего рода фон, известный строй чувств и мыслей. Но в индивидуальных протестах (коллективные выступления, конечно, совершенно иная вещь) почти всегда непосредственное, неучитываемое и непредвидимое побуждение бывало первым двигателем. В тот период, – а это был весь 1907 год, – когда тюрьма только наполнялась, мы все, почти без исключе-

ний, были настроены на очень боевой тон. Это чувствовал начальник тюрьмы и, избегая столкновений, лавировал чрезвычайно искусно».

Со временем, как это ни парадоксально звучит, прогресс хоть в какой-то мере проник и за стены Шлиссельбургской крепости. Острог времен Вороницына – это все же не тюрьма времен народовольцев. В годы пребывания в ней Вороницына, как писал один



В. Н. Левтонов

из ее обитателей В. Н. Левтонов, бывший студент Петербургского университета, много работавший в крепостной библиотеке, «нагайка и плети не свистели в Шлиссельбурге, зубы не сыпались из каторжных челюстей и кровь не текла из их носов под кулаками администрации. Но на карцерах, на удлинении кандалного срока, на систематических переводах из камеры в камеру, из корпуса в корпус, на моральных унижениях, на целом ряде с виду мелких лишений – игра велась очень хитро и подло, доводя многих до тихой, незаметной смерти, а других до какой-то жутки, от которой хотелось самому как угодно, но разорвать эту липкую паутину тюремной законности или добиться перевода в другую тюрьму». А ведь Володя Левтонов был человеком веселым, жизнерадостным. Каково же было тем, кто склонен к меланхолии?

Главное было – не сдаваться, не терять человеческого достоинства в любой ситуации. Тем более что гайки начали постепенно закручиваться.

Многие свидетели Шлиссельбурга тех лет писали, что правительство, начальство специально смешивали по-



М. А. Трилиссер

литических и уголовных, надеясь, что меньшая часть политических (перед Февральской революцией они составляли 30 процентов всех арестантов) распылится среди уголовников, будет поглощена ими. Александра Яковлевна Бруштейн в книге «Цветы Шлиссельбурга» отмечала эти две антагонистические группы. С одной стороны – революционеры, то есть, с ее точки зрения, люди высшего служе-

ния моральному долгу, такие как Борис Жадановский, Ф. Н. Петров, Владимир Лихтенштадт, Серго Орджоникидзе, И. П. Вороницын, Илья Ионов, М. и Д. Трилиссеры, а с другой стороны – гнуснейшие преступники, матерые рецидивисты. Но того, на что рассчитывало правительство, не произошло. Тон задавали революционеры.

Следует отметить, что почти все авторы, писавшие о царских тюрьмах, перечисляя самых положительных лиц среди заключенных, особенно заключенных Шлиссельбурга, обязательно включали в этот список Вороницына как наиболее стойкого, непримиримого, мужественного, справедливого, очень внимательного к друзьям... И что удивительно. Этого молодого человека, едва перешагнувшего двадцатилетний рубеж, неизменно величали по имени-отчеству. Он действительно был вожаком, заводилой, главным исполнителем большинства противотюремных акций, добрым товарищем, всегда бравшим главную вину на себя. Не случайно очень часто сидел в карцере.

В сборнике «На каторжном острове» (Л., 1967) были опубликованы воспоминания Вороницына «Шлиссель-

бургская каторга (1908–1909)», в которых он описывает «настоящий каторжный карцер», какие были редкостью в других тюрьмах, но какими гуманный (как он сам себя называл) Василий Иванович Зимберг, он же Чухна, с особой любовью и предпочтением заменял все другие виды дисциплинарного взыскания: «Меньше чем на тридцать суток в карцер сажал нас Зимберг очень редко. И он очень не любил, когда



Ф. Н. Петров

вызванный к наказанному врач признавал его больным, брал в больницу и тем прерывал отбытие наказания. По его мнению, карцер достигал своей цели, то есть укрощения строптивого, отбивал охоту ко всякого рода протестам, вызывал желание быть тише воды, ниже травы – одним словом, “исправлял” лишь тогда, когда он действовал непрерывно. У сажаемого в карцер отбирали: шапку, очки, если он был близорук, галстух, снимали поясной и кандальный ремни, подкандальники и поджилыники (принадлежность подкандальников) и, наконец, забирали портянки. Ни полотенца, ни носового платка, ни мыла, ни бумаги – одним словом, ничего, в чем человек испытывает нужду, в карцер не допускалось. Вас сразу низводили в некультурное, первобытное состояние. Что касается одежды, то если у вас была целая одежда, не рваная, не истершаяся, то ее у вас тоже отбирали, давая взамен грязную, рваную, годную только для мусорного ящика. В таком виде вас запирали в темную конуру, грязную, большей частью сырую и холодную даже летом, в которой не на что сесть и в которой несколько насланных

на полу досок служат постелью. В карцерах IV-го корпуса это ложе было приподнято от пола на аршин. Были карцеры (II-го корпуса), в которые не проникало даже самого маленького луча света. В этом мраке и в этой грязи с открытой парашкой... вы проводили три дня подряд безвыходно. На четвертый день вас переводили в светлый карцер или оставляли в том же, если окно его было закрыто ставней (а если светлые камеры все были заняты, то на день включали тусклую электрическую лампочку). В темные дни наказанный получал пайку хлеба и кружку воды на весь день, на четвертый день ему выдавали горячую пищу и горячую воду. Просидеть в этих условиях тридцать дней было мучительно. Люди выходили из карцера серыми, истощенными, с окончательно ослабленным организмом, психически подавленными. И эти результаты были последствием не столько недостаточности питания, сколько холода, мрака, сырости и отсутствия воздуха». А ведь случалось, что карцер продляли и до шестидесяти дней: едва выпустив, тут же заточали снова.

Писал Вороницын о карцерах и в других своих сочинениях, например в «Истории одного каторжанина». Самым страшным был карцер, который находился рядом с первым корпусом в круглой башне, называемой Светличной. Здесь совсем не было отопления. «Холодные стены, мокрые и скользкие, как жабы, крошечная тьма, отсутствие умывания и постели, пища – черный хлеб и холодная вода. Горячую пищу и десятиминутную прогулку давали один раз в десять суток. После 30 суток карцерного сидения люди выходили неузнаваемыми: исхудавшие, невероятно грязные, со склеивавшимися липкими волосами и бородой, с глазами, воспаленными от долгого пребывания в полной темноте. Даже кандалы ржавели в карцер-

ной сырости, даже голос у людей изменялся – становился ржавым, сиплым, придушенным».

Большой знаток шлиссельбургских карцеров, отбывавший там отсидку не менее 25 раз, В. Ф. Гончаров в своих воспоминаниях (публиковались в журнале «Былое» в 1924–1925 годах) писал: «Даже солдаты, испытывавшие на военной службе все виды карцера – простого, смешанного, строгого, имели смутное представление о рекомендуемом законом одиночном заключении: им на военной службе давали в карцер шинель, табак и тому подобную благодать. Тюрьма, главным образом каторжная, расшифровывала... понятие “карцера” лишением всего, что считается человеческим: света, тепла, одежды, питания – ввержением в земную преисподнюю».

Другим устрашением для заключенных были розги. Поначалу шлиссельбургское начальство пыталось воздерживаться от столь гнусного метода, который, к тому же, мог получить нежелательную огласку на воле, в то время как «тихое» пребывание в карцере еще попробуй докажи! Но с 1908 года розги начали применяться поначалу время от времени, а затем систематически и повсеместно. В каких-то тюрьмах чаще, в каких-то реже. Применять или не применять их зависело от многого: от либеральничанья (вернее, игры в либеральничанье) тюремного начальства, как было в Шлиссельбурге; от сплоченности, организованности заключенных; от духовных сил наказуемого. Например, начальство понимало, что сие совершенно недопустимо по отношению к Борису Жадановскому (и это во всех тюрьмах, где бы он ни сидел), и не столько из-за его слабого здоровья (он подобной экзекуции просто не выдержал бы физически), сколько из-за несокрушимости духа: скорее убьет себя, но подобного не допустит, а это уж

скандал на всю Россию. А двое уголовников, недавно прибывших в Шлиссельбург, спокойно легли под розги и приняли назначенные каждому по 50 ударов, хотя в их защиту поднялась вся тюрьма. Однако сами-то они не считали, что их честь как-то уязвлена. Вороницын писал: «Вопрос о том, как должны политические реагировать на эти акты гнуснейшего из насилий, возможных над человеческой личностью, всегда был болезненным вопросом. Мне пришлось участвовать не раз в разговорах и спорах на эту тему, и что поражало меня в высказываниях товарищей, это почти всеобщее отрицательное отношение к самоубийству как методу борьбы против применения розог. Но в то же время многие, взятые по одиночке, на вопрос о том, как каждый из них лично будет реагировать, если он подвергнется розгам, отвечали: “Вероятно, покончу самоубийством или заставлю убить себя”. Некоторые отвечали: “Все будет зависеть от момента и обстановки. Может быть, буду бравировать и смеяться в глаза палачам”».

А вот рассказ, который слышал Вороницын от студента социал-демократа в Ярославской тюрьме, одной из самых жестоких тюрем России, где ему придется со временем побывать: «Когда в первый раз меня высекли – дали 50 ударов... в первый момент я был на пороге самоубийства. Разум молчал, говорило только непосредственное чувство возмущения, ощущение страшного, невыносимого поругания человеческой личности, моей личности. И если бы в этот момент у меня под рукой были средства покончить с собой, меня бы уже в живых не было. Но я был брошен в темный карцер на неделю. Не мог сидеть, не мог лежать на спине. Рубаха превратилась в лубок, крепко приставший к истерзанной коже. Боль была невыносимой, а я не догадался сразу вынуть все занозы из ран. Началось воспаление. И вот эта длящаяся боль заполнила

все мое существо. А потом на сцену вышел разум, логика. Дело не в том, что смерть страшна. Нисколько. И совершенно неожиданно, без всякого логического перехода, возникла мысль, что личность моя от того, что надо мной произведено насилие, вовсе не пала. Для чего же убивать себя? Чтобы у них одним врагом стало меньше? Глупо, если не хуже. И чтобы доказать и себе, и им, что я после экзекуции не стал трусом, я обругал палачом помощника, присутствовавшего при порке. Меня выпороли второй раз – сто ударов. В первые моменты боль была нестерпимая... Я не удержался и стонал, даже кричал, но не молил о пощаде, как это делают уголовные. Просто тело кричало от нечеловеческой боли... В третий раз меня выпороли через две недели, когда спина зажила совсем. Все это время я был в карцере и систематически оскорблял тюремщиков, когда открывалась дверь на поверку. И я не чувствую теперь, как тогда не чувствовал, – кроме первого момента – что розги изъяли у меня самоуважение, основу моего “я”, со стороны других».

Описанные выше и им подобные надругательства над личностью переносились легче благодаря повседневной поддержке друзей. А тесная, сплоченная, дружная группа единомышленников все росла и крепла. Первоначально это были арестанты, переведенные из Смоленска, во главе с Борисом Жадановским и Иваном Вороницыным. Постепенно к ним стали присоединяться многие из вновь прибывших политических: Р. М. Семенчиков, Ф. Н. Петров, Л. Н. Рубинштейн, В. Я. Ильмас, братья Д. А. и М. А. Трилиссеры, В. О. Лихтенштадт и другие. Г. М. Муравин, попавший в Шлиссельбург несколько позднее, вспоминал: «Выйдешь на прогулку – поговоришь, поспоришь, узнаешь, что нового в тюрьме, на воле, даже иногда за границей. Встретишься с такими людьми, как Ф. Н. Петров,



А. А. Нейман

И. П. Вороницын, Г. К. Орджоникидзе (с ним позднее – его перевели в 3-й корпус в 1914 г.), И. К. Гамбург, А. А. Нейман, М. А. Трилиссер, милый Володя Лихтенштадт. Это же счастье не только в несчастной неволе. Тем более что со многими меня связывала давнишняя борьба на воле и в тюрьмах».

А это пишет Ф. Н. Петров: «Перестукиваясь из камеры в камеру, мы обменивались мнениями по самым различным вопросам, даже по таким, как причины поражения революции 1905–1907 годов. Прислонившись к стене, часами стучишь соседу, высказываешь ему свои думы, мысли. После окрика надзирателя стук прекращается, а потом снова слышим: тук, тук...». Даже рефераты друг другу таким образом передавали. И в шахматы играли. Вороницын вспоминал, как накануне 1908 года он сыграл «по стенке» в шахматы со своим другом Рубинштейном «две партии, отмечая ходы по разграфленной грифелем доске, так как шахматные фигуры, даже сделанные из хлеба», у них отбирались.

Эти перестуки для многих поколений узников стали основным средством общения между замурованными в камерах, особенно одиночных, шлиссельбуржцами, тем более когда совместные прогулки по тем или иным причинам были невозможны. Каждый попавший в каземат первым делом выяснял: а кто рядом, за стенкой, этажом выше или ниже? Друг, товарищ, единомышленник? Вот попадает в камеру И. К. Гамбург. Он в первые месяцы, кроме своей одиночки и прогулочного двора, ничего не ви-

дел. Даже в баню не водили – мылся раз в неделю в ванной, приспособленной в одной из одиночек. Естественно, сразу же стал искать: кто за стеной? А наверху кто? Тук, тук, тук... Достучался до Вороницына, который представился, как всегда, скромно: мол, участник Севастопольского восстания матросов. Всего лишь – участник!

Молодой Серго Орджоникидзе сразу по прибытии в Шлиссельбург станет одним из вожakov политических. Он посвятит этому «тук-тук» целое стихотворение. Вот несколько строк из него:

*...Мы расскажем миру тайны
Долгих лет и долгих мук,
Вспомнишь ты, сосед случайный,
Наш условный, тихий стук –
Стук приветный, стук ответный,
Голос азбуки заветной,
Голос камня: тук... тук... тук!
Голос друга: «Здравствуй, друг!»...*

Надо сказать, что в Шлиссельбурге многие из политических писали стихи. Писал их и Вороницын. Например, на день рождения старого товарища Антона Михайловича Мазина (1877–1918), рабочего-литейщика, осужденного 13 ноября 1906 года за участие в Севастопольском восстании, посаженного в Шлиссельбург на десять лет, освобожденного Февральской революцией и расстрелянного белыми в Бердянске. А в тот памятный день поздравляли Антона с 31-й годовщиной со дня рождения, пели песни, произносили тосты (можно ведь и без выпивки их произносить!). Звучали речи, декламации. Из разных камер. И всё это – из-за закрытых дверей. Исполнитель прижимался губами к открытому «глазку», а слушатели в своих камерах прикладывали ухо к такому же отверстию. Стихи были непосредственными и искренними:

*Товарищ Мазин! В день рожденья
Прими ты наши поздравленья.
Ты этот день в тюрьме встречаешь,
Тридцатый год с ним провожаешь.
И тридцать первый начинаешь.
Не падай духом, брат! Тюрьма
Ведь только издала страшна.
А ты с тюрьмой давно знаком...*

Когда Вороницын закончил поздравление словами: «Товарищи! Кричите разом: “Да здравствует товарищ Мазин!”», – раздалось общее «Ура!». Овации продолжались несколько минут.

Отмечали печальную годовщину 9 января, встречали Новый, 1908 год, серьезно подготовились и провели праздник 1 Мая... Отмечали и другие, печальные и радостные, события. Вот как Вороницын вспоминал об одном из них: «К празднованию 1 Мая 1907 г. мы стали готовиться задолго. Красная бумага из табачных пачек тщательно сохранялась. В какой-то посланной для переплета в мастерскую книге нашли мы большую шелковую красную ленту и для этой святой цели присвоили ее без зазрения совести. В этот день красные розетки были у всех, кроме анархистов. На прогулке вели себя торжественно. Когда же раздался крик надзирателя: “Кончай прогулку!”, на сцене появилось красное знамя на палке, сделанное из бумаги, и знаменосец Генкин понес его впереди. “Марсельеза” загремела во всю мощь сильных молодых голосов, разгоняя привычных к вечной тишине голубей и галок. Побледневший старик надзиратель из бывших жандармов с трепетом топтался за нашей медленно идущей колонной, не зная, что делать. Революционные звуки постепенно замолкали за гулко и торопливо захлопывавшимися дверьми одиночек. Вторая “прогулка” продолжила

демонстрацию, начатую первой. Таких слов и таких звуков наша бастилия еще не слыхивала. Несколько дней после этого мы ждали репрессий. Но начальство было к этому “пассажу” настолько не подготовлено, что на этот раз нам все сошло. В наших “кондуктах” зато появились отметки: “Пел революционные песни”, а Генкину впоследствии при решении вопроса о переводе его в разряд “исправляющихся” напомнили о том, что он “нес красный флаг”, и продлили “испытательный срок”».



Г. М. Муравин

Гораздо больше наши герои пострадали, отметив первый Новый год в Шлиссельбурге: «Наступил новый, 1908 год. Особенно торжественной встречи не было. Мы не ложились спать. Весь вечер только и слышно было оживленное перестукивание во всех направлениях... В 12 часов мы устроили “залп”. Для этой цели за несколько минут до полуночи мы, вооружившись крышками стульчаков, стали у двери и, когда часы на коридоре отбили шестой раз, с силой ударили в дверь. Эффект получился основательный, хотя в сговоре было всего несколько человек. Надзиратель заметался от двери к двери, но обнаружить виновников “беспорядка” ему, понятно, не удалось. С этого, собственно, и началось. Днем без всякого заранее обдуманного намерения, а просто разогретые воспоминаниями и надеждами, возвращаясь с прогулки, мы грянули “Марсельезу”. И когда вошли в коридор, к нам присоединились голоса “негулявших” камер. Вторая “прогулка” вернулась так же шумно. Чудесный был день! А 3-го янва-

ря наступила расплата. В тюрьму была введена воинская команда. Одного за другим нас подвергли обыску, отбирали книги, тетради, грифельные доски и т. д. Обысканные и обобранные поднимали протестующий шум: стучали в дверь, пели революционные песни, издавали крики, осыпали руганью начальство. К тому времени, когда очередь дошла до меня, вся тюрьма грохотала, пела, ревела. Вваливается куча надзирателей и солдат, оттесняя меня в угол, к окну. За ними появляются начальник, помощник и воинский начальник. Все они взволнованы, озлоблены. Весь красный, Зимберг обращается ко мне: – Вороницын пел... По приказанию Тюремного управления на него налагается наказание: лишение выписки, переписки, чтения книг, курения табаку и карцер...».

Конечно, с проведением подобных акций одному Зимбергу было не справиться. Под его командой находилась прорва помощников, старших надзирателей, просто надзирателей, постовых и прочих. Да и количество заключенных росло так стремительно, что Зимберг уже не мог всех помнить в лицо. Среди помощников в это время выделялись Гурамов и Дергачёв.

Иван Вахтангович Гурамов был для Зимберга своеобразным громоотводом. О нем не без симпатии вспоминали и Вороницын, и Генкин, и другие каторжане. Вот, например, мнение Вороницына: «Помощник кн. Гурамов вообще играл в нашей жизни большую роль. Все дипломатические сношения между нами и начальством велись через него. Будучи по натуре человеком очень добрым, “князь”, как мы запросто его звали (другое прозвище у него было “кинтошка”), с большим удовольствием разыгрывал роль либерального тюремщика. Он обижался, когда Романов или кто-нибудь из неуравновешенных товарищей, перенося на него свой гнев и возмущение против на-

чальства вообще, начинали его честить словами, мало гармонирующими с положением и титулом “кинтошки”. Но репрессий от него в этот период мы не видели. В таких случаях он несколько дней дулся и на виноватого, и на всех нас, придерживаясь в разговоре официального тона... Но в конце концов дверь кого-нибудь из пользовавшихся его уважением открывалась в отсутствие надзирателя (у Гурамова от каждой камеры был свой ключ) и, весь красный от волнения, князь начинал выкладывать свою душу. Тут был и рассказ о том, как и почему он стал тюремщиком, – бедность, неподготовленность к другому труду, большое семейство и “не пойду же я в буфетчики”, и жалобы на то, что за доброту его держат в загоне, несмотря на чин (по чину он был выше Зимберга), и подробный рассказ о том, что он делает для всех заключенных и каждого в отдельности, и сообщение ряда конфиденциальных сведений, доказывающих, что он ничего от нас не скрывает». После такого излияния восстанавливались прежние отношения. Однако впоследствии и добрейший князь Гурамов сломался, как говорили каторжане – «испортился», стал более требовательным и строгим.

Другим помощником начальника каторги был старший надзиратель Дергачёв, молодой еще человек, сумевший поддаться к начальству и за пять лет службы вызвать к себе почти неограниченное доверие со стороны недоверчивого Зимберга. Вороницын всесторонне охарактеризовал его в книге «История одного каторжанина», понимая, что человек он исполнительный и, что большая редкость среди тюремщиков, – честный служака. Старший надзиратель в каторжной тюрьме – большая шишка, он, собственно говоря, второе после начальника по своему значению лицо. Начальник тюрьмы на старшего полагается сплошь и рядом гораздо больше, чем на своих по-

мощников, особенно если старший, что почти всегда бывает, его ставленник. Дергачёв и был таким ставленником Зимберга. Он глубоко постиг натуру Чухны, которого про себя презирал за грубость и лицемерие, и, проводя его тюремную политику, не перебарщивал ни в сторону излишней жестокости к заключенным, ни в сторону излишней мягкости. Но он никогда не менял своего изначально сложившегося мягкого отношения к тем политическим арестантам, с которыми общался, начиная свою карьеру – с момента основания Шлиссельбургской каторги в 1907 году. До поступления на казенную службу он был рабочим. Какая-то здоровая косточка с тех пор в нем, видимо, осталась.

Еще одним помощником был Талалаев. Этот яростный поклонник инструкции особо преследовал тех арестантов, которые, например, встречая его, не снимали шапки, не кричали: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» или совершали иные подобные «проступки». Понятно, особенно доставалось от него Жадановскому, более других к подобным нарушениям инструкции склонному. Талалаев не передавал Жадановскому писем от родных, а когда совсем скрыть их было невозможно, задерживал неделями. Письма, которые писал Жадановский, тоже неделями лежали неотправленными, и часто самые невинные места в них затушевывались. Талалаев послал в Петербург донос на самого Зимберга, мол, начальник потворствует группе политических арестантов, и это печально сказывается на поведении остальных заключенных. Уже послали для разборки помощника тюремного инспектора, но Талалаева в это время сняли с должности: проворовался. Однако были в помощниках у Зимберга субъекты, которые многократно превосходили Талалаева в жестокости. Например, один из них – Плечкайтис, на совести

которого было немало преступлений по отношению к арестантам. Но в Шлиссельбурге он появится в 1911 году, так что расскажем о нем позднее.

Однако жизнь в крепости не сводилась только к разного рода демонстрациям с пением революционных песен, празднованиям революционных дат и дней рождения товарищей, к единоборству с начальством и тому подобному. Политкаторжане в массе своей были людьми молодыми, не утратившими еще физических сил и, главное, бодрости духа. Сохранить по возможности крепость тела и несокрушимость духа было для них делом наиважнейшим, ибо без этого невозможно решить все другие проблемы, а когда вспыхнет революция, в неизбежность которой они свято верили, они должны будут встать в ряды ее борцов и быть непобедимыми.

При всех тюремных ограничениях старались соблюдать гигиену. Радовались, когда раздавали мыло, гребешки и прочие туалетные принадлежности. Счастливым событием была баня, особенно когда построили новую. Л. Н. Рубинштейн, друг Вороницына, вел дневник, к сожалению, весьма лаконичный. 10 апреля 1908 года он записывает: «Были в новой бане; она хороша, ходили по 10 человек». Жаль, конечно, что подобное событие случилось раз в десять дней. В бане не только мылись, но и дискутировали, причем весьма страстно. Именно в бане Серго Орджоникидзе получит сильнейший удар шайкой по голове от оппонента во время яростного спора. Но политические споры никогда не отражались на бытовых, товарищеских отношениях, желании помочь друг другу.

Понимая, насколько пагубны для здоровья холодные карцеры или неотапливаемые камеры, старались закалять себя, занимались физкультурой. Д. А. Трилиссер вспоминал, что в почете была система гимнастики датчанина

И. П. Мюллера, изложенная в книге «15 минут ежедневной работы для здоровья», ставшей популярной в России с 1904 года. Обливались холодной водой. Зимой начали выбегать на прогулку и на работу в бушлатах. На прогулках старались побольше бегать, прыгать, что надзиратели, естественно, пробовали пресекать. Но во время длительного отпуска Зимберга вместо него остался Гурамов, «калиф на час», как сам он отозвался о своей миссии. И заключенные сразу почувствовали значительные послабления. Вороницын писал, что самым ценным благом было то, что из выписанного через магазин транспорта книг для арестантской библиотеки ни одна не была возвращена Гурамовым обратно «как неподходящая для чтения заключенных». Списки на прогулки в это время каторжане составляли сами. На прогулках никакого благочиния от них не требовали, и они бегали, возились, играли в чехарду, в городки и иные игры – и это в кандалах!

Вот с работами наладилось не сразу. С самого начала политарестантам позволяли лишь топить печи, стирать белье, раздавать пищу, мостить двор – и то в одиночку. Но в том же 1907 году стали допускать и коллективные работы – по 2–2,5 часа во дворе в две смены, по 18 человек в каждой. Еще от народовольцев остались в 3-м корпусе две мастерские – переплетная и столярная, да на маленьком прогулочном дворе – небольшая оранжерея и пара грядок. Переплетную восстановили в самом начале преобразования Шлиссельбурга в каторжную тюрьму. Все остальное, в том числе и новые мастерские, начнет восстанавливаться или создаваться заново лишь со временем.

Однако главным для каторжан-политиков оставалась умственная работа. Сведения с воли, хотя и туго, но проникали за стены Нового Шлиссельбурга и, как писал Д. А. Трилиссер, «вызывали жажду серьезно заняться во-

просами политэкономии, историей рабочего движения за границей и у нас, историей вообще, социологией, философией, а многих интересовали и вопросы военного искусства». Маленькая тюремная библиотечка никого не могла удовлетворить. «Самым большим вопросом для нас был книжный вопрос», – писал Вороницын. Составленная инспектором Главного тюремного управления Сементовским, «старой тюремной крысой», библиотека состояла из книг духовно-нравственных и строго научных. Книг беллетристических не допускалось совершенно. Политическими и социальными вопросами заниматься тоже не разрешалось. Инспектор Сементовский был того мнения, что даже философия является в тюрьме чтением вредным, так как развивает у арестантов фантазию и «разные там идеи», а вот духовно-нравственные книги воспитывают смирение и покорность. Классиков русской и зарубежной литературы допускают в тюремную библиотеку лишь в 1912 году. «Конечно, я имею в виду не интеллигентов, а рабочих, крестьян, матросов и др. простых людей, – пытался смягчить свои выводы Сементовский, поглядывая на Вороницына поверх спускавшихся всегда на кончик носа очков. – Хотя, – продолжал он, – почему бы и вам, интеллигентам, не читать хотя бы Четьи-Минеи и другие благочестивые книги? Я сам читаю их и нахожу в этом чтении глубокое наслаждение. Вам нужно совершенно отрешиться от тех мыслей, которые завели вас сюда. Поэтому совершенно невозможно удовлетворить просьбу о допущении сочинений Маркса и подобных ему авторов. Вы говорите, что “Капитал” – научная книга. Пусть так, но вы из нее делаете вредные выводы. Политической экономией вы будете заниматься, когда выйдете на свободу и под руководством профессоров будете продолжать свое обучение. Что же касается

произведений изящной литературы, то здесь мы руководствуемся несколько иными соображениями. – Он несколько секунд колебался, потом, решившись, продолжал: – Для молодых людей при неизбежной в тюрьме праздности чтение таких книг вредно. Оно разжигает воображение и способствует развитию тайных пороков». Переубедить Сементовского было невозможно: он считал себя тонким знатоком человеческой натуры и всегда оставался при своем мнении.

И все-таки с появлением в каторжном центре политических заключенных библиотека начала формироваться. Поначалу в ней было примерно 200 экземпляров из книг, привезенных арестантами, и располагалась она на одной из лестничных площадок 3-го корпуса. Затем ей нашлось место в маленькой камере нижнего этажа, где раньше была переплетная мастерская. Зачинателями библиотеки и главными ее работниками вплоть до самого конца существования тюрьмы в феврале 1917 года были приговоренные к вечной каторге В. Д. Малашкин и В. О. Лихтенштадт. К 1916 году в ней насчитывалось уже почти 10 тысяч томов, и трудились пять библиотекарей, которые имели право свободно передвигаться по всем корпусам и камерам без ограничения времени на беседы с читателями. А поначалу, например, сидельцы 2-го корпуса не имели права пользоваться общей библиотекой – лишь той крошечной, состоявшей в основном из религиозной и нравоучительной литературы.

Каким же образом при всех запретах удалось собрать такую многотомную и качественную библиотеку? Какой-то минимум книг политические заключенные привозили с собой. Уже говорилось, что небольшую, но очень важную для него библиотечку привез из Смоленска Вороницын. Хорошо подобранное собрание философских трудов

имелось по прибытии в крепость у Лихтенштадта. Напрямую получать книги с воли от родных каторжанам запрещалось, но было множество способов этот запрет обойти. Например, изобразить дело так, что книги якобы прислали не родители, а уважаемая, высоко ценимая правительством благотворительная организация. Благотворители действительно вносили свой вклад в пополнение библиотеки. Много книг жертвовали передовые издатели того времени, особенно П. П. Сойкин. Как бы ни был арестант богат, а тратить на собственные нужды из личных денег он мог, как уже говорилось, не более 4 рублей 20 копеек в месяц. А вот на приобретение книг средства не ограничивались, что давало возможность некоторым выписывать их на 10–15 рублей ежемесячно. Конечно, все книги проходили строгую цензуру тюремного начальства, но обойти эту цензуру тоже особого труда не представляло. Например, спрятать под легкомысленной обложкой серьезное политическое исследование, ибо далее титульного листа надзиратели, особенно не очень грамотные, редко заглядывали. Однако все же это был рискованный способ. Обычно использовали другие. Например, подкупив кого-либо из надзирателей.

Но чтобы сообщить родным, какие именно книги требуются и как их можно передать, нужно было предварительно договориться с ними во время кратких и редких свиданий либо через переписку. Какими желанными и долгожданными были и свидания с родными, и коротенькие письма с воли, и небольшие посылки, как вдохновляли они арестантов и как беспощадно разочаровывали порой! Начальство использовало все это и как меру поощрения, и как меру наказания, било по самому святому и чувствительному, тем более что определенности, ясности, единообразия в этом деле долго не было. Главное тюремное управление,

да и начальство тюрем меняли эти правила постоянно. Так, по правилам 1908 года переписка разрешалась только «с прямыми родственниками по восходящей и нисходящей линии», что уж говорить о свиданиях и посылках! К тому же, начальство тюрем, даже рядовые надзиратели частенько распоряжались по-своему. Так, в Шлиссельбурге то, что дозволялось обитателям 1-го корпуса, было категорически недоступно арестантам 2-го. Окончательная инструкция Главного тюремного управления была издана и начала применяться лишь в 1909 году. Согласно ее указаниям, например, переписываться можно было с ближайшими родственниками по крови и законными женами. Более мягкие правила появятся лишь в 1912 году, а официально их издадут 28 декабря 1915 года. Но голь на выдумки хитра, и к каким только ухищрениям арестанты не прибегали, чтобы расширить круг своих адресатов!

Свидания обычно чаще огорчали. Их довольно подробно описали каторжанин В. Ф. Гончаров в статье «Связи с волей» (сборник «На каторжном острове»), А. Я. Бруштейн в книге «Цветы Шлиссельбурга» и некоторые другие авторы. Над свиданиями довлела строгая цензура. По воспоминаниям Гончарова, проходили они в специальной комнате, разделенной на две половины железной решеткой, сплошной от пола до потолка, а в аршине от нее были устроены для посетителей специальные стойла с проводочными сетками. Однако тюремщики не очень полагались на железные преграды: около каждого каторжанина стоял надзиратель и внимательно прислушивался к разговору. Разговаривать можно было лишь о домашних делах. И чуть разговор уклонялся от заданной темы, надзиратель направлял его в законное русло. Кроме надзирателей, между решеткой и «стойлами» находился еще старший надзиратель и зорко следил, чтобы руки арестан-

тов не протягивались навстречу родным. Кроме того, на половине каторжан сидел еще дежурный помощник начальника – для пущей важности и острастки. Гончаров писал, что такая обстановка убивала всякую словоохотливость, и, можно сказать, удовольствие получали только одни глаза.

Гончаров писал, что свидания разрешались без оговорок о числе посетителей один раз в месяц, но так часто имели их не более десяти человек, еще десятка два или три каторжан ходили на свидания значительно реже. Кое-кого проводывали с паспортами родных друзья или товарищи. Однажды случился провал – настолько не соответствовал указанный в паспорте возраст облику его предъявившего. Но дело закончилось лишь запретом входить провинившемуся в крепость. До начала XX века паспорта содержали только текстовые поля с перечислением антропометрических данных его владельца. Лишь с 1915 года, с распространением техники фотографирования, станет в паспорте обязательным фото владельца, и возможностей манипулировать этим документом заметно поубавится.

К Вороницыну, например, приходила на свидания якобы его сестра Евгения Петровна Вороницына. Приятель Ивана Петровича Л. Н. Рубинштейн в «Дневнике каторжанина», опубликованном в том же сборнике, что и воспоминания Гончарова, писал, что «у Вороницына было свидание, все передал», а в примечаниях к этой записи сказано: «Речь, возможно, идет о передаче на сохранение сестре И. П. Вороницына – Евгении Петровне Вороницыной воспоминаний и записок участников Севастопольского восстания». Но Евгения Петровна – это будущая жена Ивана Петровича. Хорошо, что отчества у них совпадали, и в паспорте, возможно, на самом деле принадлежавшем сестре Вороницына Елене, пришлось подделать

только имя. Но как в условиях, когда невозможно было передать даже маленькую записку, удалось вручить «сестре» такую кипу рукописей? Скорее всего, получила их Евгения Петровна не во время свидания и не без помощи так называемого «голубя» – о подобных «птицах» у нас еще пойдет речь. Арестанты бережно хранили тайны своих свиданий и переписки даже от близких друзей, боясь случайного провала.

А вот как описывает А. Я. Бруштейн в книге «Цветы Шлиссельбурга» свидание Марины Львовны Лихтенштадт с сыном Володей. Если есть какие-то разночтения с Гончаровым, они вполне объяснимы: правила, организация, устройство свиданий постоянно менялись. Александра Яковлевна пишет: «Мать и сын были разделены двумя высокими, почти до потолка, деревянными перегородками и прорезанным в каждой из них окошечком – такие бывают в билетных кассах театров и вокзалов. Оба окошечка были забраны частой проволоочной сеткой. В проходе между обеими перегородками все время вышагивали надзиратели, слушая разговор от слова до слова. Свидание продолжалось ровно четверть часа. Пятнадцатая минута истекала – оба окошечка захлопывались, иногда на полуслове. Слова прощания произносились уже после этого, так сказать, вслепую. Точно так же захлопывались окошечки неизбежно всякий раз, когда разговор “съезжал” к запретным темам, например, касался политических новостей. Но мать, конечно, все успевала подметить: как звучит голос сына, какое у него лицо, взгляд, а, значит, и настроение...».

Долго не было четких правил и по поводу переписки. Когда Вороницын и его товарищи только появились в Шлиссельбурге, им зачитали довольно либеральную инструкцию. Она не ограничивала выписку продуктов на собственные деньги, свидания с родными, приобретение

книг и так далее. Что касается переписки, в первый месяц разрешалось послать на волю одно письмо, во второй – два, в третий – три, в дальнейшем – по одному письму в неделю. Количество писем, получаемых с воли, инструкция не ограничивала вообще. Но спустя несколько дней Зимберг познакомил арестантов с совсем другими правилами, срочно выработанными Главным тюремным управлением первоначально персонально для Шлиссельбурга, позднее ставшими основой инструкций для всех каторжных тюрем. Отныне письма разрешалось писать только раз в месяц и лишь ближайшим родственникам по крови и законным женам. Впрочем, эти правила тоже будут меняться очень часто. Но каторжане научатся обходить самые строгие из них. Да и начальство то придиралось к любому пустяку, то смотрело сквозь пальцы на явные нарушения. Например, как писал Вороницын, «на то, что, подписываясь братом или сестрой, нам писали лица явно не родственные».

Поначалу новая инструкция позволяла политическим заключенным писать два раза в месяц на двух и более листах почтовой бумаги. Когда же дозволили писать лишь раз в месяц и на одном листе почтовой бумаги обычного формата, арестанты пошли на разные уловки. Например, писали одно письмо, а предназначалось оно нескольким лицам. Писали так мелко, что вместо одной строчки между линейками умещалось четыре. Часто князь Гурамов, который отвечал за переписку, возвращал письмо обратно, говоря, что даже с лупой он ничего не может разобрать. Он жаловался, что у него теряется зрение от чтения подобных писем, но, как отмечал Вороницын, «уговорить его пропустить “в последний раз” так мелко написанное ничего не стоило». Однако с 1915 года начнут официально требовать «писания только по линейкам».

Содержание писем ограничивалось личными и семейными сведениями. Как писал В. Ф. Гончаров в статье «Связи с волей» (сборник «На каторжном острове»), «это обстоятельство открывало тюремным цензорам широкий простор к вымарыванию всего, что им почему-либо не нравилось». Типографской краской или тушью цензоры заливали листы чуть ли не полностью или даже конфисковывали письма целиком. Вороницын вспоминал, как Мазин тыкал в нос растерявшемуся помощнику полученное им письмо, которое начиналось словами: «Дорогой Антоша». За этими словами следовало черное поле, которое переходило на вторую страницу, со второй – на третью и четвертую, и только на самом низу из этого потока выплывало: «любящая тебя имярек». «“Это не я просматривал, а сам начальник”, – оправдывался князь, чувствуя, что это действительно тот пересол, которому не миновать отразиться на спине его».

Чтобы подобное не повторялось, у каторжан и их адресатов выработался особый письменный язык, «в сравнении с которым, – отмечал Вороницын, – эзоповский язык русских публицистов, обходивших цензурные рогатки, казался незавуалированной откровенностью». Например, писали о некоем Степане Дмитриевиче, имея в виду понятие «социал-демократ». Подробно описывая перипетии жизни этого пресловутого дядюшки, корреспонденты наших каторжан вводили их в курс политической борьбы: «...Сообразительностью шлиссельбургские тюремщики вообще не отличались, и, зачеркивая часто совершенно невинные фразы, они пропускали в письмах... такие, например, места: “До сих пор мне никто не пишет, как поживает маленькая Домна. На днях ее должны были привезти к вам в Питер. Как она вообще чувствует себя? Прорезались ли у нее зубки, говорит ли она что-нибудь?»

...Живет ли дядя Петр Столпинский все еще на Кабинетной улице? Мне кажется, что кто-то писал, что он хочет переехать со всей семьей с этой квартиры...». Речь шла о созыве Думы, о составе и численности левых партий, о предполагаемой отставке кабинета Столыпина, но цензоры не понимали ни вопросов, ни соответствующих на них ответов, хотя их суть была ясна каждому, кто следил за политикой тех лет».

Не вызывали подозрения и даже почти не просматривались тюремной администрацией письма, написанные старческим почерком якобы малограмотных матерей.

Искали и использовали различные нелегальные способы передачи информации, когда по-другому передавать ее было просто невозможно. Чаще всего корреспонденты пользовались симпатическими чернилами, недоступными обычным жандармским реактивам и простым способам проявления. Иногда под видом родных посылали письма друзья по партии. Так, И. Г. Гамбург в течение длительного времени писала из Лондона «сестра Маруся» (Кузнецова). Между строк безобидных семейных сообщений фенолфталеином она описывала очень важные политические события, а он ей нужную информацию сообщал на внутренней части конвертов, используя сок лимона или лука. Как уже говорилось, у каждого были свои секреты.

Особенно настороженно тюремная администрация относилась к переписке арестантов 2-го корпуса, куда, как уже упоминалось, сажали самых опасных преступников. Как и каторжанам других корпусов, им разрешалось писать раз в месяц на одном листке почтовой бумаги и только родственникам по крови. Но процедура написания и содержание писем были иными. Утром во время проверки желающих написать письмо должен был сообщить об

этом старшему надзирателю. Тот наводил справки в конторе и либо отказывал («срок еще не вышел»), либо разрешал. Писать вызывали в коридор, где торжественно вручали перо, бумагу и чернила, так как в камерах этого корпуса подобные предметы хранить не дозволялось. Сообщать можно было исключительно о здоровье. Был такой случай. Некто в самых общих чертах описал жизнь во 2-м корпусе. Зимберг сам возвратил письмо обратно и вечером на поверке сказал, что он вышибет «дурные мысли из башки у всякого, кто вздумает подобное писать». Автора лишили права переписки на полгода и посадили в карцер на семь суток.

Понятно, как радовались в тюрьме каждой пришедшей с воли весточке, как расцветала арестантская душа, получая дорогие послания! Но хотелось получать не только письма, но и периодику (хотя бы вырезки из некоторых газет и журналов), книги, которые никогда не пропустила бы тюремная администрация, и другие печатные материалы. Тем более передавать на волю написанное в тюрьме, весьма объемное и недопустимое по содержанию. Вспомним, каковы были условия свиданий! Вороницын передал своей невесте воспоминания участников Севастопольского восстания явно не без чьей-то помощи. Даже в каторжной тюрьме всегда была возможность завести «почтового голубя» – кого-то из уважаемых начальством служаков, которые за внушительную сумму соглашались быть связующим звеном между каторгой и волей.

Вот и политические арестанты Шлиссельбурга уже с конца 1908 года после долгих поисков нащупали такого «голубя». За значительное вознаграждение эту роль согласился играть один из надзирателей, пользовавшийся особенным доверием Зимберга, – эстонец Ребана. А в городе Шлиссельбурге, расположенном на левом берегу Невы,

в ее устье, нашелся владелец аптекарского магазина, который взял на себя обязанности посредника между волей (Петербургом) и крепостью. В его магазине проходили встречи Ребаны и уполномоченного от воли. А уполномоченным от Петербурга в течение ряда лет был любимый сродный брат Ивана Вороницына Александр Васильевич Неустроев. Александр Васильевич служил в эти годы помощником присяжного поверенного в Петербурге. Со студенческих лет он прекрасно владел методами подпольной, нелегальной работы, активно применяя их на практике.

Многим шлиссельбуржцам, в том числе и таким близким к Вороницыну, как И. И. Генкин, и даже авторы наших дней, которым, казалось бы, все архивы открыты (например, М. В. Лаврентьев), и в голову не приходило, когда они писали об этой опасной роли Неустроева, что он – брат Вороницына. Так хорошо соблюдалась конспирация. Генкин в книге «Среди политкаторжан» (М., 1930) воссоздал свою картину этой смелой авантюры, приписав заслугу шлиссельбуржцу-эсеру А. П. Кругликову, человеку действительно предприимчивому, который, по словам Генкина, «от окружающей его обстановки и от окружающих его людей... извлекал максимум возможного»: «Кругликов первый как следует и надолго связал нелегально нашу тюрьму с волей. Очень ловко и хитроумно обратил он двух надзирателей в своих почтальонов, посылая их с тайными поручениями в Петербург к прис. пов. А. Неустроеву и через их посредство получал и свежие газеты, и наличные деньги, и даже особые, невидимые симпатические чернила, с помощью которых мы вели тайную переписку с волей на тех самых листиках бумаги, которые выдавались нам для писания писем, посылаемых через тюремную же контору».

А вот как эту комбинацию описывает в книге «История одного каторжанина» (М., 1927) сам Вороницын: «Постоянным нелегальным информатором тюрьмы был А. В. Неустроев, помощник присяжного поверенного в то время, который регулярно, химическими чернилами сообщал все животрепещущие новости политической жизни, пользуясь для этого не только письмами, но и различными каталогами и книгами, жертвуемыми им в тюремную библиотеку. Он же, когда установилась прямая почта, приезжал в Шлиссельбург, привозил увесистые пакеты с письмами, газетными вырезками и даже нелегальными партийными изданиями, встречался на квартире одного сочувствующего шлиссельбургского жителя с тюремным “голубем”, передавал ему деньги и вообще регулировал всю зависевшую от воли сторон нелегальную почту». Привозимые Неустроевым письма от родных и от партийных товарищей были такого содержания, что легально они до адресатов не дошли бы. В свою очередь, каторжане пересылали через него подробнейшие сообщения в Петербург. Почта эта действовала в течение многих месяцев и прервалась из-за перевода надзирателя на другую должность, так и не будучи обнаруженная начальством.

Вороницын умалчивает о своей роли в этом действе: не будь все это связано с младшим братом, Неустроев вряд ли стал бы так рисковать. Но Вороницын нигде не упоминает об их родстве. Да и в остальном его повествование неизмеримо точнее рассказа Генкина. Например, Вороницын пишет, что Неустроев – помощник присяжного поверенного, а не присяжный поверенный, как характеризует его Генкин.

Ребана через какое-то время был назначен старшим надзирателем и от выгодного в финансовом отношении, но очень опасного сотрудничества с политкаторжанами

отказался. Однако вряд ли сие доходное место в дальнейшем пустовало. Доказательством тому может служить хотя бы то, что тюремная библиотека до самого конца своего существования пополнялась весьма крамольными изданиями. А библиотека в жизни каторжан играла колоссальную роль, ибо в чтение втягивалось все большее и большее их число. Ее читателями становились даже те, кто попадал в тюрьму малограмотным или даже совсем неграмотным.

В. Я. Ильмас прибыл в Шлиссельбургскую крепость 11 сентября 1908 года с партией из 80 человек, среди которых преобладали уголовники, политических было всего 15–20. Поселили их в самый опальный корпус – второй. Камеры переполнены, политические и уголовные – вперемешку. Тюремщики надеялись, что начнутся между ними бесконечные разборки, но однокамерники сдружились, начали жить коммунами, заниматься образованием. Ильмас вспоминал: «В моей камере... мы занимались преимущественно языками, преподавали арифметику, грамматику и синтаксис солдатам и крестьянам. Были и общие камерные чтения». Что уж говорить о других корпусах, где порядки бы-



**В. Я. Ильмас
в Шлиссельбургской
крепости. 1909 г.**

ли намного мягче, чем во втором? Вороницын, например, не мог назвать почти ни одного заключенного, кто не занимался бы учебой. «Многие из рабочих и матросов, – писал он, – войдя в тюрьму людьми неразвитыми, даже малограмотными, становились интеллигентами в истинном смысле этого слова. Изучение иностранных языков особенно притягивало нашу публику. И не редкостью были товарищи, успевшие теоретически овладеть за время сидения двумя, тремя и даже четырьмя языками...»

Очень много для просвещения малограмотных и даже совсем неграмотных каторжан сделал неоспоримый глава политарестантов В. О. Лихтенштадт. Однажды после крупной тюремной истории его с целью изоляции перевели в камеру, где сидели одни уголовники, в том числе и крестьяне великорусских губерний. С жаром начал Лихтенштадт учить своих новых соседей чтению, письму, арифметике. В свою очередь, сам, со словарем Даля в руках, учился у них, заинтересовавшись особенностями и тонкостями диалектов различных губерний.

Увлечение чтением, наукой было всеобщим. Вороницын вспоминал: «В чтение, науку втягивались до такой степени, что некоторые других интересов, кроме умственных, не имели. Были среди нас и универсалисты, люди энциклопедической складки, интересующиеся решительно всем, жадно глотавшие, часто не переваривая, всякое знание. Были и специалисты, замыкавшиеся в узкую сферу вопросов избранной отрасли знания и не интересовавшиеся ничем, что из этой сферы выходило. Некоторые работали без всякой конкретной цели, без практических замыслов о будущем, погружаясь в науку, исключительно чтобы развиться, расширить свой горизонт; другие стремились создать что-нибудь свое, внести в науку новое; третьи, наконец, ставили себе практическую задачу под-

готовиться к профессии, иметь возможность по освобождению выдержать тот или иной экзамен, усовершенствоваться и т. д.

Мне часто приходил в голову вопрос, почему после стольких лет высокоинтеллектуальной жизни столь многих заключенных, и не только в Шлиссельбурге, но и в ряде других из огромного количества российских тюрем, мы ничего не видим от плодов этих работ, перед нами не встают новые имена, не появляются новые светила. Почему совсем иначе было с нашими предшественниками? Я затрудняюсь дать исчерпывающий ответ. Во всяком случае, тот ответ, который я даю себе, не претендует на полноту. Мне кажется, что причина этого факта кроется в том, что из тюрьмы мы были выброшены непосредственно в бурную жизнь революции. Практическая политическая работа захватила нас и не позволила реализовать накопленные знания. Тюрьма с ее почти монастырской оторванностью от жизни осталась бесконечно далеко, далеко не во времени, а далеко психически. Самое настроение стало другим. И к тому, что старательно, с любовью и надеждой накапливалось в течение долгих лет, жизнь не только не предъявляла спроса, но и с нашей стороны не могло быть предложения. А годы проходили, и умственный багаж неизбежно растеривался. Носители этих отвлеченных ценностей гибли физически. Погиб Б. П. Жадановский, весь этот десяток лет с беспримерной энергией работавший в области точных наук. Погиб В. О. Лихтенштадт, защищая Петроград от нашествия белых, и в его лице погибла огромная научная сила, светлый ум, соединенный с страстным темпераментом».

О Борисе Жадановском мы уже рассказывали. Стоит подробнее рассказать о замечательном друге Бориса Жадановского и Ивана Вороницына – Владимире Лихтен-



В. О. Лихтенштадт. 1906 г.

штадте, который давно уже присутствует на страницах нашей книги. Владимир Осипович Лихтенштадт (1882–1919) был любимцем и вожаком всей каторги. О нем писали многие, начиная с некролога И. И. Ионова, опубликованного на первой полосе «Петроградской правды» после гибели Лихтенштадта в октябре 1919 года, воспоминаний его товарищей по Шлиссельбургу и кончая многочисленными сочинениями разного жанра авторов наших дней. Владимира (вся каторга так и звала его – просто Владимир) любили за жесткую самодисциплину, необоримую выдержку, принципиальность, любовь к людям, даже весьма далеким от идеала, за стремление всех защитить, готовность с наказуемыми разделить их участь (и разделял!), за терпимость к чужому мнению и за многое другое. Но, пожалуй, самой главной его чертой была бесконечная любовь к знаниям и неумное желание поделиться этими знаниями с другими. Товарищи говорили, что, имея «характер строптивый и страстный», он «отметал всякую попытку согнуть, покорить его, заставить хоть в чем-то поступиться своими убеждениями».

Начальство, стремясь ограничить влияние Лихтенштадта на окружающих, постоянно переводило его из корпуса в корпус, из камеры в камеру, даже помещало в многолюдное содружество уголовников, но, как вспоминали товарищи, всюду «он вносил идеи коммуны, бодрости, жажды знания». Вот и с уголовниками, среди которых было много малограмотных или вообще безграмотных, он начинает, как мы уже говорили, вести занятия по раз-

ным предметам, беседует о разных интересных вещах. И люди потихоньку меняются к лучшему. А со временем, конечно без ведома начальства, он организует прямо-таки образцово-показательную школу, закупая на собственные средства учебники и всё для нее необходимое. И, конечно, каждую свободную минуту учится сам.

Родился Лихтенштадт в очень образованной, обеспеченной дворянской семье. Отец его, Осип (Иосиф) Моисеевич Лихтенштадт (1842–1896), был статским советником, литератором и известным судебным деятелем. Мать Марина Львовна, урожденная Гроссман (1852–1935), известная переводчица с французского, в юности состояла членом «Народной воли», а в годы заключения единственного и бесконечно любимого сына – создателем «Группы помощи заключенным Шлиссельбургской тюрьмы». Значение этой группы в жизни узников трудно переоценить. Марина Львовна стала родной матерью для всех политкаторжан.

Владимир получил блестящее образование. Учился в Лейпцигском университете и на математическом факультете Петербургского университета. Еще до того как попал в Шлиссельбург, где находился с 1908 по 1917 год, в совершенстве знал немецкий, английский и французский языки, хорошо – латынь и древнегреческий. В крепости изучил испанский, итальянский и датский. До 1905 года политикой не интересовался. Друживший с ним в Шлиссельбурге Вороницын писал: «В революции 1905 года он был человеком случайным, как сам он не раз говорил мне, рассказывая о своем прошлом. Общественные вопросы его почти не интересовали. И самое движение бурного года привлекло его к себе не социальной основой, не своим содержанием, а внешней красочной стороной, своим романтизмом», ибо он «был романтиком и импрессионистом; это было основ-

ное свойство его увлекающейся, вечно кипящей натуры». И идеалистом. Он всем интересовался, все переваривал и впитывал. И, конечно, постоянно менялся.

До ареста в основном три страсти владели Лихтенштадтом.

Первая – любовь к науке, особенно к философии и химии. Вороницын признавался: «В философии мы были тогда новичками, более или менее ухватывались за одну или другую доктрину без всякой подготовки и, естественно, “махиянствовали” больше, чем сам Мах, и стукались лбом о материю крепче, чем сам Плеханов. Но надо добром помянуть эти споры. Мало кто остался целиком на занятых тогда в пылу драки позициях, и вряд ли для кого-нибудь из этих “столкновений мнений” родилась истина. Но благодаря спорам каждый из нас, в первое время только нащупывавший то место в системе наук, к которому он наиболее склонен приложить свои силы, эту точку приложения нашел и осмыслил». Лихтенштадт – нашел и осмыслил. Как уже говорилось, это была философия, но философия идеалистическая. Вороницын писал: «...просматривая привезенные им с собой в Шлиссельбург книги, небольшую библиотечку любимых авторов, я недоумевал. Это сплошь была библиотека философского идеализма. Начались у нас споры, побудившие его обратить свои взоры в другую сторону. Он, кроме философских, начинает интересоваться и вопросами социальными и политическими. Новая среда с совершенно иными интересами, с традициями и революционным опытом привлекает к себе его, пылкого индивидуалиста и дилетанта в революции. Он долго не поддается».

Другой любимой его наукой была химия, что и привлекло к нему внимание эсеров-максималистов, готовящих покушения на царских министров, прежде всего на

председателя Совета министров П. А. Столыпина, и поручивших юному Лихтенштадту изготовить необходимые для терактов бомбы.

Сродни увлечению науками было увлечение переводами. В совершенстве зная несколько языков, Владимир переводил и научные труды, и популярную, и художественную литературу. Постигая музыку речи мастеров слова, Лихтенштадт, может быть, втайне даже от самого себя, мечтал приобщиться к этому священнодействию. Еще до ареста, в 1901 году, он успел перевести и издать две книги французского романиста и драматурга Альфонса Доде – «Маленький человек (История одного ребенка)» и «Заметки о жизни». Увлеченно работал Владимир над переводом вышедшей в Вене в 1902 году книги молодого австрийского философа и психолога Отто Вейнингера «Пол и характер. Принципиальное исследование», немедленно ставшей бестселлером. Автор, запутавшись в теориях и собственных жизненных ситуациях, в 23 года покончил жизнь самоубийством. Лихтенштадт считал книгу гениальной и мечтал поскорее опубликовать ее на русском языке. Занимался Владимир переводами И.-В. Гёте, Ш. Бодлера, М. Штирнера и других авторов.

Но, может быть, самой большой страстью Лихтенштадта была его любовь к молоденькой жене Марии Михайловне (в девичестве Звягиной). Они познакомились, когда студенту Петербургского университета Володе Лихтенштадту было 22 года, а Марии, слушательнице Высших женских курсов, – 18. Через два года, в 1905-м, они поженились. Это был тяжелейший год и для страны, и для Владимира, ставшего свидетелем Кровавого воскресенья. Потрясенный количеством невинных жертв, Лихтенштадт пересматривает свое отношение к революционному движению. Он не входит в боевую организацию эсеров-мак-

сималистов, о чем пишут некоторые авторы (он вообще до 1918 года не примыкает ни к какой партии), но разделяет их взгляды, намерения и соглашается им помогать. Трудится в лаборатории по изготовлению бомб и 12 августа 1906 года передает их эсерам, а те, переодевшись жандармами, приводят эти бомбы в действие на даче Столыпина на Аптекарском острове. В результате мощного взрыва погибло 27 человек, 33 были тяжело ранены, многие позднее скончались. Столыпин не пострадал. Начались массовые аресты. По делу о покушении на Столыпина 15 октября 1906 года были арестованы Лихтенштадт, его жена Мария и мать Марина Львовна. Мария содержалась в Доме предварительного заключения до 15 марта 1907 года, когда ее освободили «за недостаточностью улик». Марина Львовна сидела в Петербургской женской тюрьме вместе с проститутками и воровками, но и там продолжала трудиться над своими переводами. Немного позднее ее выпустили тоже.

Владимир же в ожидании суда почти десять месяцев провел в одиночной камере тюрьмы Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, не сомневаясь, что его ждет смертная казнь, ибо на допросе признался и в своем максимализме, и в изготовлении бомб. На одном из допросов он заявил: «...в возможность социального переворота не верю, террору большого значения не придаю, а некоторые его формы считаю недопустимыми, тем не менее, считаю террор проявлением мести по отношению к силам, враждебным конституционализму, и сочувствую людям, берущим на себя роль мстителей». От защиты отказался. Дело слушалось 21 августа 1907 года в Санкт-Петербургском военно-окружном суде. Лихтенштадта обвинили «в пособничестве производству взрыва на Аптекарском острове». Припомнили и другие случаи помощи террористам,

например содействие экспроприации средств в пользу революционеров в Фанерном переулке в 1901 году. Лихтенштадт тогда даже был арестован на короткое время. 22 августа 1907 года военно-окружной суд приговорил его к смертной казни через повешение. Вороницын вспоминал: «Смерти, как рассказывал он без всякого хвастовства, ждал он совершенно равнодушно. Его только волновала мысль, что он не закончит начатого в Петропавловской крепости перевода книги Отто Вейнингера “Пол и характер”. И он почти без отдыха, почти без сна работал над переводом этой, казавшейся ему тогда великой книги. Наконец, перевод закончен [он будет издан в Петербурге в 1908 году]. При конфирмации приговора смертная казнь, благодаря хлопотам и связям его родных, заменяется бессрочной каторгой». Так Лихтенштадт появляется в Шлиссельбурге, где проведет одиннадцать лет – будет освобожден Февральской революцией.

Однако расскажем о первых годах пребывания Лихтенштадта в суровой крепости. О том, что скоро он становится любимцем всей тюрьмы, что главной его страстью остается учиться самому и учить других, читать много книг и переводить лучшие из них, мы уже говорили. Еще до ареста, а также ожидая суда и уже в Шлиссельбурге, Владимир переводит с французского любимого поэта Шарля Бодлера. В его переводе в Петербурге в издательстве «Сириус» в 1908 году выходит книга Бодлера «Искания рая». Дважды в том же популярном издательстве – в 1906 и 1910 годах – увидела свет в переводе Лихтенштадта книга немецкого философа анархо-индивидуалистического толка Макса Штирнера (настоящие имя и фамилия – Каспар Шмидт. 1806–1856) «Единственный и его достояние» – самое известное произведение европейского анархизма, оказавшее большое влияние на развитие анар-

хизма, экзистенциализма, нигилизма и постмодернизма. Это настоящий гимн абсолютной свободе и индивидуализму. Но самой главной целью все эти годы Лихтенштадта-переводчика был Иоганн Вольфганг Гёте. В книгу, посвященную Гёте, войдут как сочинения великого автора, так и написанное Лихтенштадтом эссе «Гёте и философия природы», а также многочисленные комментарии переводчика. Над этой книгой Лихтенштадт будет работать долгие годы, но в свет она выйдет уже после его смерти в Госиздате в 1920-м, затем в 1922 году под названием «Гёте. Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания». Позднее появятся и другие ее переиздания.

Но и иные дела захватили Владимира в крепости. Как писала А. Я. Бруштейн в книге «Цветы Шлиссельбурга», посвященной его матери Марине Львовне, «в каторжной тюрьме множество дел, нужных для людей, необходимых им как воздух, как жизнь. Владимир окунается в это с головой. Библиотека, кружки, школа, мастерские, цветники, огороды, чужие болезни, чужие обиды – все это звало, требовало, подсказывало немедленные действия, немедленное участие, немедленную борьбу и протест».

Мы так подробно останавливаемся на этой фигуре, ибо Лихтенштадт был истинным, возможно, единственным настоящим другом для довольно замкнутого, не каждому раскрывавшегося до конца Вороницына. Марина Львовна запомнила Ивана Петровича как человека, отличающегося теплотой, сердечностью и вместе с тем поразительной скромностью. Друзья весьма существенно и явно в положительную сторону влияли друг на друга. И не разлучи их судьба перед самой революцией, не погибни Лихтенштадт так рано, возможно, совсем по-иному сложились бы жизни обоих. Вот и Александра Яковлевна

Бруштейн в числе главных товарищей Владимира называет Бориса Жадановского и Ивана Вороницына.

Понятно, какой трагедией была для Марины Львовны столь жестоко сложившаяся судьба ее единственного и горячо любимого сына. Она живет его письмами из крепости, редкими пятнадцатиминутными свиданиями (раз в месяц, а то и реже), когда можно увидеть сына через два зарешеченных окошечка, разделенных коридором с постоянно прогуливающимся по нему зрителем, который прислушивается к каждому их слову. Но и это крошечное счастье могло не состояться по любой, не зависящей от сына и матери причине, просто по прихоти администрации. Мать и материально по мере сил помогала сыну, но для Владимира любое благо не благо, если он не разделит его с товарищами. И Марина Львовна совершает истинный подвиг матери – она «усыновляет» всех арестантов.

Началось вроде бы с мелочей. Владимир посылал ей списки книг, нужных лично для него и для тюремной библиотеки, и она находила эти книги и отправляла их в Шлиссельбург. Посылал ей рецепты лекарств и очков – для всех заключенных. А. Я. Бруштейн писала: «Марина Львовна доставляла ему семена цветов, овощей, японского газона, луковицы лилий и тюльпанов, клубни георгинов для цветников, которые разбили заключенные. Она добывала и доставляла в тюрьму множество самых разнообразных вещей, включая метроном, понадобившийся для тюремного хора, или картон для библиотечной карточки. Марина Львовна добывала все, что могло служить “отдушиной” вечнику Владимиру и его товарищам по заключению». Но одной все это делать становилось не под силу. И тогда она создает небольшую «Группу помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной

тюрьмы» – как одну из ячеек разветвленной по всей России нелегальной организации политического Красного Креста. Группа была, конечно, нелегальной, небольшой (всего десять человек), не имела ни начальства, ни списка участников, ни адреса, ни печати. Трудились в ней добровольно, не получая за это никакой платы. Это был «негласный мир хороших людей».

Но средства, чтобы выполнять все заказы Владимира и его друзей, нужны были немалые. И члены группы зарабатывают их всеми возможными способами, чаще всего связанными с трудом самих заключенных. Например, они рекламировали и распространяли изделия таких крепостных мастерских, как мебельная, картонажная, переплетная... Хорошо раскупались «шлиссельбургские открытки», изящно скомпонованные из засушенных цветов и листьев, наклеенных на картон. Не зря Марина Львовна посылала сыну множество семян экзотических растений. Какие удивительные цветы выращивали Владимир и его друзья на земле своего узилища! А члены группы, привозя их в Петербург, составляли роскошные букеты, которые разносили по городу. Бруштейн пишет: «Разносили мы цветы по “хорошим людям”. Одни добровольно, охотно, иные с радостью давали на нашу работу деньги, иногда немалые. Кто они? Писатели, врачи, артисты, инженеры, общественные деятели...». Понимали, кем эти цветы выращены и на что пойдут полученные средства.

Но подобные светлые полосы жизни все же были редкими в невыносимом каторжном сидении, а начальство все закручивало и закручивало гайки. «Неминдальничество», в частности, проявилось в новой инструкции, составленной Зимбергом. Если раньше стражникам разрешалось применять оружие лишь в крайних случаях (например, заключенный пытается совершить побег, а у надзирателя нет

времени вызвать караул, или кто-то угрожает жизни другого), то ныне им давалось право стрелять в узника без всякого серьезного основания. В сочиненной Зимбергом и вывешенной во всех коридорах и камерах новой инструкции прямо говорилось: «Если кто-то ломает решетку или смотрит в окно и после тоекратного предупреждения не повинется тебе – стреляй!». «На испуг берет, Чухна проклятый, – решили каторжники и только смеялись: стрелять за то, что они будут смотреть в окно! – Да мы вот уже два года смотрим – и ничего».

Но надзиратели думали по-другому. Один из них сказал заключенным: «Патрон пятак стоит. А если застрелю арестанта, пять рублей награды дадут». И действительно, вскоре надзиратель Потапов, которого все знали как злого и сознательного негодяя, застрелил заключенного Краснобродского: тот, открыв форточку, стал кормить крошками голубей, что ранее делали многие и постоянно. После трех предупреждений Потапов метким выстрелом убил его, за что был награжден. Теплыми словами поблагодарил «героя» приехавший вскоре после убийства петербургский губернатор генерал Зиновьев. Заключенные в знак протеста, когда дежурил Потапов, на прогулку не выходили и объявили бойкот Зимбергу, автору зверской инструкции. Вороницын писал: «Нельзя сказать, что он был равнодушен к этому проявлению нашего негодования и презрения. Он несколько раз присылал к нам князя Гурамова с объяснениями, на которые мы упорно отвечали, что не желаем иметь дело с подлым убийцей. Разумеется, бойкот был ему неприятен исключительно как формальный акт, как акт непризнания его авторитета начальнического, как пренебрежение им. Мотивы бойкота для этого толстокожего карьериста были безразличны».

В начале лета 1909 года Зимберг решил отделаться хотя бы от части непокорного элемента. Главное тюремное управление пошло ему в этом навстречу и утвердило список «самых крамольных», состоящий чуть ли не из ста человек, распорядившись перевести их в Вологду. Тюрьма в Вологде была совсем недавно, как и большинство централов Европейской России, типичным арестантским исправительным отделением, но в связи с новыми веяниями преобразована в тюрьму каторжную. И бойкот постепенно сошел на нет.

Одним из первых отправили в Вологду Вороницына. Жалко было ему расставаться со многими старыми товарищами, даже с обжитой своей камерой № 37 третьего корпуса. Почему-то верилось, что он еще сюда вернется. И как уже говорилось, отправляясь в новую тюрьму, Вороницын, шутя, наказал друзьям камеру № 37 оставить за ним.

ВОЛОГОДСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ И ЯРОСЛАВСКИЙ АД

Новую главу доверим открыть самому Вороницыну. В книге «Из мрака каторги» он писал: «...Нас, после переодевания в старое барахло (не посылать же в чужую тюрьму хорошую одежду), после обычной сдачи-приемки, сопровождаемой обыском, после неизбежных криков, отбирания жестянок, стеклянных предметов и т. п., вывели за ворота. Глаза, отвыкшие уже за эти два с половиной года пребывания в ограниченном стенами пространстве от перспектив и простора, как-то ни на чем не могли остановиться. Калейдоскоп ярко-зеленых, голубых и серых красок – вот первое впечатление, которое дала мне “воля”. Постепенно начинаешь осваиваться: яркая молодая зелень берез, бурые и темно-зеленые тоны дальнего хвойного бора, стальные, поблескивающие солнечными бликами волны Невы, а направо бесконечно уходящая даль Ладоги. Небольшой пароход финляндской компании пыхтит у пристани, покачиваясь на волнах. По восходням мы всходим на него, спускаемся в каюту, занимаем места. Часть конвойных идет за нами, остальные остаются на палубе. Пронзительный свисток. Мы поворачиваемся. Стены крепости серо проплывают в окнах каюты. “Прощай или до свиданья?” – задаю я себе вопрос».

Вот и скрылись стены крепости. Среди отъезжающих царило подавленное настроение. Но постепенно ожидания и думы о будущем начали вытеснять думы о прошлом и только что пережитом. Прежде всего, нужно было пере-

знакомиться друг с другом, так как высылаемые сидели в разных камерах, в разных корпусах, и многие ранее даже не встречались. Необходимо было договориться, как совместно действовать в дальнейшем. Скоро в каюте не осталось молчаливых и мрачных, языки развязались, запахло дымком махорки, извлекаемой из потайных складок одежды...

Все думали, что придется помаяться в пересыльной тюрьме в Петербурге, известной своей канителью, тяготиной, но прямо с пристани арестантов повезли на вокзал Северной железной дороги. Снова откроем книгу Вороницына «Из мрака каторги» и прочитаем фрагмент весьма обширный, ибо это тот редкий случай, когда Иван Петрович приоткрывает свою душу, передает гамму чувств, охвативших его при мимолетном, косвенном соприкосновении с волей. Итак, он пишет: «Никогда не забуду я этого перехода по Петербургу. День клонился к вечеру, и хотя нагревшиеся за день мостовые и здания обдавали теплом, порывы свежего ветерка приятно ласкали разгоряченные духотой каюты и быстрой ходьбой лица. Даже самая пыль города, пахнувшая навозом, поднимаясь из-под наших ног, не казалась неприятной. Грохот встречаемых и обгонявших телег, хоть и резко ударял по нервам, привыкшим к тишине, казался, однако, сладкой музыкой. Все это была жизнь, вольная и кипучая, такая милая, хоть и чужая. Мимолетными гостями из мертвого царства прорезали мы ее, стараясь на лету схватить побольше впечатлений, запечатлеть в памяти ее звуки, краски, чтобы за теми стенами, которые снова замкнут нас, в тяжелые минуты в бледных образах воскрешать ее».

Много людей встречалось арестантам на этом пути. Одни останавливались и долго смотрели, пока колонна не скрывалась вдали. Другие окидывали их беглым взглядом

и спокойно шли дальше. Арестанты жадно вглядывались в эти лица, ища выражения приязни, симпатии. И сердце радостно билось, когда видели женщину со следами сочувствия на лице или старика, снявшего шляпу и долго-долго смотревшего им вслед. Или слышалось вдруг: «За нас они страдают», – и обнажалось несколько голов. Девушка с балкона бросила им цветы и деньги. А кто-то жадно вглядывался в их лица, возможно, в поисках близких, родных.

Вороницын пытается посмотреть на этот кандалный марш живых мертвецов в конце мая 1909 года глазами обывателя: «Окруженные опрятными фигурами конвойных, придерживающих левой рукой кобуру револьвера, в согнутой правой несущих обнаженную сверкающую шашку, по четверо в ряд идут люди. Согнутые под тяжестью мешков спины. У некоторых в руках пачки книг. Почти у каждого где-нибудь болтается жестяной или железный чайник. Под уродливыми серыми шапками-блинами изжелта-бледные лица, в большинстве измученные, изможденные, давно не бритые или заросшие бородой. Некоторые в очках. У всех коротко острижены волосы. Уродливая серая и грязная одежда... У идущих в передних рядах, кроме цепей на ногах, короткая двойная цепь на руках... И когда мимо и близко проходит этот мрачный кортеж, от него отдает каким-то кислым и острым противным запахом, запахом могильной плесени... Неудивительно, что и взгляды отвращения и презрения встречали мы. Часто грубое ругательство поражало наш слух. Взгляды, полные злорадства, взгляды врагов перекрещивались с нашими, вызывая в груди чувство бессильной злобы и ненависти».

Торопя, угрожая и покрикивая, пригнали их конвойные на вокзал, где еще долго пришлось ждать поезда.

Лишь поздней ночью отправляют арестантов в дальнейший путь. За окнами проносится «вольная волюшка» – поля, болота, угрюмые леса и веселые картинки празднования Троицы: украшенные зеленью станции, девушки в цветах и ярких лентах, с радостными улыбками пришедшие встречать поезд. Но их смех замирал при виде бледных лиц за решетчатыми окнами арестантского вагона...

Вот и Вологда. Долго ведут их от вокзала до острога, но не в старую пересыльную тюрьму, где когда-то уже довелось побывать Вороницыну. На заре своей революционной юности он провел здесь неделю. Настроение тогда было совсем иным: он был очень юн, полон надежд, и окружали его такие же молодые, веселые лица. Много пели, смеялись, буквально распираемые «бурливой кипящей революционностью». А сейчас ведут их вроде бы туда же, в бывшие арестантские отделения, но ставшие ныне каторжной тюрьмой.

История Вологодского централа такова. До середины XIX века на каторгу отправляли в основном в Сибирь, но в 1850-е годы появилась тенденция – ссылать на Европейский Север России. Однако для этого нужен был перевалочный пункт. Местом для него выбрали Вологду. В 1851 году началось строительство первого здания. Здесь регистрировали приговоренных, оформляли на них документы, чтобы затем препроводить туда, где имелись соответствующие учреждения (в Тотьму, Великий Устюг и т. д.). Постепенно перевалочный пункт превратился в обыкновенную провинциальную тюрьму, в которой срок отбывали только мужчины в возрасте от 17 до 60 лет, помещаемые сюда либо по распоряжению губернатора в административном порядке, либо по приговору суда. Ко времени реорганизации тюрьмы в каторжный острог и перевода сюда Вороницына с товарищами она уже представляла собой обширное

и многофункциональное заведение – целый городок из крупных зданий и небольших построек. Весь комплекс был рассчитан примерно на 600 заключенных – как политических, так и уголовных.

Самый первый двухэтажный деревянный корпус почти за 60 лет стал настолько ветхим, что когда тюрьму перевели в ранг каторжного централа, его пришлось срочно перестраивать, переоборудовать (в 1908–1909 годах). Еще в 1902 году начали строить каменное двухэтажное здание, на первом этаже которого разместились 23 одноместные камеры, карцеры и туалет, а на втором – мастерские (обувная, скорняжная, слесарная, гончарная и другие) и снова карцеры и туалет. Поблизости от арестантских домов находились церковь и трехэтажный каменный административный корпус, построенный в 1903 году. В нем, помимо канцелярских и прочих помещений, располагались квартиры начальника централа и его заместителей. В больших корпусах и в отдельных маленьких постройках помещались лазарет, прачечная, кухня, хлебопекарня, склад и прочее.

Штат острога состоял из начальника, его помощников или смотрителей отделений, тюремной стражи, надзирателей, священника и медицинского работника. В отличие от других тюрем, где к труду допускались лишь самые благонадежные, в Вологде обязаны были трудиться все. Особо опасные преступники работали в своих камерах. Помимо мастерских, которых во времена Вороницына было восемь, острог имел собственный кирпичный завод, «отдача от которого была весьма велика». Помимо этого, арестантов привлекали к работам в самом городе, где они поливали зеленые насаждения, чистили улицы. Они даже строили железную дорогу от Вологды до Архангельска. Плата за труды переводилась на счета осужденных, хотя

далеко не полностью. А вот огородов, к которым каторжане так привыкли в Шлиссельбурге и где так любили копаться на грядках, в Вологде не было. Всё, что требовалось острогу из выращиваемого на земле, приобреталось у местных купцов.

Но обратимся к моменту, когда арестанты, сойдя с поезда, только приближаются к острогу. Вороницын спрашивает у конвойного: «Много уже каторжан насладили туда?». На что тот отвечает: «Не, недавно только стали гонять». А на вопрос о начальнике отвечает: «Начальник военный, полковник, строгий такой, сердитый, брат. Порядки тоже, известно, каторжные. Боишься небось? Тоже и вашему брату тяжко. А ты того, подтянись...».

Когда заключенные теряли уже последние силы, показались унылые тюремные постройки. «Приняли нас не очень хорошо, – вспоминал Вороницын, – но и не слишком плохо. Обыск был тщательный, гнусный по своей бесцеремонности. Заставляли и нагибаться, и раскрывать рот. Словом, все говорило за то, что в Вологодском центре нам будет житья несладко. Не обошлось без столкновений с помощником и старшими, принимавшими нас. Но вопреки нашим ожиданиям, немедленной кары не последовало. Замечалось, скорее, какое-то недоумение, растерянность: что, мол, за гусей к нам прислали».

При обыске отобрали и то небольшое, что дозволил взять с собой шлиссельбургский конвой – чайники, кружки, книги... И. Генкин (его тоже перевели в Вологду) в мемуарах «По тюрьмам и этапам» добавлял, что отобрали даже стаканы, зубные щетки, расчески, мыло. Мол, каторжанам иметь частную собственность не полагается. Поначалу всех разместили в общих камерах. Бессрочников, конечно, отдельно. В одну камеру с Вороницыным попали, по его словам, «Дронов – солдат по делу о беспорядках

в Лодзинском гарнизоне, Хрулёв – кронштадтец, Киршенштейн – севастополец, солдат Брестского полка, Зинченко – эксист из Киева, Маклаков и Паслов – уголовные, Цеданский, Митин и Сметанников – рабочие из Питера». Фамилии остальных Вороницын припомнить не смог.

Вороницыну и другим бессрочникам пришлось столкнуться еще и с таким каторжным нововведением, как ручные кандалы. Поначалу они полагали, что их надели им лишь на время транспортировки из Шлиссельбурга в Вологду. Но когда, прибыв на место, потребовали ручные кандалы снять, им твердо пообещали, что носить их арестантам до окончания испытываемого срока. Позднее они узнают, что и в Шлиссельбурге вскоре после их отъезда ввели наручники, и стали они вводиться в это время во всех каторжных тюрьмах, но не одновременно, а поэтапно, ибо производство ручных кандалов не поспевало за спросом. Вороницыну, как писал он сам, «пришлось походить со скованными руками свыше пяти лет», а ножные кандалы он проносит около девяти лет.

Ручные оковы были одним из тяжелейших испытаний для каторжан: «Представьте себе два железных массивных браслета, обшитых кожей... плотно обхватывающих запястья рук. Эти браслеты имеют форму полуовала и не могут, подобно ножным браслетам, вращаться... Обе руки связаны двойной цепью. Цепь эта настолько коротка, что опустить руки по швам или одновременно засунуть их в карманы невозможно. Отодвинуть руки одну от другой можно лишь на расстояние не более 12 вершков». Конечно, трудновыносимы были и ножные кандалы, которые своим трением и тяжестью вызывали боль в ногах, боль в поясице – от ремня, притягивавшего цепь к поясу... Многие страдали от них ревматическими болями, расширением вен со всеми вытекающими последствиями (как

результат нарушения кровообращения в ногах, стянутых подкандальниками)... И все же к ножным кандалам как-то принаравливались. Они становились для арестантов, как писал Вороницын, «такой же естественной и незамечаемой принадлежностью костюма, как тяжелая одежда для обитателей полярных стран или узкая обувь с высокими каблучками для наших щеголих. Совсем иное дело – наручники, к ним привыкнуть и приспособиться невозможно. В течение дня малейшее движение вызывает боль, распространяющуюся и вверх по руке, и вниз на пальцы. Число движений неизбежно ограничено и усложнено тем, что за одной рукой всегда должна следовать вторая, и часто для движения правой руки требуется предварительное действие левой. Особенно болезненным было писание. Левая рука всегда мешала».

Чрезвычайно тяжело было с наручниками спать. Только долгая практика научила принимать во сне такое положение, чтобы неудобства были минимальными. Но никогда из-за них сон не был непрерывным и крепким. Руки затекали, долго не проходило ощущение бегающих мурашек, почти не сходили красные надавленные полосы на коже. Вороницын писал, что и через несколько лет после того как наручники с него сняли, он не мог отделаться от них окончательно. Подсознательная память о них была настолько сильна, что, просыпаясь, он «проделывал все те же осторожные движения руками, которые прежде были необходимы. Самое ощущение онемения в руках после сна долго не проходило». Конечно, было много попыток арестантов избавиться от этих оков хотя бы на ночь, тем более что снимались они относительно легко. Но надзиратели тут же пресекали подобные попытки. Не расковывали даже больных, даже чахоточных в последней стадии.

Другими несомненными минусами Вологодского централа были его вопиющая грязь и необустроенность. Уже внешне тюрьма производила самое безотрадное впечатление. «Всё в ней было старо и грязно. Клопы и тараканы гнездились массами во всех щелях. Парашечная вонь пропитала собой весь воздух в огромном каменном здании, – пишет Вороницын. – Нам выдали грязное, застиранное белье, коечный брезент тоже поражал своей грязнотой, а подстилок, обычных в других тюрьмах, на койки не полагалось». Генкин о вологодском «комфорте» отзывался так: «Камеры неуютные, грязные, воздух в них затхлый, провонявший; по обеим сторонам – брезентовые койки, грязные и засаленные, посредине деревянный стол со скамейками, на которые ночью опускаются койки; в углу около печки большая и высокая из котельного железа парашка, а напротив, в другом углу, прибита к стене деревянная, засиженная мухами и поблекшая икона с лубочно-аляповатым изображением Николая Чудотворца. Свету здесь очень мало: как раз перед нашим приходом, когда арестантские роты обращены были в каторжную тюрьму, окна были наполовину заложены камнями и зацементированы. В камере очень много народу».

Поскольку общие камеры были переполнены, заниматься самообразованием не было никакой возможности. «...С утра до вечера у нас стоял невообразимый шум и грохот: начались громкие перекрикивания из камеры в камеру, распевание песен; кто барабанит в дверь, кто гогочет или ржет, кто мяукает или лает» (И. Генкин). Не случайно многие просились в одиночки. Но и те оказались ничем не лучше общих камер. Кстати, начальство перевод в одиночки считало наказанием и переводило туда либо бессрочников (например, Вороницына), либо заядлых бунтарей. По описанию Генкина, одиночные камеры

«совсем недавно перестроены были из мастерских и занимали весь нижний этаж небольшого кирпичного здания. Всюду сырость и полумрак, по стенам струится вода, по деревянному полу ползают мокрицы. Окно высоко отстоит от земли, а форточек совсем нет: чтоб освежить воздух, приходится даже зимой открывать всю половину окна». В каждой одиночке помещалось по 2–3, а то и по 4 человека, из которых лишь один спал на кровати, остальные – на полу. Кроме того, почти у самого входа в корпус была устроена центральная выгребная яма, нечистоты из которой убирали не насосами, а ведрами. Вонь стояла невообразимая».

Возможно, Генкин, как всегда, что-то преувеличивал. Во всяком случае, Вороницын, переведенный в одиночную камеру, какое-то время обитал там один. Но описывал он ее тоже весьма негативно. Камера, по его словам, «представляла собой сравнительно большую – в 8 шагов в длину и в 4½ в ширину комнату... непривычно высокую, с деревянным полом. Она освещалась высоко расположенным небольшим окном, из которого видна была только тюремная ограда, а за ней поднимались вершины какой-то рощицы. Хотя и выбеленная сверху донизу, комната производила унылое впечатление. Прикрепленный к стене железный столик и такая же дощечка для сиденья находились почти в самом углу у окна, так что свет на них прямо не падал. Койка была обычного типа, подъемная, запирающаяся на замок. С середины потолка свешивалась керосиновая лампа. Неизбежная парашка в углу возле выкрашенного в черный цвет зеркала печи дополняла меблировку моего нового жилья. Оно мне не понравилось с первого взгляда, надо правду сказать. Несмотря на яркий солнечный день, было темно в ней. Мокрые стены испускали пронизывающую холодную сырость. На полу

толстым слоем лежала мокрая грязь и известь. Тюфяк на койке был жесткий и тоже грязный. Обыкновенные маленькие одиночки в благоустроенных тюрьмах как-то располагают к себе. Это же сараеобразное обиталище отталивало, предвещая безрадостное прозябание в будущем».

Явно обгонял Шлиссельбург Вологду по обустройству камер. Там уже освещали корпуса электричеством, в каждой камере был водопровод, вонючие параша заменили ватерклозетами, вместо печей корпуса обогревало водяное отопление. Да и питание было получше, хотя вроде бы в Вологде кормили по тем же самым нормам, разработанным в Главном тюремном управлении – в соответствии с «Нормативной табелью для продовольствия арестантов». Но указанное меню в Вологде постоянно не выдерживалось из-за отсутствия положенных продуктов. Да и квалификация местных поваров была явно не на высоте. Усугубляли положение и частые длительные посты, соблюдать которые приходилось обязательно всем, хотя среди заключенных далеко не все были православными, не говоря уже об атеистах, которых тоже хватало. В других тюрьмах постные недели перемежали со скоромными. Если в обычные дни спасала возможность купить на собственные деньги в тюремном ларьке то, что тебе по вкусу, в постные дни это было запрещено. Не дозволялось получать скоромные яства и в передачах или посылках с воли. Каторжане бунтовали не раз по этому поводу, отказываясь есть постылые блюда. Если и скоромная еда вкусом не отличалась, что уж говорить о постной! Как писал Генкин, «в обед приносят постную бурду, ужин – еще хуже». Вспоминая постоянно, как хорошо даже в пост кормили их в Шлиссельбурге, каторжане умалчивали о том, что в Шлиссельбурге ни о каких передачах или посылках с воли и речи не заходило, и в Вологде они стали «приятной неужи-

данностью». Кроме того, в Вологде спасал хлеб – его здесь пекли на удивление вкусный.

На первых порах арестанты-политики и тюремное начальство никак не могли установить не то чтобы дружеские, но хотя бы приемлемые отношения. Каторжане без конца бузили, выдвигали требования, чаще всего невыполнимые, пели революционные песни, организовывали разные протестные акции и полуголодовки – ели один хлеб, запивая его кипятком (мол, это лучше, чем хилые щи, которые подавались в пост, по крайней мере, чище)... А ведь начальство в первые годы существования Вологодского централа было весьма либеральным. Начальником тюрьмы служил подполковник Татаров, кавалерийский офицер, из-за болезни перешедший в тюремное ведомство и желавший одного – мирно и спокойно дожить до пенсии.

Таким же непрофессиональным тюремщиком был и его помощник П. В. Андреев, о котором Вороницын писал позднее так: «В тюремное ведомство он пришел из полиции, чтобы устраниваться от тревог и волнений, связанных с прежней службой, и чтобы, живя в губернском городе, иметь возможность отдать детей в учебные заведения. Не раз, я помню, жаловался он на судьбу, толкнувшую его на эту линию и заставлявшую дотянуть до пенсии на “собачьей”, как он говорил, должности». Конечно, среди других сослуживцев Татарова и Андреева было немало настроенных весьма агрессивно к арестантам, постоянно отравлявших, усложнявших их жизнь, типа старшего помощника начальника Меркурьева, но не они играли первую скрипку в этом заведении.

Не сразу оценили каторжане искренние усилия Татарова и Андреева разобраться в их бедах и, по возможности, чем-то помочь. Но и они не всегда в состоянии были это

сделать, коль подобное диктовалось свыше. Когда в ответ на некоторые требования заключенных Татаров только разводил руками, говоря: «Не от меня зависит. Я только исполнитель. Таковы предписания Государственного правления. А насчет наручников у меня имеется формальное распоряжение из Петербурга», – неслись вслед ему замечания: «Врет, сволочь! Форменный иезуит». И далее в еще более «энергичных выражениях» арестанты говорили всё, что думают. Так они начинали. «Мало-помалу, однако, – писал Вороницын, – жизнь стала налаживаться: образовалось некоторое равновесие в отношениях наших к начальству и начальства к нам. Надо отдать должное помощнику Андрееву: он в этот период нашей жизни, как и много раз впоследствии, сыграл роль доброго гения. Невзирая на наше будирование, пренебрегая моментами формальными, он, путем целого ряда услуг, всячески облегчая наше положение, достиг того, что между нами, с одной стороны, и им и начальником Татаровым – с другой, воцарились самые дружественные отношения. Обойти молчанием этих двух людей, не сказать о них то доброе, что сохранилось в памяти, было бы черной неблагодарностью. Ведь благодаря им, благодаря их гуманному отношению к нам этот период нашей жизни стал своего рода оазисом холодных черных лет. С чувством удовлетворения убедился в том, что такая оценка этих двух “тюремщиков” не есть плод моей личной симпатии. Мой товарищ по заключению И. Генкин тепло вспоминает о них в своих “Из воспоминаний политического каторжанина”».

Но это они осознают позднее. А пока бунтуют, требуют снять кандалы, не мучить их в посты нескоромной пищей, грубят надзирателям, шумят, демонстрируют свою революционность, смелость, непримиримость... Кричат ненавистному Меркурьеву, пригрозившему им

розгами: «Пш-шел вон! Собака! Палач!». Началась волынка, застрельщиками которой были, конечно, шлиссельбуржцы.

Но, как писал Вороницын, «за нами безропотно, а частью даже с охотой, пошли те политические и уголовные, которые прибыли в Вологду до нас». Когда споры по поводу ручных кандалов, постной пищи и некоторых других значимых для каторжан вопросов достигли апогея, обеспокоенное начальство пригласило врачебного инспектора Главного тюремного управления и посоветовало обратиться к нему со своими проблемами.

Вороницын вспоминал: «Мы тут же коллективно составили своего рода декларацию прав человека и каторжанина и начали ждать. Мне так часто приходилось принимать участие в составлении подобных меморандумов, что я и сейчас, по истечении многих лет, могу в общих чертах восстановить в памяти наш вологодский меморандум.

Он гласил приблизительно так:

“Мы, заключенные в Вологодской каторжной тюрьме политические каторжане, протестуем против того режима, который имеет в виду не только изолировать нас, побежденных революционеров, и тем лишить возможности продолжать борьбу, но и физически, и нравственно нас уничтожить.

Мы требуем, чтобы применяемый к нам режим был изменен следующим образом:

1) обязательные посты должны быть отменены, т. к. подавляющее число заключенных не исповедует фактически никакой религии, а среди религиозных имеются не только православные, но и лица других вероисповеданий; желающим поститься пища должна готовиться отдельно, как это предусмотрено “Положением” относительно иудеев и магометан;

2) пища должна быть улучшена, для чего необходимо увеличить суммы, отпускаемые на содержание заключенных, и предоставить заключенным право наблюдения и контроля над расходованием этих сумм;

3) выписка продуктов на собственные деньги должна производиться не реже, чем два раза в месяц, и без ограничения суммы расходуемых каждым заключенным денег; заключенные имеют право переводить свои деньги на имя неимущих товарищей;

4) должен быть введен институт выборных старост от каждой камеры и общего старосты для урегулирования сношений с начальством и между самими заключенными;

5) прекращение постоянных угроз розгами и карцером;

6) отмена унижительных для заключенных команд вроде “смирно”, “шапки долой”, “накройсь”; вежливое обращение как со стороны высшей администрации, так и со стороны чинов надзора;

7) тюремная библиотека передается в руки заключенных; наполнение ее книгами, как на казенные деньги, так и самими заключенными или их родственниками изъемлетсЯ из ведения священника и администрации;

8) все допущенные к обращению и не изъятые по суду книги и журналы должны быть без всяких ограничений разрешены; каждый заключенный имеет право одновременно иметь в камере и более двух книг, не считая пособий и справочных изданий, если это необходимо для его занятий;

9) число тетрадей не ограничивается; чернила и перья должны выдаваться не только для писания писем, но и для занятий;

10) переписка не ограничивается ни количеством писем, ни правом писать только ближайшим родственникам; свидания также должны разрешаться со всеми;

11) заключенным должно быть дано право иметь носовые платки, собственную посуду, полотенца, мыло, зубные щетки и порошок, чайники и стаканы;

12) серьезные больные должны немедленно переводиться в больницу; слабым больничная пища должна выдаваться в общие камеры; лекарства должны выдаваться на руки, а не храниться у надзирателя;

13) прогулка должна быть увеличена до двух часов в день;

14) ручные кандалы с бессрочников должны быть сняты; ножные кандалы должны обязательно сниматься в день истечения кандалного срока, а не задерживаться, как это имеет место, месяцами; скидка двух месяцев с года “исправляющимся” должна применяться ко всем без ограничений, и оканчивающие срок должны немедленно отправляться на поселение”».

Конечно, и Вороницын, и его товарищи понимали, что большинство их требований совершенно неприемлемо, что их выполнение не в компетенции тюремного начальства.

Но, как писал Иван Петрович, они «всегда считали долгом выдвигать программу-максимум, даже без всякой надежды на ее удовлетворение, рассчитывая, что требования-минимум» им удовлетворят рано или поздно. Тем более что они чувствовали: Татаров и Андреев готовы пойти на какие-то мелкие уступки и сделали бы это еще до приезда представителей Главного тюремного управления, если бы не яростное сопротивление губернских властей и таких его клеветников, как помощник Меркурьев.

И вот приехал из Петербурга от Главного тюремного управления врачебный инспектор и вроде бы пытался во всем разобраться. Правда, в камеру к бессрочникам не заглянул, а они готовились к разговору с ним более всех.

Вообще от разговоров уклонялся. Однако пригласил в контору представителей от камер, среди которых был и Вороницын. Некоторые из требований инспектор не захотел даже рассматривать как не подлежащие его компетенции; другие признал заслуживающими внимания и обещал поддержать их перед высшей инстанцией. И лишь совсем уж мелкие проблемы решил сразу. Например, решил выдачу лекарств арестантам на руки, изменил кое-какие порядки в больнице. Словом, результаты оказались ничтожными. Но настроение у каторжан поднялось. Решили, что смогут добиться большего.

Назревал взрыв, спровоцировать который мог любой пустяк. Кажется, Меркурьев кому-то нагрубил. Или кто-то из арестантов нагрубил Меркурьеву, и его посадили в карцер... Тюрьма взорвалась. Зазвучали революционные песни. «Наиболее азартные влезли на окна, – писал Вороницын. – По одному из них из револьвера выстрелил стоявший под окнами на посту надзиратель, подстреленный к этому помощником Меркурьевым. Пуля даже не попала в окно камеры, а впилась в стену здания. Но сам звук выстрела нас подшпорил. Гулко затрещали толстые дубовые двери под ударами скамеек. В открытые окна понеслись негодующие возгласы и угрозы. Пение революционных песен усилилось...»

Была вызвана воинская команда. Заводил-бессрочников и зачинщиков «бунта» начали выводить из общих камер и размещать в только что отремонтированные одиночки, откуда бузотёры еще пытались перекликаться друг с другом, петь песни, шуметь... Вспышка разрядила сгустившуюся атмосферу. От постной пищи продолжали отказываться наиболее стойкие, большинство же постепенно смирилось с ней. А затем и остальные махнули на это рукой, тем более что было позволено на свои деньги выписы-

вать все, что захочется. И постепенно отношения, как уже упоминалось ранее, между начальством и заключенными наладились, и жизнь в Вологодском центре запомнилась Вороницыну и его товарищам как самое светлое пятно в бесконечных мытарствах по тюрьмам и этапам.

Особенно сдружились политкаторжане со вторым помощником П. В. Андреевым. Когда-то он учился в реальном училище. Любил читать. Дома у него была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Его обязанностью было следить за книгами, поступающими арестантам с воли. И он пропускал явно крамольные, даже запрещенную периодику. Считая себя либералом, говорил: «Я не жандарм... Читайте всё что угодно и мне давайте интересные книги». Вороницын так писал об Андрееве: «Для нас он готов был разорваться. С первого же дня нашего перевода в одиночки он стал нашим почтальоном. Из одиночек в общие камеры и оттуда к нам доставлял он записки, передавал книги, устраивал денежные переводы. Он абонировался для нас в городской библиотеке и носил книги. Заведуя нашей перепиской, он не ограничивал нас числом писем и не особенно строго цензуровал их. Не раз приносил он мне письма нераспечатанными, со штемпелем только на конверте. Правда, когда он замечал, что любезностью его злоупотребляют, он начинал цензуровать “как полагается”, и часто тогда, улучив минуту для конфиденциальной беседы, не стеснялся в выражениях по адресу нарушителей доверия. “Идиоты, – говорил он тогда. – Ведь если это откроется, пострадают не только я, но и все вы. Ваши письма будет проверять Меркурьев, а уж он вам пропишет”. Он приносил нам свои собственные книги и не сердился, когда такие вещи, как арцыбашевский “Санин” или “Ключи счастья” Вербицкой, погуляв по рукам, возвращались к нему

в истерзанном виде. Он считал совершенно ненужным стеснением требование инструкции о том, чтобы книги приобретались для нас только через контору тюрьмы. Благодаря его полному пренебрежению этим правилом, я получал книги непосредственно от близких людей. Много книг приходило прямо из-за границы заказной бандеролью... Целый ряд других облегчений устраивал нам помощник Андреев. По мере наших возможностей мы старались не оставаться у него в долгу. Зная его стесненное материальное положение, мы одолжали ему деньги и не старались получить их с него обратно. Я писал французские сочинения его сыну, учившемуся в реальном училище, другой товарищ решал задачи и т. д.».

Начальник централа Татаров не был столь явно, активно снисходителен по отношению к заключенным, но вел себя так, словно не замечал вышеперечисленных вольностей. Вороницын характеризовал его следующим образом: «Подполковник Татаров так активно не проявлял своего расположения к нам. Но нужно иметь в виду, что без его согласия Андреев бы не делал многого из того, что так скрашивало нашу жизнь. Сам по себе Татаров был очень мягким человеком. Он только не был инициативен. И несомненно, что если бы возле него вместо Андреева был другой помощник, педант и формалист, он вряд ли особенно осаживал его. С другой стороны, он с нескрываемым отвращением и презрением относился к помощнику Меркурьеву, доносчику, трусу и карьеристу, третировавшему арестантов, когда они сами это позволяли, как каких-то низших существ. Татаров разрешал переписку и свидания между заключенными; в большие праздники с его позволения мы могли ходить “в гости” друг к другу и проводить в других одиночках и даже в общих камерах весь день. Все это были такие огромные отступления от

инструкции, что если бы весть о них дошла до центра, Татарову не поздоровилось бы».

Особенно мягко относился Татаров к бессрочным. Возможно, это было следствием его душевной доброты к несчастным, осужденным на вечное заключение. А может быть, чувствовал невольную вину за то, что, повинуясь приказу, вынужден был держать их в мучительных наручниках. Придумывая, как бы в этом плане бессрочникам помочь, он предложил следующий вариант. Работы в мастерских на всех не хватает. Но он даст возможность что-то делать в камерах, например шить наволочки, рубахи и т. д., и тогда сможет расковать работающих на целый день. Вороницын ответил ему, что очень благодарен за попытку облегчить их положение, но лично он от такого предложения отказывается, ибо ему жалко тратить время на такое глупое занятие, как шитье. Он предпочитает читать и заниматься не только вечерами, но и в течение дня. Далее между Вороницыным и Татаровым последовал такой диалог:

«– Чудак вы! Положите наволочку под подушку и занимайтесь чем хотите.

– Но ведь Грушицкий (старший надзиратель) будет требовать исполнения урока.

– Я скажу Грушицкому, чтобы он этого не требовал. Только вот что, голубчик. Нужно, чтобы у вас всегда было несколько штук готовых и одна начатая на случай, знаете, посещения... Можно, чтобы вам дали готовые наволочки, пусть они у вас лежат.

Я поблагодарил добряка за эту заботу, но предпочел самодично сшить несколько штук, которые долго пылились у меня в камере. Впоследствии, не помню уж по каким причинам, снимать наручники под предлогом работы стало невозможно. Тогда Татаров издал распоряжение, чтобы

они снимались с нас для умывания, для мытья пола в камере и т. д.».

Вообще-то Татаров очень редко бывал в камерах. Но однажды вдруг в неположенное время он неожиданно появился в камере Вороницына, один, без обычной свиты в лице помощника, старших и младших надзирателей. Когда закрылась дверь, он сел на койку Вороницына, посадил его рядом с собой и протянул ему номер «Нового времени», где в заметке «Проект амнистии по политическим делам» говорилось, что в Министерстве юстиции закончена разработка проекта амнистии по всем политическим преступлениям 1905 года, не связанным с уголовщиной. Перечислялись статьи, по которым амнистия будет применена полностью, по которым частично или совсем не будет применена. «Я просмотрел ваше дело, – сказал Татаров Вороницыну, – и, по-моему, вас освободят совершенно. От души поздравляю!» В ответ Вороницын рассмеялся, сказав, что наивно ждать амнистии в той политической обстановке, которая сложилась в России. На что добряк опечалился, но все же посчитал нужным подбодрить Ивана Петровича: «Ну, пусть сейчас реакция. Но она пройдет, уверяю вас, пройдет. Главное, не падайте духом».

Вороницын отнюдь не обольщался насчет «добряков» Татарова и Андреева. Он писал: «И Татаров, и Андреев, несмотря на все их личные добрые качества, все же были тюремщиками. А положение тюремщиков обязывало их применять к заключенным, при нарушении дисциплины, всевозможные кары, предусмотренные “Инструкцией”. Их либерализм, – хотя, вероятнее всего, это был даже не либерализм, а часто встречающееся на Руси обывательское прекраснодушие, – не выдерживал, когда ребром и открыто ставился вопрос: исполнить ли точно и со всей требуемой жестокостью букву “Инструкции” или поте-

рять все блага и преимущества, связанные с казенной службой. Так, когда один из посаженных в карцер заключенных во время проверки ударил по лицу осматривавшего его кандалы и грубо дернувшего его за них старшего надзирателя, начальник Татаров приказал его высечь розгами. Правда, следует вспомнить, что в карцер Татаров сажал редко и на малые сроки, а к розгам почти не прибегал».

Андреев тоже не раз лично распоряжался о помещении в карцер того или иного из заключенных. Вороницын вспоминал, как, весь красный от гнева, Андреев говорил: «Чтобы я из-за таких мерзавцев пошел по миру? У меня семья. Да и нельзя потакать им». И Вороницын делает заключение: «Надо иметь, конечно, в виду, что среди заключенных, особенно уголовных, действительно попадались форменные “мерзавцы”, совершенно не желавшие считаться с особенностями местного режима. Но именно в столкновениях с этими типами и проявлялись обычно скрытые качества наших добрых и либеральных тюремщиков. Я хочу сказать этим, что, выделяясь выгодно из своры палачей и деспотов, занимавших административные посты в тюремном ведомстве, такие люди, как Татаров и Андреев, все же были чиновниками, и специфическая кастовая психология чиновничества была им не чужда». Конечно, и Андреев, и Татаров держались за свою должность, ибо она обеспечивала им безбедное существование, но оба считали ее «собачьей», мечтая лишь о том, как бы дотянуть до пенсии. Но дотянуть до пенсии в Вологодском центре не удастся ни тому ни другому.

А пока арестанты под их присмотром живут неплохо. Вороницын первое время сидел в одиночной камере один, встречаясь с товарищами лишь на прогулках. Он писал об этом периоде: «Дни, как горошины, спокойно и ровно катились один за другим. Неприютная обстановка каме-

ры скрашивалась возможностью с утра до ночи сидеть за книгами, читать и писать, на прогулках – а мы в это время имели довольно долгие прогулки – можно было не только ходить непрерывно по кругу в паре с другим товарищем по взаимному желанию и выбору, но и сидеть на скамейке. Гулять можно было тоже с книжкой. И очень многие из гуляющих не теряли времени на праздную болтовню, а совмещали полезное с приятным».

Многим хотелось сидеть в одиночках, но их на всех желающих не хватало. Начали желающие проситься в квартиранты к владельцам подобных «хором». Скоро в одиночках стали сидеть и по два, и по три человека. Первоначально начальство не стремилось селить бессрочников к бессрочникам. Это ввели позднее, когда начали «закручивать гайки». Поначалу переезжали в одиночки по желанию. Так, в камере Вороницына появились малосрочный студент Богословский, бывший социал-демократ, а в ту пору «дикий», и бывший товарищ по партии севастополец Генкин. Камера была обширной, места всем хватало – не хватало мебели. Сверхкомплектным выдавались тюфяк и постельные принадлежности. Спать им приходилось на полу, обедать, заниматься, делать прочее – на табуретках, ибо единственный имевшийся стол был слишком мал. Вороницын вспоминал: «Вообще неудобств было немало, но с ними мирились. Помню, как долгое время столом для занятий мне служил стульчак парашки, а сиденьем – медный казенный чайник с положенной на него книгой». Богословский днем в камере почти не находился. Он помогал священнику в тюремной библиотеке, пел в хоре, читал в церкви «Апостол»... А с Генкиным они старались не мешать друг другу. Зато по ночам нервный и впечатлительный Генкин часто вскакивал, бредил, сонный ходил по камере. Пришлось даже на время отправить его

в психиатрическую лечебницу, откуда он скоро вернулся, возмущенный царившими там порядками. Кстати, Генкин в своей книге «По тюрьмам и этапам», рассказывая, как его перевели в одиночку, подробно описывая камеру, ни словом не поминает, что аборигеном ее был Вороницын, и вообще почти не пишет о нем. А ведь были соратниками со времен Севастополя! Видимо, не давал ему покоя авторитет Вороницына, несомненное его превосходство во всем.

Но со временем вольготная жизнь каторжан Вологодского централа кончилась. Сперва, в начале 1910 года, неожиданно перевели из Вологды Татарова, по словам Генкина – «куда-то на юг», по сведениям Вороницына – в Польшу. Вместо него начальником назначили ставленника губернатора, бывшего исправника Вологодской уездной полиции Воронца. Генкин так описывал его: «Огромнейшего роста, невероятной толщины, с колоссальным, свисающим в виде полушария животом, с большой, коротко и под машинку остриженной головой», с грубоватыми манерами и в то же время с тоненьким бабьим голосом. Арестанты гадали: что же заставило этого всегда меланхолично настроенного, недалекого, смешного толстяка сменить прибыльное место исправника в такой спокойной губернии, как Вологодская, на беспокойную роль вершителя судеб сотен арестантов каторжной тюрьмы? Стремление к карьерному росту? Или из-за чрезмерной тучности не мог он постоянно находиться в разъездах? Ходила меж каторжан молва, что место он, явный подкаблучник, сменил в угоду супруге, пожелавшей войти в круг избранных губернских дам. Тюремного дела он не знал совершенно. Не помогла и командировка по лучшим централам Петербурга, Москвы, Шлиссельбурга. Кроткий добряк по натуре, но уже испорченный полицейской

службой, слабовольный, нерешительный, он скоро попал под влияние таких, как его помощник Меркурьев, и «после побега его жены с одним молоденьким тюремным надзирателем почти совсем перестал вмешиваться в дела централа. Начались мелкие притеснения и ущемления. Участились многосуточные заключения в карцер. Ухудшилась и без того неважная пища. Наши вольности постепенно и понемногу начали урезываться. Мы пассивно сопротивлялись, поддерживаемые в этом помощником Андреевым, который моментами брал верх над Меркурьевым и подчинял себе Воронца. Но перелом чувствовался во всем».

Во второй половине 1910 года куда-то исчез и Андреев. Вороницын пишет: «Долго мы не знали, в чем дело, и постепенно только истина просочилась к нам. Оказалось, что в перехваченном письме одного из заключенных говорилось об устройстве побега, и для связи давался адрес помощника Андреева. Жандармы нагрянули к бедняге, и результаты обыска не оказались для него благоприятными. Он был уволен со службы и для пропитания своего большого семейства вынужден был поступить на скудно оплачиваемое место земского статистика». Каторжане лишились своего единственного защитника.

Еще хуже пошло дело, когда к концу лета 1910 года была учреждена Вологодская тюремная инспекция, и на пост губернского тюремного инспектора назначили титулярного советника А. В. Ефимова, до того служившего помощником тюремного инспектора Харьковской губернии. Он имел ученую степень и, как говорили, был даже приват-доцентом Харьковского университета, но променял стезю ученого на роль тюремщика. Прижимать начал постепенно. Попервоначально взялся за общие камеры, где сопротивление было послабее, ибо там преобладали, по

оценке Вороницына, «уголовники и неквалифицированные политические», потом и за одиночные. От мелочей переходил к серьезному. Начал с книг. Изъял всё, что казалось ему хоть сколько-нибудь вольнодумным. Запретил пользоваться книгами, принадлежащими другим заключенным. Возвел в постулат тюремную инструкцию, заставляя администрацию без всяких поблажек выполнять самые суровые и часто бессмысленные ее пункты. В одиночках срочных отделил от бессрочных, малосрочных – от долгосрочных. Ограничил переписку. Ввел постоянные обыски.

Вороницын пишет: «И без того нас обыскивали когда нужно и когда не нужно. Выходишь из камеры на прогулку – надзиратели ощупывают тебя с головы до ног, возвращаешься с прогулки – та же процедура; часто делали обыски и в камерах. Но теперь эти обыски превратились в своего рода погромы, для производства которых не довольствовались наличными надзирателями, а вызывались даже солдаты конвойной команды». В самое неожиданное время, чаще всего вечером, слышится топот ног и команды: «Встать! Смирно! Выходи в коридор!». Вышедших раздевают догола, и церемония начинается. Снова цитируем Вороницына: «И вас щупают, щупают до тошноты. И потом, одевшись, долго еще приходится стоять и прислушиваться к происходящей за дверями камеры возне. А из одной камеры в другую с деловым видом, с написанной на самодовольной роже торжественностью и сознанием важности совершаемого акта ходит Меркурьев. И когда, наконец, дверь открывается и запыхавшаяся, раскрасневшаяся орава выходит, неся с ликованием отобранные книги, бумагу, тетради, гвозди, железки, заменяющие ножи, и т. п. дрянь, нужную в арестантском обиходе и которая завтра же будет заменена новой, и вы вновь вступаете во вла-

дение своим жилищем, перед вами раскрывается картина форменного погрома. На затоптанном полу валяются тюфяк и постельные принадлежности, хлеб и съестное с полки перенесено куда-нибудь в угол, хорошо, если не на стульчак параша, из оставленных книг вылетели листы...».

Любое посещение тюрьмы Ефимовым заканчивалось неприятностями. Увидев, что во время прогулки кое-кто садится на скамейку, велел ее убрать. А ведь многие, ослабев в тюрьме, подолгу ходить не могли. Особенно любили Ефимов и его помощники, чтобы при их появлении незамедлительно, зычно, с рвением выкрикивали: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!», делая ударение на «высоко», и молниеносно оголяли головы при команде «Шапки долой!». Вообще обращение с осужденными было грубым и вызывающим. У сидевших, даже среди выдержавших многие испытания политических, стала проявляться усталость от борьбы за свои права и достоинство. Послышались речи, что гораздо лучше беречь свои силы, а может быть, и жизнь, до того момента, когда раскроются двери тюрем, и они встанут в ряды борцов. Поначалу Вороницын и его друзья с осуждением относились к этим товарищам, бойкотировали их, но к концу каторги такая непримиренность исчезла. «Мы сами продолжали бороться, – вспоминал Вороницын, – и, в конце концов, добились того, что нас оставили в покое, заставляя лишь время от времени пустячными наказаниями расплачиваться за достигнутые результаты. Нам удлинялись сроки, многие выходили на поселение гораздо позже покорившихся, имея с ними одинаковые приговоры. Зато самочувствие наше бывало совершенно иным».

Но начальство все наступало. Бессрочных разместили в правой части корпуса, а срочных – слева. Сношения

между ними с каждым днем становились все затруднительнее, пока бессрочных не изолировали совершенно. Да и среди бессрочников не было единоподушия, приходилось отбросить мысли о каком-нибудь общем выступлении. Вороницын так обрисовал свое состояние в это время: «Чтобы забыться, усиленно пижешь, читаешь. Наконец и работать не в состоянии. Мы набрасываемся на беллетристику. Целыми днями с утра до позднего вечера, лежа на кровати – у меня разгулялась обычная невралгия в спине – я перевожу вслух Дронову [соседу по камере] огромные романы Дюма... Мы читаем Сю, Поля Феваля, бесконечного Рокамболя. Другой беллетристики у нас нет, а эта бульварщина так легко уносит в мир сказочного вымысла, столь непохожего на мрачную действительность. О событиях в общем корпусе мы узнали стороной, и общую картину разыгравшейся там трагедии удалось составить лишь впоследствии».

Что же там произошло? А произошло, как писал Вороницын, следующее: «Во второй половине ноября, когда начавшийся филипповский пост принес с собой нам общее ухудшение и без того ставшей скверной пищи, мастеровые не только отказались от постной пищи, но и объявили забастовку. Мы догадались об этом, не слыша вечного грохота ткацких станков над головой, строгания рубанков и стука молотков. Потом нас несколько дней не выпускали на прогулку. Наконец нам было объявлено, что нам запрещено впредь до нового распоряжения писать письма. Перестали выдавать книги. В этих фактах отразилась вся история у нас. А там, в общем корпусе, произошло следующее...» – И далее Вороницын поведал об этом «следующем».

Отказ арестантов от пищи и от работы привел администрацию в весьма нервное состояние. Ефимов и уговари-

вал «бунтовщиков», и угрожал им. Когда часть мастеровых сдалась и приступила к работе, оставшихся начали тащить в мастерские насильно. Один из таких, анархист Воротилов, поднял в коридоре крик: «Товарищи! Помогите! Меня бьют!». Всполошился весь корпус. Начали стучать в двери, вызывать начальника. Вместо того чтобы вернуть Воротилова, заставить его признаться, что кричал он зря, никто его не бил, начальство решило прибегнуть к экзекуциям. Вороницын предполагал, что, возможно, «эта обструкция явилась тем удобным случаем, которого давно ждал Ефимов, чтобы выдвинуться перед высшим начальством». Была вызвана воинская часть. Наспех, не разбираясь, кто прав, кто виноват, составили список подлежащих порке, в который вошло до 160 человек. Порка продолжалась два дня. Секли и молодых, и старых, и интеллигентов, и простолюдинов, и участвовавших в забастовке, и не имевших к ней никакого отношения.

Несмотря на все старания начальства, слухи об этом темном деле проникли на волю. Появились сообщения в газетах. В Государственную Думу был сделан запрос «Об избиении политических в Вологодской каторге». Расправа в Вологде совпала по времени с подобной расправой в Зарентуйской тюрьме в Сибири, что еще более накалило общественное мнение. Главное тюремное управление вынуждено было начать следствие. Попытка сделать ответственными за происшедшее самих заключенных не удалась. Начальник Воронеж был отстранен от должности «за нераспорядительность», хотя виноват был лишь в том, что позволил своему прямому начальнику Ефимову распорядиться в тюрьме. Сам Ефимов оставался на своем месте до того вечера, когда в городском театре его серьезно ранила террористка – неизвестная девушка, благополучно скрывшаяся с места преступления, вернее, с места возмез-

дия. Впоследствии Ефимов был куда-то переведен – как полагал Вороницын, «несомненно, с повышением».

После удаления Воронца временным начальником тюрьмы назначили Меркурьева. Естественно, наказания и новые притеснения посыпались чередой. Проявилась вся ненависть Меркурьева к заключенным. Можно представить, какое настроение царило среди каторжан. Вороницын писал: «Я могу сказать про себя и Дронова: мы были на пороге самоубийства. Несколько дней, я помню, мы, никому не говоря ни слова, молча стали голодать. Я никак не могу себе сейчас представить, с какой целью мы это делали. Помню только, что это не был протест. Вероятно, мы имели в виду самоубийство, а может быть, хотели своим примером побудить остальных товарищей объявить голодовку, сообщив им уже на пятый или шестой день о своей. Но потом это настроение прошло, и мы решили ждать событий».

А события развивались не лучшим для них образом. Начальство решило, что нужно кардинально обновить состав заключенных Вологодской каторги и вместе с изгнанием неудобных изничтожить в ее стенах укоренившиеся вольнолюбивые помыслы. Для этого перевести в другие тюрьмы, в основном в Москву и Ярославль, самых яростных зачинщиков. В январе 1911 года начали, а затем и продолжили сие мероприятие. Коснулось оно и Вороницына. И начался для Ивана Петровича самый страшный этап его жизни. Грешно что-либо сочинять по этому поводу. Да и пересказывать его в данном случае непродуктивно. Не случайно глава книги «Из мрака каторги», посвященная пребыванию Вороницына на новом месте, называется «Ярославский ад». Лучше, чем сам свидетель этого ада, не расскажет о нем никто. Поэтому приведем далее краткий конспект этой главы:

«Скованных попарно наручниками, нас поздно вечером вывели из Вологодского централа. Чтобы сделать окончательно невозможным побег во время пути, изобретательное начальство придумало спаривать нас таким образом, чтобы к правой руке бессрочного или долгосрочного арестанта был за левую руку прикован малосрочный, которому в самом близком будущем предстоит выход на поселение. Кроме того, нас старались комбинировать еще и так, чтобы в каждой паре непременно один был политический и один уголовный – в расчете, что различие в психологии этих двух типов заключенных не позволит в течение одной ночи столкнуться и предпринять какой-нибудь отчаянный шаг.

Наша партия состояла более чем из 50 человек... Впереди нам предстояло пережить самое тяжелое и мрачное за всю нашу арестантскую карьеру. Ярославский централ наряду с Орловским, Псковским и немногими еще другими пользовался среди нас мрачной известностью. Если там не было избиений, как в Орле, где смертным боем били всякого вновь поступавшего, зато мы знали, жестокая порка угрожала в нем всякому, хоть в чем-нибудь нарушающему суровую дисциплину... Некоторые из нас на всякий случай покупали у солдат крестики, вспоминая, что всех “нехристей” в некоторых централах бьют особенно жестоко.

...Угрюмо отшагали мы в Ярославле 6 верст, которые отделяют вокзал от предместья Коровников, где находится централ. Вот и тюрьма. Огромная площадь земли занята многоэтажными постройками. Целый городок, обнесенный красной кирпичной стеной... Злые окрики надзирателей встретили нас, когда мы вошли в здание. “Шапки долой! Держи кандалы! Тише! Кандалы! Держи кандалы!.. Мать! Мать! Мать!” – только и слышалось. Мы

растерялись. Мы не понимали. Но поднесенные к носу кулаки, злобные взгляды, толчки и подзатыльники мигом пробудили в нас сообразительность. Нужно было натянуть вверх за ремень кандалы, чтобы они не издавали ни малейшего звона... И мы, скованные попарно, неся в свободной руке свои скудные пожитки, должны были ухитряться держать еще и кандалы на ходу так, чтобы они молчали. Хорошо еще, что мой уголовный собрат спустил в “очко” незадолго до отправки из Вологды все свои вещи, а на ногах у него, как у кончающего срок, цепей не было. Он взял мою сумку, и, вовремя натянув кандалы, я избегнул уже поднятого над моим затылком надзирательского кулака.

Последовала обычная приемка и обыск. Принимали старшие надзиратели с руганью и угрозами. Мы воздерживались от отпора, желая осмотреться сначала в новой обстановке и не нарваться на непоправимое. Все же кое-кому пришлось непосредственно отправиться в карцер... Обыск, приемка и переодевание в здешние костюмы кончились, из собственных вещей нам разрешено было брать в камеры только чайник и кружку. Но чай, сахар и другие съестные продукты были у нас отобраны. Нечего и говорить о том, что не разрешено было взять с собой книг и тетрадей, даже Евангелия были отобраны. Надзиратели острили: “У-у, сволочь... Читать захотел! В темном читаешь. Тут тебе каторга, а не ниверситет. Чего? Евангелье? Кому?.. Недостоин ты, каторжная морда, мать твою... святой книги”. Кто-то вздумал просить, чтоб ему оставили зубную щетку, порошок и мыло. “Мыло тебе? Слезами умоешься... – следовал поток отборной ругани. – Зубки чистить захотелось? Да ты кто такой? Ты забудь, сукин сын, что ты на воле, может, ахвицером был. Теперь ты преступник, каторжная твоя душа! Зубы я тебе буду теперь

чистить вот так...” – и огромный кулак недвусмысленно показал, как это делается...

Тут же нам было заявлено в виде коротенького приветствия: “Эй, вы! Слушай! – Оратором был красномордый, увешанный медалями “старшой”. – Вы тут у нас будете на особом положении. Зато чтобы не бунтовали. В одиночках будете сидеть месяц, вроде как на испытании. Которые малосрочные и поведение покажут хорошее, пойдут в общую, будут работать. Которые, значит, бессрочные и имеют большой срок, так будут сидеть тут до конца кандалного, значит, срока. А через месяц, если тоже будет хорошее поведение, получают выписку, книги и всё, что полагается”.

...Бессрочных разместили на самом верху. Одиночки оказались маленькими: четыре с половиной шага в длину и два с половиной в ширину. Когда мы четверо вошли в отведенную нам камеру, у нас сразу создалось ощущение невероятной тесноты: селетки в бочке. Единственная койка была поднята к стене и заперта на замок. Маленький железный столик и сиденье, прикрепленные к стене, опускались на шарнирах. В углу в деревянном стульчаке находилась парашка – небольшое терракотовое ведро с крышкой. В другом углу на маленькой полочке стояли: медная миска с тарелкой, кружка, кувшин маленький вместо чайника и кувшин большой для воды. На той же полке на гвозде висел тазик для умывания. Все эти предметы сверкали ярко начищенной медью... Окно было невысоко и выходило на прогулочный двор. Направо видны были окна расположенного под прямым углом к нашему другого крыла одиночного корпуса. За стеной виднелись какие-то склады, мещанские домики, огороды. За ними поднимались фабричные здания с высокими трубами. Вдали видны были перелески, и тонкой

лентой тянулась линия железной дороги. Волгу из нашего крыла видно не было.

Мы столпились у окна и стали разглядывать открывающуюся картину. Стук ключом в дверь оторвал нас от этого занятия: “В окно не смей смотреть и близко к окну не подходи!”. Через несколько минут тот же сигнал и окрик: “Отойди от двери, волчок закрываешь!”. ...В довершение всего оказалось, что и по камере ходить можно с большой осторожностью, ибо, когда один из нас сел у стенки, а другой на стульчаке парашки, двое же остальных стали топтаться на оставшемся свободном пространстве камеры, “дядька” не удовлетворился сигнализацией ключом, а открыл форточку: “Мать!.. мать!.. Вы чего расходились? Звенят кандалами, как оглашенные! Чтобы мне ни звука из камеры не было слышно”. Форточка закрылась, но через секунду опять открылась: “Встать! И чтобы каждый раз, как я али другой кто открывает форточку, вставали смирно! И громко не смей разговаривать, а не то в темный!..” “Я лучше пойду в карцер, – заявил я. – Там хоть кандалами можно будет звенеть, ходить можно будет, лежать, у двери стоять...” “Подожди еще, посмотрим, как оно дальше будет”, – решили остальные.

А дальше было вот что. Открылась дверь, и вошел отдельный, он же подстарший, Матвеев, черноусый, красивый парень с претензией на образованность. Он ввел нас в курс местных порядков, детально объяснив, чего мы можем и чего не можем. Не могли мы: курить – боже сохрани, “под ворота”, то есть порка; громко говорить, смеяться, звенеть кандалами, подходить к окну, к двери, сидеть или лежать в течение дня на полу (“на ночь выдадут тюфяки”), звонить в дверной звонок без особенной необходимости и т. д. и т. д. Могли мы только вести себя тихо-смирно. Мы обязаны были по свистку утром встать, одеться,

убрать постели, защелкнуть койку. По второму свистку, “на поверку”, мы должны были стать в ряд посредине оди-
ночки и стоять, пока не пройдет поверка. Боже сохрани
шевелиться, разговаривать. Темный на семь суток – пред-
упредил он, уже зная, как трудно простоять так иногда
час, а иногда и полтора, пока дойдет на 4-й этаж поверка.
После поверки обязаны убрать камеру. Чтобы пыли нигде
не было... Чтобы посуда была вычищена...

Дальше следовало: когда открывается форточка –
встать; вечером свисток на молитву – стоять смирно; про-
шла поверка – сразу ложиться и лежать молча; если нужно
встать по надобности, – кивок на парашку, – тихонько,
и чтобы кандалы не звенели... Матвеев вышел. Мы же
продолжали оценивать эти совершенно новые для нас по-
рядки. Потом прислушивались. В огромном корпусе с не-
сколькими сотнями заключенных царила мертвая
тишина... А ведь этажи были сквозными, то есть не имели
глухих полов, а только узенькая галерея возле дверей ка-
мер отделяла один этаж от другого.

Вечером зажглось электричество. Вделанная в потолок
маленькая лампочка, покрытая толстым и пыльным сте-
клом, давала только слабое подобие света. Послышался
свисток. Помня наставления отделенного, мы выстрои-
лись посреди камеры и терпеливо стали ждать. ...Послы-
шалось щелканье открываемых и закрываемых форточек.
Оно то приближалось, то отдалялось, затихая совсем, ког-
да поверка уходила в другое крыло, и снова раздавалось
под нами, всё выше и выше. Ноги занемели от “смирного”
стояния, и хотелось размяться, но, помня предупрежде-
ние и слыша под дверью шорох подкарауливавшего не-
терпеливых надзирателя, мы старались выдерживать. На-
конец, поверка у нас, наверху. ...В отверстии появляется
физиономия помощника, осматривает нас и исчезает.

Идущий за ним отделенный с силой захлопывает форточку. Мы облегченно вздыхаем, разминаем ноги и спешим к парашке покурить на сон грядущий. “Такая поверка ничего, – решаем мы. – Не видишь этих похабных рож”... Не успели раздеться, как щелкнул в коридоре выключатель, и электричество потухло. А было еще совсем рано. До утренней поверки предстояло провести почти 12 часов в постели. Мы тихо лежим, переваривая впечатления минувшего дня и стараясь заснуть. Но это не удастся. Что-то начинает ползать по телу, а специфический зуд скоро заставляет констатировать: вши... Кто-то встает, встряхивает одеяло. Другой рукой смахивает насекомых с подушек, с тюфяка... Усталость мало-помалу берет верх над зудом, и мы засыпаем.

Утром осматриваем одеяла и постели. Вшей так много, что нет охоты их бить. Вытряхиваем забравшихся в белье. После поверки чистим медную посуду. Сладковатый вкус кирпичной пыли наполняет рот. Чихаем непрерывно. Гнусное занятие! Гоняемся затем по углам за пылью. Время тянется убийственно медленно. На прогулку не вызывают – нет свободных надзирателей, очевидно. Наконец обед. Грязная водица с весьма слабым содержанием капусты и с ржавыми пятнами на поверхности. Гречневая каша, но ее так мало, что как будто и не ел: две столовые ложки, не больше. Встаем от обеда голодными, а хлеб приели еще утром с кипятком...

...Туберкулез и цинга снимали обильную жатву. Глухой кашель в разных концах здания целыми ночами звучал, смешиваясь с окриками надзирателей, возмущавшихся этим нарушением тишины. Без всякой серьезной помощи люди заживо гнили и разлагались среди здоровых, заражая их в неимоверной тесноте одиночек, убивая в них своими стонами и жалобами нравственную силу.

Бессрочных не брали в больницу даже умирать. Перед смертью с них не снимали ни ручных, ни ножных кандалов... Редкий день проходил без того, чтобы на кладбище не вывозили 3–4-х трупов. Один раз нам сообщили, что вывезли семерых.

Медицинской помощи мы фактически были лишены. Правда, врач при тюрьме был... В камеры к больным он не ходил. Как бы плох ни был больной, он должен спуститься с 4-го этажа на площадку, где за столом, окруженным надзирателями, сидит доктор... “Хочешь чахотку симулировать? Ну, посмотрим. Но знай, что если врешь, пойдешь “под ворота”. Он слушает небрежно, через рубашку... Для формы серьезным больным он давал ненужные и бесцельные в нашей обстановке лекарства.

...Правда, я видел только маленький кусочек этого огромного мертвого дома. Я наблюдал из своего угла в течение всего нескольких месяцев очень небольшие фрагменты этой жизни, полной ужасов, угнетения и унижения. Но того немногого, что я видел и слышал, достаточно, чтобы с полным правом назвать эту жизнь адом. Я видел в бане исполосованные багровыми рубцами спины и ягодицы и слышал рассказы не о том, как пороли, а о том, как заживали эти раны. Как в темном и узком carcere, осыпанные насекомыми, на грязных досках, прибитых к полу, лежали они без сна дни и ночи на животе и вынимали во мраке липкими от гноя и сукровицы пальцами занозы, застрявшие в мучительно горевших ранах. А на их просьбы позвать врача или фельдшера им отвечал грубый хохот. И мне называли фамилии тех, кто умер от заражения крови. Я слышал, как ночью, среди тишины, вдруг открывалась дверь одиночки. Громкий шепот, возня и недопустимо резкий, но какой-то безалаберный звон кандалов. Это вынимали из петли удавившегося.

На второй день меня отвели в карцер (за грубость надзирателю. – Н. А.)... Он имел треугольную форму. Возле самой двери на полу были постланы доски, на которых, скорчившись, можно было лежать. В остром углу находилась грелка парового отопления. Парашка стояла в ногах настилки. Разойтись там было негде. Два шага и стоп. Воздух был душный и тяжелый, пропитанный парашечными миазмами. Хотя и в камере у нас было душно и вонько, но, попав сюда, я почувствовал тошноту и головокружение. Пришлось лечь на полу и приложиться лицом к щели внизу двери: коридорный воздух казался замечательно свежим и чистым. Жара от грелки заставила меня раздеться. И все эти дни я одевался только к поверке. И днем и ночью пот лил с меня градом; на лице и на теле, скрепив пыль и грязь, он образовал серую полосатую кору. И от голода – хлеба давали очень мало, – и от жары я страшно отошал, и меня качало, когда я вышел из карцера...

Месяца через полтора нас повели, наконец, в баню. И пора было смыть эту грязь, переменить это кишевшее насекомыми и завонявшее белье. Перед баней отделенный нас предупредил: “Только живо всё чтобы было. Знайте, что на каждую партию полагается 15 минут от входа из камеры до прихода назад”. И вот нас, человек 20, гонят в баню. Наручники снимают внизу, на площадке. Пока подбирают ключи и открывают замки, проходит минут семь... В предбаннике мы с лихорадочной быстротой раздеваемся. Кальсоны, которые приходится протягивать сначала в одно кольцо, потом в другое, путаются в цепях. Пуговицы не расстегиваются. Мы моемся. Кранов всего 4, и вода течет медленно. Не успели еще намылиться, раздастся свисток: выходи... Кто теплой, кто холодной водой наспех смывает с себя мыло. Некоторые смогли только вылить на себя, не моясь, по шайке холодной воды...

Не вытираясь, не застегнув брючных пуговиц, держа в руках подкандальники, вылетаем мы из бани... Новое белье оказалось почти таким же вшивым и грязным, как снятое. Тело тоже не стало много чище после этой “бани”, но зато усилился зуд в нем: несмытое мыло, попав на искусанную насекомыми и раздраженную кожу, оказывает свое действие. Между тем на баню и усовершенствованную прачечную тратились огромные деньги, [которые] шли в карманы начальству.

...Я отказался ходить на прогулку. Я боялся, что дух протеста проснется во мне... и у меня не хватит силы ходить без шапки (при приближении начальства. – Н. А.). А это значило, что придется идти “под ворота”. Стоит ли ради проблематического блага четвертичасовой прогулки подвергаться такому страшному риску? А самое это хождение по кругу, без права перемолвиться словом с соседом, остановиться на мгновение, чтобы взглянуть на плывущее в небе облако, на высоко парящую птицу – разве это не мучение, не пытка? Я заявил, что не хочу гулять. Почему-то к этому не принуждали.

Приближалась Пасха, в воздухе пахло весной. Тоска разбирала все сильнее и сильнее. На авось я написал в Главное тюремное управление заявление о переводе меня в Шлиссельбург, мотивируя это ходатайство тем, что в Петербурге живет мой брат, с которым я желаю иметь свидания... Столкновений с надзирателями у меня больше не было. Мы тщательно следили за тем, чтобы в чем-нибудь не погрешить против бесчисленных предписаний, нас никто не навещал, а на мелочные придирки мы старались не обращать внимания.

...Разрешили нам и чтение книг. Тюремной библиотекой заведовал и здесь, как в Вологде, священник. Но какая разница между этими двумя служителями божьими. Во-

логодский отец Николай был сама доброта. Мы видели от него только хорошее. Здешний поп был форменной змеей и иезуитом. ...Он конфисковал у меня “Физиологические очерки” Сеченова. Кроме Сеченова, этой участи подверглось множество наших книг. В одном из трех моих писем, которые начальство соблаговолило пропустить, я писал: “Почти не читаю. Массу из моих книг не выдают: философия вся под запретом, беллетристику собственную нельзя, а из казенных – одну книгу на троих на неделю. Тетрадей не дают”. И только значительно позже в этой стороне режима последовали некоторые незначительные смягчения. Поп не стеснялся и просто замахоривать нравившиеся ему книги. У меня, например, он украл очень ценное издание редкой книги Дюпюи “Происхождение всех культов” на французском языке и несколько менее ценных книг. Интересы заключенных он не ставил ни во что. Выбирать книги по каталогу он считал роскошью...

Каждые десять дней нас посещал надзиратель-цирульник. И хотя у него не было ни бритвы, ни ножниц, а и голову, и бороду он обрабатывал тупой машинкой, в неумелых руках являющейся весьма серьезным орудием пытки, мы ждали его прихода с большим нетерпением. Он жалел нас и никогда не упускал случая оставить несколько щепоток махорки, если дежурный надзиратель не стоял над душой.

Наступило лето. Яркое солнце стало заглядывать к нам в окно. После долгих колебаний начальство согласилось выставить зимние рамы. От утренней поверки и до вечерней разрешалось открывать окно, и только ночью мы продолжали дышать парашечными испарениями. В каждой камере, на площадках и в коридоре появилась инструкция... о том, как уберечься от чахотки. Рекомендовалось не плевать на пол, не курить от одной папироски, не есть

из одной посуды; советовалось соблюдать чистоту собственного тела и камеры, побольше гулять на чистом воздухе и делать побольше движений. А под этими красиво отпечатанными и наклеенными на картон инструкциями, на тощих и грязных тюфяках, брошенных прямо на холодный асфальтовый пол, на тюфяках, ежедневно менявших своих владельцев, переходивших от больных к здоровым, болели в грязи, тесноте и духоте и умирали без помощи люди. В мае и июне смертность не ослабела, а все усиливалась.

20 июня, во втором своем письме из Ярославля, очевидно не прочитанном дежурным помощником и потому пропущенном, я писал: "Когда мне нечего читать, я читаю замечательное "Наставление для заключенных, как уберечь себя от заражения чахоткою в тюрьме", висящее у меня на стене. В нем говорится о том, что надо держать в чистоте кожу. И я думаю, как хорошо было в Шлисселе, где мы каждую неделю имели баню и чистое (чистое не в официальном только смысле, ибо мы сами его мыли) белье. И как скверно здесь, где я вот уже три недели хожу в одной смене белья, которое и получил-то вдобавок далеко не чистым. Как можно держать в чистоте кожу, когда и помыться-то не в чем и нечем, потому что в умывальный таз мы вынуждены из-за недостатка в посуде брать щи, а воду дают всего два раза в день и на питье, и на мытье посуды, которая обязательно должна быть чистой, и ее не хватает".

В июле вдруг разрешили курить и стали выдавать присылавшиеся из дому посылки. Режим как будто начал смягчаться. В первый раз за все эти полгода дали помыться в бане если не вволю, то все-таки по-человечески. Разрешили вынести проветрить одеяла и выколотить их. Наша энергия в борьбе с паразитами выросла. Мы принялись их истреблять. Сначала многими сотнями, потом сотнями не-

многими, наконец десятками. Я помню, как один раз, выкатавши из ворса суконного одеяла шесть десятков вшей и не находя их больше, я громко и радостно свистнул, рискуя попасть в темный. Эта тюремная “весна”, как и “вёсны” политические, кончилась сильными заморозками... Во второй половине июля отделенный Матвеев просунул мне в форточку бумажку. Это было извещение на имя начальника Ярославской каторжной тюрьмы о том, что Главное тюремное управление сочло возможным просьбу ссыльного каторжного такого-то о переводе его в Шлиссельбургскую каторжную тюрьму удовлетворить...».

Закончим на этом цитировать Вороницына. Перескажем своими словами, что произошло далее, во второй половине 1910 года. Месяц тянулся за месяцем – Вороницын терпеливо ждал. Успел за это время надерзить молодому помощнику начальника, порядочному хаму, ждал карцера, и вдруг на следующий день на поверке ему объявляют, что в 10 часов утра того же дня его возьмут на этап. Накормили его обедом, таким вкусным, какого не едал за все время пребывания в Ярославле, и повели в пересыльную тюрьму.

Вроде бы не так уж далеко от Ярославля до Шлиссельбурга, но помыкаться в дороге пришлось изрядно. В первых, чувствовалось враждебное отношение к арестантам со стороны вольной публики. В стране царила реакция, сумевшая повлиять на настроения многих. В Ярославле, Рыбинске, Пскове и в других городах во время хождений из тюрем на вокзал, с вокзалов – в тюрьму и на разных промежуточных станциях часто приходилось арестантам видеть угрожающие кулаки и слышать враждебные возгласы, адресованные именно политическим. «Выражений сочувствия в это время встречалось гораздо меньше, чем прежде и чем впоследствии, скажем, в 1916 году, когда мне снова пришлось попутешествовать этапным порядком», –

констатировал Вороницын. И со стороны конвойных солдат отношение ухудшилось. Не отличался приветливостью и персонал тюрьмы. В пересыльной тюрьме Петербурга партию принимал помощник по кличке Хулиган, прозванный так за свое безобразное, хулиганское отношение к заключенным. Так, после довольно острого диалога с Вороницыным он изрёк: «Так-с! Ты какой национальности? Хохлюга?». Вороницына прямо взорвало: «Не ты, а вы! А “хохлюга” – это слово хулиганское». Тот затопал ногами, заорал про розги, про карцер. Вороницын повернулся к нему спиной, но на Ивана Петровича набросилась свора надзирателей. Поволокли его в карцер.

Вот как описал он это столичное заведение: «Карцер был бы хорошим, если б не парашка без всякой крышки, испускавшая нестерпимое зловоние, и не сырость, сказывавшаяся мокрыми углами и липкой грязью на полу, к которой при ходьбе приставали кóты. В первый же день пребывания моего в этом карцере мои выбеленные и блестящие кандалы покрылись ржавчиной. Холодно там тоже было основательно, и по несколько раз в ночь приходилось вскакивать и беготней по камере согреваться. Особенно мерзли голые ноги, не обернутые портянками и всегда соприкасавшиеся с холодным железом кандалов». Хулиган назначил цену дешёвую – всего 7 суток, да и те отбыть Вороницыну не пришлось. Присоединили его к небольшой партии, отправляемой в Шлиссельбург, так что пробыл Иван Петрович в карцере всего пять с половиной суток. Но позднее, уже в Шлиссельбурге, припомнят ему и эти недосиженные дни, и последний карцер, которого, казалось бы, удалось избежать из-за этапа в Ярославле, присоединив его к заработанному уже на берегах Ладоги.

У ворот тюрьмы его ждали брат с женой и один знакомый, пришедшие проводить его до парохода. Иван Петро-

вич не уточняет, кто это был из братьев – Александр Неустроев или Сергей Вороницын. Скорее всего, Александр: с ним у Ивана отношения были теплее и доверительней. Да и известно, что жил он в это время в Петербурге, тогда как о Сергее подобных сведений не имеется. Конвой не подпустил их близко, только передал кое-что из съестного. По выражению их лиц Вороницын заключил, что впечатление от его вида у близких людей сложилось явно неблагоприятное. Но он понимал, что другого не могло и быть: «Пять суток холода и голода, шесть почти бессонных ночей не могли вызвать румянца на щеках. К желтизне и бледности прибавьте еще основательный слой карцерной грязи, покрасневшие и воспаленные веки... Ржавые кандалы и наручники, пожелтевшее от этой ржавчины и без того грязное рваньё, в которое я был облачен, – все это не способствовало презентабельности. Но я чувствовал себя бодро и весело. Черная полоса в моей каторге, я был уверен, осталась позади. Впереди предстояло свидание с товарищами и друзьями. Да и самую старую грозную крепость я любил, любил ее седые стены и громкий плеск ладожских волн. “Иоанн Златоуст” заревел своей давно по слуху знакомой мне сиреной, торжественно отчалил и, мощно рассекая воду острым носом, помчал нас навстречу Ладоге».

СНОВА В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

Даже издали, с Невы, бросались в глаза огромные перемены, происшедшие в крепости за годы отсутствия Вороницына. Позднее, в книге «Из мрака каторги», он так воспроизведет эти свои впечатления: «В южном конце острожка возвышалась мощная кирпичная громада IV корпуса, и его черные окна на красном фоне ровными рядами весело щурили свои глаза на окрестные дали. Старые стены, казалось, подогнулись, осели под этой непривычной тяжестью. Влево от собора, в том месте, где четырех с половиной саженная стена цитадели образует внутренний угол, бесформенно и нелепо выросла водонапорная башня, а рядом с нею высокая фабричная труба нежным абрисом выкидывала в небо черточку громоотвода. Новым золотом, в резкой дисгармонии с сединою стены, кричала над входною башней эмблема царизма и уже не внушала ни капельки той жути, которая охватила нас тогда, зимою, четыре с половиной года назад, когда наши кандалы впервые зазвенели под гулками сводами». Поразившая Вороницына шестизэтажная «кирпичная громада» четвертого корпуса была достроена в 1911 году, и отныне Шлиссельбургская крепость могла одновременно вмещать до 1700 заключенных.

Прибывших принимали не в старой постройке с подслеповатыми окнами, как раньше, а в «последнем слове тюремной техники» – четвертом корпусе. Поднявшись по широкой лестнице, Вороницын и его товарищи очутились в коридоре со сверкающим, черным, натертым вос-

ком асфальтовым полом. Над дверями, выходявшими в коридор, висели аккуратно прибитые таблички, сообщавшие, где находится приемная для вольных посетителей, где комната для свиданий, а где приемная для арестантов... Слева – кабинет начальника, канцелярия и т. д. Здесь же, в коридоре, висела табличка сигнальных звонков, находилась телефонная будка. Пересчитав, прибывших отвели в приемную, где их обыскали, переодели. Вся эта процедура, как вспоминал Вороницын, «проходила без суеты, без ругани, толчков и издевательств». Он сразу почувствовал, что не прогадал в тот мрачный день, когда отчаяние продиктовало ему мысль просить о возвращении в Шлиссельбург.

Среди многих новых лиц встретились и старые знакомцы. Вот бывший «голубь» Ребана деловито раздает новичкам белье и одежду. Ныне он заведует цейхгаузом. Встреча с Вороницыным его немного пугает, и, наскоро ответив на вопрос Ивана Петровича о его теперешнем, довольно высоком положении в крепости, он торопливо отходит в сторону. Еще более удивляет Вороницына главный старший надзиратель Дергачев, с которым у него были неплохие отношения во время предыдущего пребывания в Шлиссельбурге. Петербургский рабочий, которого, как он сам говорил, на тюремную службу загнала безработица, быстро приобрел исключительное доверие Зимберга, хотя и презирал того за грубость и лицемерие, был, как считал Вороницын, честный служака, особенно хорошо относившийся к тем заключенным, при которых начинал свою службу в 1907 году. Ныне он был не просто старшим, а главным среди старших надзирателей. В 1907 году он долго был дежурным на нижнем коридоре третьего корпуса. Грамотный и распорядительный, Дергачёв всегда был вежлив с политзаключенными, часто оказывал им

мелкие услуги, но упорно отказывался посредничать в сношениях с волей, несмотря на самые выгодные предложения. Он сразу узнал Вороницына и не побоялся отвести в сторону для разговора. Это показывало, насколько прочно было его положение.

Дергачёв рассказал Вороницыну, что хотя начальник – по-прежнему Зимберг, но помощники у него все новые. Прежний главный застрелился, и вот теперь он, Дергачёв, занимает в этой огромнейшей тюрьме столь ответственный пост, хотя он еще молод и не имеет большого стажа на данном поприще. Дергачёв пожаловался, что Зимберг во всем отдаёт предпочтение эстонцам: и в конторе работают эстонцы, и надзирателей он выбирает больше из эстонцев, некоторым устроил перевод из Ревеля и Петербурга. Доверяет им больше, хотя они воруют не меньше русских. Дергачёв рассказал Вороницыну, кто и где сидит из старых его друзей: Конторович – в одиночке четвертого корпуса. Жадановский и Лихтенштадт – в общих камерах третьего, но в разных. Их так рассадили, потому что начальник боится влияния друзей на остальных политических. Многие отправлены в Сибирь на поселение или в другие тюрьмы. Остальные – кто в третьем, кто в четвертом корпусах. На просьбу Вороницына определить его снова в третий корпус Дергачев ответил, что Зимберг велел посадить его в 8-ю камеру второго корпуса. «Он очень недоволен, что вас прислали обратно», – заключил Дергачёв. «Зато я доволен», – подумал Иван Петрович. Дергачёв сам отвел его к месту отсидки.

Узкий и мрачный проход сквозь толщу стены вел во двор второго корпуса. С внешней стороны он закрывался глухой калиткой, а в другом его конце виднелась массивная решетчатая дверь. И в начале прохода и в конце – по надзирателю. Чувствовалось, что в каторжном городе это

самое каторжное место. Вопреки ожиданиям Вороницына часть фруктовых деревьев, посаженных здесь еще народо-вольцами, сохранилась. А вот старых знакомцев – двух елей (одну посадила В. Н. Фигнер, другую – Л. А. Волкенштейн) – Вороницын не увидел: их срубили из-за слишком близкого соседства с окнами камер. Надзиратель открыл Дергачёву и Вороницыну массивную дверь. Они поднялись на второй этаж – и снова решетка, и снова надзиратель. Вошли в тускло освещенный маленькими, высоко расположенными окнами коридор. Здесь не было той чистоты, того блеска натертого воском пола, что в четвертом корпусе. Стены серые и кое-где потрескавшиеся. Несколько балок подпирают потолок, кажется, готовый рухнуть. Зато ярко начищенный медный куб привлек внимание Ивана Петровича. Таких он еще не видел и внимательно разглядывал его, пока Дергачёв разговаривал с надзирателем. Куб отапливался не дровами, а паром, вырабатываемым в машинном отделении и по трубам расходящимся по всей крепости.

Привели Вороницына в 8-ю камеру, где свободной оказалась лишь одна койка – конечно, самая скверная, возле параша. Во втором корпусе, в отличие от остальных, ватерклозетов еще не было. Одиннадцать «туземцев» (все бессрочники) обступили новичка, засыпав вопросами. Кто? Откуда? Как там?.. Пришлось рассказывать обо всем подробно. Экзамен Иван Петрович выдержал, как сам не без гордости отмечал, блестяще. Сразу же получил приглашение вступить в коммуну. Познакомили его и с местными порядками. Каждый день двое обитателей камеры дежурили: выносили и приносили параша, мыли и подметали пол, вытирали пыль, набирали в большой медный чайник кипятка, мыли посуду и т. д. Кроме того, каждая камера один раз в шесть дней выделяла своих дежурных

на коридор – чистить куб, раздавать обед, наводить в коридоре глянец. Помимо этих, чисто хозяйственных, никаких иных работ обитателям второго корпуса не предлагали, хотя они и просились трудиться в мастерских, колоть дрова, стирать белье, разгружать баржи и т. д. Некоторые каторжники просидели здесь два, а то и три года, но нигде не выходили далее крошечного прогулочного двора. Даже в больницу, находившуюся в первом корпусе, водили лишь в самых серьезных случаях – обычно их «по месту жительства» обслуживал фельдшер.

Кроме правил, установленных начальством, существовали правила, выработанные самими заключенными. В 8-й камере, как и в некоторых других камерах второго корпуса, была составлена своя «конституция», неисполнение которой каралось бойкотом и даже остракизмом. Главной ее целью было ввести такой порядок, при котором каждый мог бы жить сам и давал жить другим. Вороницын так пояснял ее необходимость: «В общих камерах, когда люди месяцами и годами сидят друг с другом, не выдерживают самые ангельские натуры. Начинается взаимная грызня, пикирование, вырастают ссоры, рождается злая ненависть, нервная система расшатывается до того, что самые культурные и уравновешенные люди лезут в драку со своими ближайшими друзьями и идейными товарищами. Во много раз хуже бывает, если в одной камере с политическими находится сколько-нибудь значительное количество профессиональных уголовных...».

Камерная «конституция» связывала всех. Одни страдали от нее меньше, другие – больше. Вороницын, например, страдал от запрещения курить вечером среди камеры и ворчал всякий раз, когда ему приходилось сидеть на корточках возле параша, пуская дым в отдушник. «Конституция» регламентировала времяпрепровождение всех

и каждого. Утром от поверки, чаепития и уборки посуды можно было невозбранно звенеть кандалами, ходя по камере, делая гимнастику, громко говорить, смеяться... Но затем следовали три часа абсолютной тишины. Это было время занятий, чтения про себя. За час до обеда молчание нарушалось. После обеда разрешалось опускать койки на час в будние дни и на два – в праздничные. После отдыха снова было время занятий, но в эти часы разрешалось заниматься группами, давать уроки: кому – грамоты, кому – арифметики, кому – языков. Можно было негромко разговаривать, зубрить вслух и даже ходить по камере, умеренно звеня кандалами. Делать что хочешь можно было от ужина до вечерней поверки.

Конечно, случалось немало споров. Например, открывать или не открывать форточки, тем более окна, в холодное время. Воздух в камерах, несмотря на современную вентиляцию, был затхлым, и, несмотря на паровое отопление, в старинном здании царила сырость. И, как результат, в корпусе свирепствовала чахотка, хотя она собирала жертвы по всей тюрьме. Особенно печальными были в этом отношении итоги 1911–1912 годов. Больница не вмещала всех страждущих, и они оставались в камерах, заражая своих соседей. Начальство всполошилось. Такое огромное число смертных случаев в образцово-показательном заведении! Но вместо того чтобы принять кардинальные меры по лечению заболевших, их стали отправлять в другие тюрьмы. И показатели «выздоровления» сразу же поползли вверх.

Камеры были небольшими. Когда все двенадцать коек опускались на подставленные скамьи, между ними и столом не оставалось места, даже чтобы пройти. В клозет и умывальник, как правило, выпускали арестантов по три раза в день, так что вонь от камерной параша была невы-

носимой, особенно по ночам. Прогулки осенью и зимой продолжались по полчаса и лишь летом увеличивались до часа. На прогулочном дворике стояли скамейки, сидеть на которых не препятствовали. Разрешалось разговаривать, не соблюдать дистанцию. Но ходить обязательно должны были парами.

В конце 1911 года Вороницына наконец-то перевели в третий корпус. Поместили его в 28-ю камеру, где он просидит до осени 1916 года, когда из-за болезни глаз, угрожавшей слепотой, его отправят на лечение в Москву, в больницу при Бутырской тюрьме. Поначалу в камере Вороницын жил со студентом-эсером Скородумовым, с которым крепко сдружился еще во втором корпусе. Еще там они договорились, что постараются оказаться вместе. Но за резкий отпор на грубость надзирателя Скородумов попал в карцер Светличной башни. До этого крепкий и сильный, после 30 суток холодного и сырого карцера он сразу сдал, через несколько дней у него пошла горлом кровь. Молодой организм отчаянно боролся с болезнью, но смерть победила. Следующим сокамерником Вороницына стал Арон Имханицкий, в прошлом слесарь с Украины, осужденный на бессрочную каторгу за мелкий теракт. В Шлиссельбурге он прямо-таки отдыхал от жестокого режима Полтавской тюрьмы, где находился до этого. Вороницын занимался с ним грамотой, арифметикой и другими началами знаний. Позднее, уже после революции, встретившись с Имханицким в Харькове, он получит «удовольствие выслушать от него похвалу» его педагогическим способностям. После того как Имханицкого перевели в другую камеру, к Вороницыну подселили сева-стопольца Максима Барышева. Сапер Барышев был осужден на смертную казнь, замененную на пожизненную каторгу. Успели они вместе и в разных тюрьмах посидеть,

и в карцерах. Как говорил Вороницын, «опыт карцера показал, что мы легко уживаемся друг с другом и в одиночке... Кстати будет сказано, карцерный опыт оказался прочным, и следовавшие затем 4 с лишним года мы с Барышевым уже не расставались».

Восстановились и старые знакомства, прежде всего с В. О. Лихтенштадтом и Б. П. Жадановским. Появились новые, например с такими интереснейшими людьми, как Г. К. Орджоникидзе, И. К. Гамбург, В. Я. Ильмас и другие. Конечно, за два с половиной года, пока Вороницына не было в Шлиссельбурге, старые товарищи во многом изменились. Вот как вспоминал он о перевороте во взглядах Лихтенштадта: «Осенью 1911 года, “из дальних странствий возвратясь” и сидя во втором корпусе, я встречаюсь с Жадановским. Расспрашиваю его о товарищах.

– Ну, а как Лихтенштадт?

– О, вы его теперь не узнаете. Он совсем наш стал.

– А как же индивидуализм, идеализм?

– Всё побоку. Окончательно и бесповоротно.

Действительно, Лихтенштадт окончательно порвал с революционной романтикой. Во всех тюремных анкетах он стал именовать себя социал-демократом. Марксизм его был глубоким и продуманным, в философии он стал реалистом, не будучи материалистом, но и не прикрепляясь ни к одному из течений в “махизме”. Мне казалось, что в этой области эволюция его еще не закончилась, он точно оставил ряд проблем нерешенными, про запас, так сказать, чтобы после, в результате какого-нибудь естественного поворота в мировоззрении, снова вернуться к ним».

В крепости Лихтенштадт провел 11 лет, если не считать его короткого отсутствия в 1912 году, когда после яростного столкновения политзаключенных с начальством тюрьмы, одним из руководителей которого был, конечно

же, Лихтенштадт, его отправили «на исправление» в Петербург, откуда он вскоре вернулся таким же «неисправимым». Как уже говорилось, Лихтенштадт очень любил людей, и люди это чувствовали. В дневнике от 14 декабря 1913 года он писал: «Людей, людей, людей! Как мне нужны люди, как заражает меня все молодое, задорное, смеющееся... Итак, да здравствует жизнь, и – к работе!». Но были у него и самые любимые, самые дорогие друзья. Наверное, ближайший из всех – Борис Жадановский. Вороницын в книге «История одного каторжанина», посвященной Жадановскому, с удивительной теплотой и пониманием описывает эту дружбу. И со скромностью, ибо сам был к этой дружбе причастен. Но о себе он вообще в подобных ситуациях старался не упоминать. Огромным счастьем для Жадановского и Лихтенштадта было, когда они какое-то время жили в одной камере. Но начальство, понимая, какая опасность исходит от этого дуэта, разъединило друзей, поместив их в разные корпуса.

Вторым очень важным для Лихтенштадта человеком стал Григорий Константинович Орджоникидзе (1886–1937), известный под псевдонимом Серго, пламенный большевик, в будущем выдающийся советский и партийный деятель, первый народный комиссар тяжелой промышленности СССР. К моменту появления в Шлиссельбурге арестовывался пять раз. Последний раз – в апреле 1912 года. 9 октября того же года осужден на три года каторги и вечное поселение в Сибири. В крепости он появился уже 10 октября. Поместили его в штрафной корпус. На деле – никакой не корпус, а небольшой закуток в огромной машине под номером четыре. Начальство считало, что он слишком требователен и строптив, опасен для других арестантов, и его нужно изолировать. Никаких прогулок! Никаких свиданий! Лишь в 1914 году Серго пе-

реведут в третий корпус, и он сразу же станет всеобщим любимцем, заводилой большинства «мероприятий» каторжан и страстным спорщиком, особенно по поводу начавшейся Первой мировой войны. Лихтенштадт подружится с Серго сразу же (как и Вороницын). 17 января 1915 года он напишет в своем дневнике: «Страшно доволен беседами с Орджоникидзе». И когда в октябре 1915 года пробывшего в Шлиссельбурге три года Серго вышлют на вечное поселение в Сибирь, В. О. Лихтенштадт будет почти в отчаянии. 3 октября 1915 года он делает такую запись: «Сегодня уехал Орджоникидзе. Это была большая потеря для меня. Какой живой, открытый характер, сколько энергии, отзывчивости на всё! И главное – человек все время работает над собой... Только с ним и можно было потолковать серьезно по теоретическим вопросам, побеседовать о прочитанной книге. Из людей, стоящих приблизительно на одном со мной умственном уровне, это был здесь единственный, у которого можно было и поучиться».

К Ивану Петровичу Лихтенштадт тоже испытывает очень добрые чувства, но 14 мая 1914 года отмечает: «От Вороницына совсем не получил того, на что надеялся: он еще более замкнулся... Он мне очень нравится, с удовольствием беседую с ним и при случае вылавливаю кое-что для своего обихода, но так же, как вылавливаешь из книги, а не так, как “оплодотворяет” живая беседа последнего».

Центром общественной жизни в Шлиссельбургской каторге оставался третий корпус. Здесь, помимо Лихтенштадта, сидели Орджоникидзе, Петров, Трилиссер, Пьяных, Вороницын и другие. Лихтенштадт, как уже говорилось, очень много читал, учился сам и учил других, углублялся в научные дебри, постоянно искал себя, меняя пристрастия. Как упоминали его товарищи по заключе-



Г. К. Орджоникидзе. 1912. Тюремный снимок

нию, его многогранный ум не останавливался на какой-нибудь одной области, его интересовало очень многое, «в его лице погибла огромная научная сила, светлый ум, соединенный со страстным темпераментом». Даже став убежденным социал-демократом, он не прекратил поисков истины. Как и многие его товарищи по Шлиссельбургу. Вороницын писал: «Философские споры в лагере марксистов, материализм и махизм во всех его видах нашли у нас живой отклик. Увлечения и в одну, и в другую сторону доходили до крайности, обострялись. Не удовлетворяясь устным обменом мнениями, мы писали политические статьи, создали значительную рукописную литературу и в тетрадах, и на полях книг». Именно этот интерес к общественным вопросам сдружил Вороницына с Лихтенштадтом. Как и любовь к чтению.

В дневнике от 15 декабря 1915 года Лихтенштадт писал: «Настроение у меня сейчас бешено-книгоглотательное», – а 16 декабря 1916 года констатировал: «Две недели пил запоем “Общественное движение”, жалко, что при-

шлось так глотать – проконспектировать удалось лишь часть. Но приобрел все же бездну. Пожалуй, самое ценное для меня – выяснение основных тенденций большевизма и меньшевизма. Надо бы только выслушать теперь и другую сторону. Чувствую, однако, даже более близкое знакомство не позволит мне склониться безусловно на одну сторону. Оценка обоих течений – это оценка нашей революции, которая может быть дана лишь по ее завершении».

Мы довольно подробно пишем о Лихтенштадте, ибо с Вороницыным их связывала не только искренняя дружба, но и общность взглядов, интересов, отношение к жизни. Оба были неутомимыми в поиске смысла жизни, и оба кончили трагически. Лихтенштадт после освобождения из крепости в феврале 1917 года на некоторое время примкнул к меньшевикам. Но в конце 1918 года происходит резкий перелом в его настроении. В письме к своей бывшей жене М. М. Тушинской, с которой поддерживал необыкновенно теплые отношения до самой своей гибели, он пишет: «Для меня Рубикон перейден – я с большевиками... Общее и личное совпало – надо жить, можно жить, борясь за что-то огромное, необъятное, почти космическое – таких моментов так мало в истории! Пусть мы погибнем, пусть нас задавит великий Левиафан – мы прожили хоть минуту так ярко, как не жил никто до нас, как сотни лет не будет жить никто после нас...».

В июне 1919 года Лихтенштадт стал членом РКП(б). Он много пишет. Берет себе псевдоним Федор Мазин (фамилию – в память о погибшем друге-каторжанине). Сотрудничает в журнале «Коммунистический интернационал» и в других подобных изданиях, заведует издательством Коминтерна. В августе 1919 года вступил добровольцем в ряды Красной Армии, был комиссаром штаба 6-й дивизии 7-й армии. 15 октября 1919 года во время наступления на

Петроград войск генерала Юденича был захвачен в плен белогвардейцами под Кипенью и казнен ими. Похоронен на Марсовом поле, которое с 1918 по 1944 год официально называлось Площадью жертв революции.

Но вернемся в годы Шлиссельбургской каторги. В первые месяцы после возвращения сюда Вороницын и его неутомимые друзья пытаются отстаивать свои права и организовывать всевозможные протесты, тем более что и в «благословенном» Шлиссельбурге поводов для этого было достаточно. Среди надзирателей встречались настоящие изуверы. Часто сменяющиеся врачи не столько лечили, сколько калечили арестантов. Распорядок дня узников оставлял желать лучшего. Еда, особенно с началом войны, становилась все хуже и хуже.

Среди надзирателей одним из самых свирепых был Плечкайтис. Он появился в крепости в начале 1911 года неизвестно откуда, но уже по обращению его с заключенными было видно, что это матерый тюремщик. Перевели его в Шлиссельбург постовым надзирателем, но в этой должности оставался он всего несколько дней: сразу же вошел в доверие к Зимбергу, и тот перевел его в отделенные. А через короткое время Плечкайтис стал старшим надзирателем, хотя и без того был вездесущ и делал что хотел. Постоянно хмурый и недовольный, он избивал арестантов, издевался над ними. Например, заставлял чистить больничный коридор песком и оттирать его коленями, отчего кожа на коленях сдиралась до крови (Вороницын на себе испытал этот его метод). Мыть плевательницу в больнице Плечкайтис заставлял не иначе как голыми руками (а это был пик заболеваемости в крепости туберкулезом).

Вскоре после перевода Вороницына в третий корпус в Шлиссельбург был назначен новый помощник, фами-

лию которого Вороницын даже не называет, характеризуя его как вертлявого юношу из писарьков, получившего некоторую натаску в одном из мрачных централов. С первых же дней он начал мелочно придираться ко всяким пустякам: во время поверки не застегнута пуговица на бушлате, плохо вымыт пол, слишком душно в камере... Как-то зашел он в неурочное время в камеру Вороницына и его товарищей – «познакомиться поближе», как сам сказал. Вот часть их непродолжительной «беседы»:

«...– В камере грязно. Почему окурки в углу?

Молчим. Думаем. Следует ли связываться со щенком. Ну его к черту. Молчание он принимает за выражение покорности и самодовольно продолжает:

– Я люблю, чтобы в камерах была чистота и порядок. Вот книги не на месте лежат. На столе можно держать книгу, пока ее читаешь. Как кончил, надо класть на полку.

Продолжаем молчать, но я чувствую, что во мне все закипает. Одна из книг своей внешностью привлекает его внимание. Это недавно полученная мною новинка французского книжного рынка в мягком кожаном переплете. Он вертит ее в руках.

– Это английская книга?

Я молчу, но на лице у меня, должно быть, слишком ясно выражены мои чувства. Он видит это и оскорбляется. Он тыкает в меня пальцем и говорит:

– Когда я спрашиваю, ты должен отвечать. Как твое фамилиё? И потом, надо стоять прилично, а не так...».

Результатом этого «знакомства» стал для Вороницына темный карцер сроком на 19 суток. Вообще-то присудили 10 суток, но припомнили «недосиды» в Ярославле из-за поспешного перевода в Шлиссельбург и в пересыльной тюрьме Петербурга. Вот как описал Иван Петрович свое пребывание в этом темном карцере: «Карцер был боль-

шой и просторный, воздуха было много, но зато было зверски холодно... Голодно тоже было и скучновато... Тут и днем и ночью царила мертвейшая тишина, в соединении с непроглядным мраком сильно понижавшая настроение. Каких только развлечений я себе не придумывал: кричал до хрипоты; пел и декламировал вовсю, благо никто не услышит тебя и не наведет критику, накатывал из хлеба шарики, рассыпал их по полу, а потом разыскивал их ощупью, исследуя пол дюйм за дюймом; вдевал нитку в иголку, захваченную с собой, и достиг в этом деле изрядного совершенства; всего и не расскажешь. Все-таки время тянулось убийственно медленно...».

Этот первый карцер в «родном» Шлиссельбурге оказался для Вороницына не единственным. Вообще в карцер арестантов стали сажать чаще и по пустякам. А на городском кладбище, на Преображенской горе, росли и росли черные, без надписей кресты. По ночам в разных концах третьего корпуса (да и других тоже) гулко звучал чахоточный кашель. Кровавые плевки окаймляли на дворе дорожку, по которой гуляли арестанты. Через «почтовый ящик», устроенный в бане, доходили сведения, что режим ухудшается во всей тюрьме. Приняли решение о всеобщем дружном выступлении, которое наметили на август 1912 года, и начали к нему готовиться.

Что не устраивало заключенных? Возмущали некоторые надзиратели, жестоко обращавшиеся с каторжанами. Решили требовать, чтобы их убрали. Как и доктора с фельдшером, от которых не было никакой помощи. Решили требовать улучшения пищи, особенно для больных, удлинения прогулок, более широкого допуска в библиотеку художественной литературы и журналов за прошлые годы, вежливого обращения с арестантами... Особенно много требований выдвигали по поводу карцеров, ибо тридца-

тидневные карцеры в невыносимых условиях почти без еды, прогулок и даже воды – это подлые убийства людей. Требовали не применять столь длительных карцеров, особенно для слабых арестантов, давать в студеных застенках не холодную, как лед, воду, а горячую, и не одну кружку на день, а неограниченное количество. И чтобы слабые долгий карцер отбывали со значительными перерывами, и чтобы в карцерах оказывалась медицинская помощь. А карцер в Светличной башне чтобы вообще был закрыт и т. д.

Разрабатывались в преддверии выступления и другие требования, как писал Вороницын, «стоять за которые до конца обязалось огромное большинство заключенных», причем не только политические, но и уголовные. Подготовка сорвалась, казалось бы, из-за ерунды. Один из надзирателей обругал какого-то заключенного «коровой» – на фоне ежедневной матерной брани сущий пустяк. Но, как заметил Вороницын, внезапный взрыв всеобщего негодования объяснялся тем, что чаша терпения была переполнена до краев, и «корова» стала последней каплей, ее переполнившей окончательно. Не дожидаясь общего выступления, «заволянила» сначала одна камера во втором корпусе, потом другая...

А в одиночках четвертого корпуса, где находился организационный центр готовящегося выступления, об этом ничего не знали. Когда узнали, часть высказалась за то, чтобы присоединиться к бунтарям, а другая считала, что повод слишком ничтожен. В третьем корпусе, где сидел Вороницын, не знали ничего толком, «глухо волновались» и боялись, «как бы своим невыступлением не расстроить общего единодушия». Но как раз общего единодушия и не было, даже в дружном третьем корпусе, где начали «волянить» Вороницын, Барышев, Циома, Конуп и «кто-то еще», дру-

гие же заявили, что «на дезорганизационную провокацию они не поддадутся».

Подготовка всеобщего выступления была сорвана. Мелкие стычки с начальством ликвидированы в зародыше. За неповиновение Зимберг посадил волынщиков в карцер, каждого на 30 суток.

Это был хотя и суровый, но, в отличие от остальных, веселый карцер. Вороницын так описал его: «И вот мы в карцерах 4-го корпуса. Все старые приятели здесь уже: Жадановский, Лихтенштадт, Письменчук. Конуп диким голосом орет, приветствуя наше появление. Лихтенштадт провозглашает: “Приветствуя лучших представителей 3-го корпуса, объявляю перманентное заседание парламента Шлиссельбургской каторжной тюрьмы в полном составе открытым. Заседание начинается сегодня, закончится 14 сентября в 12 часов дня”. Шумный “парламент” это был», – заключает Вороницын. Хотя веселого, конечно, мало, если знать, что это были за застенки. «Сначала в некоторых карцерах сидели по одному, но скоро нас оказалось в них по два, а в светлые дни нас соединяли по три. Карцеры эти находились в полуподвале. В тех, которые выходили окнами во двор, было полутемно, т. к. свет пробивался сквозь неплотные ставни, полный мрак был в противоположных карцерах. В этих последних было страшно сыро, ноги хлюпали по жидкой грязи, покрывавшей пол, а со стен текло. Лежать или сидеть на полу нельзя было от холода и сырости даже в светлых карцерах, а на приподнятом на аршин от пола топчане место было только для одного человека. Приходилось спать по очереди. Это было еще ничего. Хуже было то, что вследствие тесноты, – карцера были очень малые, – нельзя было всем сразу ходить, а только ходьбой и можно было согреться там. От сырости, холода и голода многие заболели... В этот ме-

сяц все карцеры были набиты. Наказанных было около 150 человек».

Надежды на распространение протеста не осуществились. Наоборот, многие стали отходить в сторону. И постепенно страсти затихли. «Наступивший затем период относительно спокойной жизни больше не нарушался уже сколько-нибудь крупными событиями внутреннего характера. Начальство махнуло рукой на нас: неисправимые, мол, что с них возьмешь. К нам не придирались, а если и случались столкновения, то они редко карались карцером. О розгах тоже не было слышно».

Изменились к лучшему больничные дела. Больницы как таковой в Шлиссельбурге долго не было, если не считать «психушки», куда помещали вконец потерявших разум, да маленького закутка для заразных. Заболевших «на дому» обслуживал давно растерявший свои знания фельдшер или врач типа описанного народоволкой Л. А. Волкенштейн. В мемуарах «13 лет в Шлиссельбургской крепости» она писала: «Больницы не было, нет и теперь. Доктор заходил по зову, или когда это находил нужным смотритель. Доктор был молодой человек, только что окончивший курс, по фамилии Звонкевич. Человек не злой, но без воли, подчинившийся почти беспрекословно “установленному режиму”... Лекарства кой-какие давали, но больничной пищи никому. Ухода за больными не было никакого». Но вот над первым корпусом надстроили третий этаж, где разместили весьма приличную больницу. Здесь имелись: приемная, кабинет врача, амбулатория, аптека, палаты для коечных больных, ванны. Была у больницы и своя кухня. В каждой палате размещалось несколько железных коек, деревянный стол, 2–3 табуретки, умывальник, плевательница и ватерклозет. Кроме того, больнице отвели семь камер для заразных больных. Когда таковых

не было, эти «изоляторы» использовались как карцеры. Можно представить, насколько они были «комфортны».

С годами больница росла, приобреталось новое оборудование. Но, как писали бывшие заключенные, «медицинский персонал был из рук вон плох», врачи постоянно менялись. «То это были безразличные чиновники, давно потерявшие всякие остатки знаний, то форменные тюремщики, относившиеся к больным арестантам как к арестантам, а не как к больным». Например, доктор Аксёнов обращался с больными безобразно, и те писали прошение за прошением, характеризуя его как подлого и гнусного человека. Даже серьезно заболев, предпочитали к нему не обращаться. Зимберг вынужден был его сменить. Но пришедший ему на смену доктор по фамилии Шерман оказался не лучше Аксёнова.

Еще хуже обстояло дело с помощниками врачей. «Фельдшерский персонал был сплошной рухлядью», – писал Вороницын. Один из фельдшеров, «несменяемый с 1907 г. и до 1914 г., когда он умер, был старый и толстый, с грязными трясущимися руками, с подслеповатыми гноящимися глазами, “помощник смерти”. Эта развалина небрежно и грубо относилась к больным, вечно путала лекарства и допуталась до того, что одного уголовного “по ошибке” отправила на тот свет. Другому, страдавшему конъюнктивитом, вместо цинковых капель он пустил в глаз что-то едкое и этим вызвал гибель глаза. Конечно, это сходило ему с рук гладко: стоило ли из-за каких-то арестантов отдавать под суд заслуженного и почтенного человека».

И тут каторжанам неожиданно повезло. Царским указом от 20 августа 1913 года врач Смоленской исправительной тюрьмы, доктор медицины, надворный советник Эйхгольц назначался главным врачом Шлиссельбургского

каторжного централа. Главное тюремное управление потребовало от него немедленно отправиться к месту новой службы. Шлиссельбургские арестанты давно наслышаны были о том, что в Смоленске при тюрьме служит совершенно удивительный доктор, «второй Гааз». Арестанты, которых переводили из Смоленска в Шлиссельбург, не упускали случая похвастаться своим врачом: «У вас разве доктор тут? Собака, одним словом. А там у нас, вот доктор-то! Отец родной!». И следовали рассказы о том, какие он облегчения делает заключенным: и кандалы снимает, и пороть не дает, и из карцера берет в больницу, и пищу улучшает, и с начальством из-за арестантов воюет всегда. Можно представить радость шлиссельбуржцев, когда они узнали, что Эйхгольца переводят к ним! И надежды их оправдались. Весьма скупой на благостные оценки Вороницын писал об Эйхгольце, что это был врач по призванию, несомненный идеалист, оставивший у большинства своих подопечных самую добрую память о себе. А его товарищ И. К. Гамбург свои воспоминания о Шлиссельбурге открыл словами: «На мрачном фоне каторги светлым лучом выделялся врач Евгений Рудольфович Эйхголец».

Родился Эйхголец в Петербурге в 1864 году в богатой купеческой семье, получившей дворянство. Отец его был шведом по национальности. Семья владела двумя поместьями и винокуренным заводом в Смоленской губернии, несколькими домами и антикварным магазином в Петербурге. Евгений Рудольфович учился в одной из лучших гимназий столицы; в 1889 году окончил Военно-медицинскую академию по специальности «Хирургия внутренних и глазных болезней». В 1896 году был удостоен степени доктора медицины. Хорошо обеспеченный материально, высокообразованный, Эйхголец не нуждался в должности тюремного врача как надежного поплавка для успеш-

ной карьеры. Это было его призвание, к которому он долго готовился, ибо хотел помогать людям, попавшим в беду. Чтобы лучше понять, как нужно это делать, объездил ряд тюремных больниц стран Западной Европы.

В 1907 году с семьей переехал в Смоленск, где сначала работал вольноопределяющим врачом, а с 1912 года – врачом Смоленской каторжной тюрьмы. И вот с августа 1913 года он в Шлиссельбурге. Так широко развернуться, как позволяли Эйхгольцу в Смоленске, где у него были высокие покровители, в Шлиссельбурге не удалось. Но и здесь в упорной борьбе между гуманным врачом и бездушными тюремщиками часто побеждал первый. Об Эйхгольце с благодарностью писали все арестанты, кто знал его и кто оставил хоть какие-то записи. Но в основном цитировать мы будем, как всегда, Вороницына, главного героя нашего повествования. В книге «Из мрака каторги» Иван Петрович писал: «Доктор Эйхголец не удовлетворялся радикальным переворотом в деле коечного лечения. Он настоял на удлинении прогулок вообще, и особенно тем из слабых и склонных к легочным заболеваниям заключенным, которым он это прописывал. Он придумывал для них работы на чистом воздухе, и в огромной степени благодаря ему огородное и садовое дело у нас расширилось. На нашу пищу он обратил особенное внимание. Помимо обычного питания он для всех желающих ввел более легкую пищу – второй котел, – состоявшую из белого хлеба и молочных супов, которою можно было на неделю, две и больше заменить грубый тюремный стол. Желудочные и кишечные заболевания благодаря этому резко уменьшились. Но самым благотворным из его нововведений была неограниченная выдача всем желающим рыбьего жира. Сократив до минимума количество выписывавшихся в тюремную аптеку дорогих и, при наших ус-

ловиях, весьма в слабой степени облегчающих положение больных лекарств, он на освободившиеся суммы стал непосредственно из Норвегии выписывать целыми бочками рыбий жир, так как отсутствием жиров, вводимых в организм, он объяснял колоссальное развитие туберкулеза. Огромные банки этого благодетельного средства стояли у нас в коридорах на окнах, и всякий желающий имел право пользоваться им вволю. Рыбий жир мы пили так, ели с хлебом, маслили им кашу. Когда во время войны получение его затруднилось, доктор заменил его репейным маслом. Слишком долго было бы описывать все, что сделал для нас этот хороший человек. При нем в больницу шли без страха, без отвращения. Он расковывал больных даже без ведома начальства, и такие случаи, как смерть туберкулезного в кандалах... отошли в область предания. Он всячески стремился облегчить последние минуты угасающих. Он брал в больницу их здоровых товарищей, чтобы уход был не казенным и чтобы не арестант-сиделка, а друг и товарищ закрывали глаза умершему».

В современных изданиях приводятся сведения, насколько уменьшилась смертность больных благодаря деятельности доктора Эйхгольца. Так, если в Смоленской каторжной тюрьме она уменьшилась с 7% до 1,2%, что тоже явилось колоссальным успехом, то в Шлиссельбурге за один только год – с 6% до 0,6%, то есть ровно в десять раз!

Эйхголец был не только прекрасным человеком и великолепным практикующим врачом, но и очень хорошим ученым. В 1915 году в Петербурге вышла его книга «Тюремный врач и его пациенты». Постоянно его статьи печатались в «Вестнике Главного тюремного управления». Но в «Вестник» попадали лишь жалкие выжимки из обширных докладов Евгения Рудольфовича, которые он систе-



Е. Р. Эйхгольц

матически писал в Шлиссельбурге. Вороницын и его товарищи, в течение ряда лет работавшие в переплетной мастерской, знакомились с этими фолиантами и даже кое-что выписывали. Вороницын так отзывался о них: «В этих докладах он со своей точки зрения врача-тюрьмоведа, с цифрами, фактами и диаграммами в руках подвергал жесточайшей критике всю пенитенциарную систему русского правительства, и недаром его положение в конце концов сильно поколебалось».

Давая характеристику Эйхгольцу как честнейшему человеку, Вороницын заключает: «Свои политические взгляды доктор Эйхгольц высказывал очень редко и очень туманно. Нам он несомненно сочувствовал. Либералом и даже радикалом политическим он был во всяком случае. Но даже если б он был консерватором, я ни слова не изменил бы в выражении той благодарности и того уважения, которое является элементарной обязанностью моей при рассказе о перенесенном и пережитом нами».

Эйхгольц служил в Шлиссельбургской крепости до 21 августа 1917 года. Короткое время работал в Петрограде, участвовал в заседаниях Шлиссельбургского землячества, в деятельности Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Затем со своей многочисленной семьей (у него было девять детей) переехал на постоянное место жительства в Финляндию. И не зря. Некоторые из его близких родственников, в частности брат Александр Рудольфович, генерал от кавалерии, участвовали в Белом движении, погибли в боях или эмигрировали.

Но вернемся к будням Шлиссельбургской крепости времен Вороницына. При некоторых послаблениях она оставалась каторжной тюрьмой, и режим в ней был каторжный. День начинался зимой в шесть утра, летом – в пять. Вставали по свистку, убирали постели, умывались, одевались, ста-

новились на поверку. Затем начиналась раздача хлеба и кипятка. После столь «калорийного» завтрака – работа. В мастерских – с семи утра, на наружных работах – с восходом солнца, но не с шести утра. В одиннадцать тридцать – обед, который каждому арестанту подавался в отдельном бачке. После обеда – час отдыха. И снова работа (в мастерских – до полшестого, вне зданий – до полчетвертого). Потом ужин, чай, вечерняя уборка и около восьми – поверка, после чего камеры запирались на замок, и ключи отдавались в контору до утренней поверки.

Питание было лучше, чем в других тюрьмах, но тоже весьма скудное. Особенно ухудшилось оно в годы войны. Если раньше на одного заключенного полагалось 13 копеек в день, то в военное время – по 11,5 копейки, а ведь цены подскочили неимоверно. Ежедневно выдавалось по два фунта хлеба и пять раз в неделю – мясной суп или щи (на мясо, конечно, был лишь легкий намек), два раза – густой гороховый суп с постным маслом. На второе – каша. Ужин состоял из кашицы с говяжьим жиром, или картофельного супа, или отварных макарон. Катастрофически не хватало витаминов, отчего и были постоянными гостями среди каторжан чахотка, цинга, авитаминоз.

Угнетали тяготина похожих друг на друга дней, замкнутое пространство крепости, бесперспективность бытия и многое, что несет пребывание, да еще бессрочное, в тюрьме, да еще в каторжной.

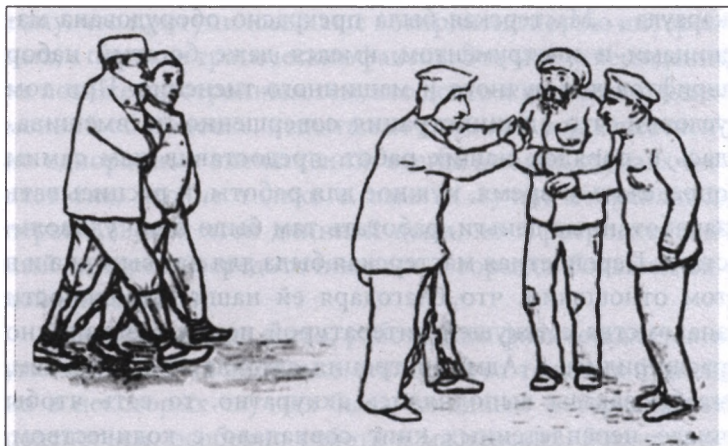
Вороницын так описывал свое настроение тех лет: «Обозревая в памяти этот период нашей жизни от лета 1912 года и до конца 1916 года, я чувствую, что рассказать о нем сколько-нибудь подробно – значило бы перечислять мелочи, копаться в обыденщине. И не столько, может быть, потому, что в этой жизни, взятой в ее внешних проявлениях, не было ничего интересного, как по-

тому, что притупилось наше восприятие порою интересных, а порою и трагических фактов. Это мое утверждение не покажется странным тем, кто долго жил в одной неизменной обстановке, испытывал длинный ряд качественно однородных впечатлений: всегда в таких случаях бывает так, что не только в памяти лучше сохранялись первые звенья этой длинной цепи, но и ретроспективный интерес сосредоточивается с гораздо большей силой на начале».

Спасала, прежде всего, работа, как физическая, так и умственная. Она не только отвлекала от тяжелых будней, но в некоторых случаях была солидным материальным подспорьем, особенно работа в мастерских. Вороницын писал: «Про себя я могу сказать, что внешнее содержание моей жизни в эти последние годы делилось между работой – сначала в переплетной мастерской, а затем на огороде и за крепостной стеной, – и обычными занятиями». Мастерских было несколько: мебельная, картонажная, переплетная и другие. И число их все росло. Так, в годы войны появились мастерские по пошиву военной формы, изготовлению снарядных ящиков и т. п. Использование труда заключенных было очень выгодно и для государственной казны, и для тюремного начальства. Например, в 1912 году этот труд дал казне почти пять с половиной миллионов рублей дохода. Каждый заключенный, находившийся под следствием, с каждого заработанного рубля получал по 60 копеек, каждый срочный – по 40 копеек, заключенный из исправительного отделения – по 30 копеек, бессрочнокаторжный – по 10 копеек. Лучшей была переплетная мастерская, прекрасно оборудованная, с годами ставшая похожей на небольшую фабрику: «Переплетная мастерская была устроена в нижнем этаже нашего корпуса, в большой комнате, прежде предназначавшейся для

караула... Мастерская была прекрасно оборудована машинами и инструментом, имелся даже богатый набор шрифтов для ручного и машинного тиснения. При том условии, что администрация совершенно не вмешивалась в порядок наших работ, предоставив нам самим определять и время, нужное для работы, и расписывать заработанные деньги, работать там было одно удовольствие. Переплетная мастерская была для нас выгодна и в том отношении, что благодаря ей наши возможности знакомства с текущей литературой почти безгранично расширились... Администрация следила только за тем, чтобы заказы выполнялись аккуратно, то есть чтобы число переплетенных книг совпадало с количеством, сданным для работы. И совершенно не подозревала, что представляющие для нас особый интерес книги из переплетной мастерской шли в нашу библиотеку, переменяв только заглавный лист, а заказчик получал, конечно, по предварительному соглашению с нами, что-нибудь из той духовно-нравственной макулатуры, которая в изрядном количестве заполняла наши библиотечные шкафы».

Весной и летом даже в такой замечательной мастерской не сиделось. Хотя и прогулки увеличили, но хотелось подольше побыть на воздухе, на солнце. В 1911 году восстановили «народовольческую» оранжерею и даже значительно ее расширили. Если поначалу в ней трудились два человека, затем 15, то со временем – 40, но всех желающих обеспечить этой благодатной работой не могли. Прежде всего ее поручали ослабевшим и «заслуженным старожилам». Среди последних были Ф. Н. Петров, Г. К. Орджоникидзе, И. П. Вороницын и другие. Желающих было так много, что удавалось поработать в огороде или оранжерее лишь три или всего два дня в неделю. Вороницын писал:



В Шлиссельбургской крепости. Г. К. Орджоникидзе спорит с Н. М. Ростовым и С. П. Кулаевым. Слева И. П. Вороницын и Б. П. Жадановский. (С рис. политкаторжанина А. И. Сухорукова, сделанного в крепости в 1914–1915 гг.)

«Только в 1915 г. я поступил в постоянные огородники и мог уже целыми днями быть на воздухе. Огородное и цветоводное дело к этому времени у нас уже широко развилось. Наша теплица и площадь, занимаемая под парники, с каждым годом расширялись... Принесшая общее послабление режима война дала возможность вынести наши огороды за крепостную стену».

Это нововведение – выход за крепостные стены – стало событием. Особенно для тех, кто с 1907 года не проходил под их сводами. А тут открылись огромные дали: безграничная ширь Ладоги, прибрежные леса, рыбацьи лодки, баржи, пароходы... С них махали осужденным платками, фуражками, выкрикивали ободряющие приветствия. Да и из ставших доступными многих печатных источников каторжане знали, что реакция закончилась, начался новый революционный подъем. И это вселяло бодрость, ожив-

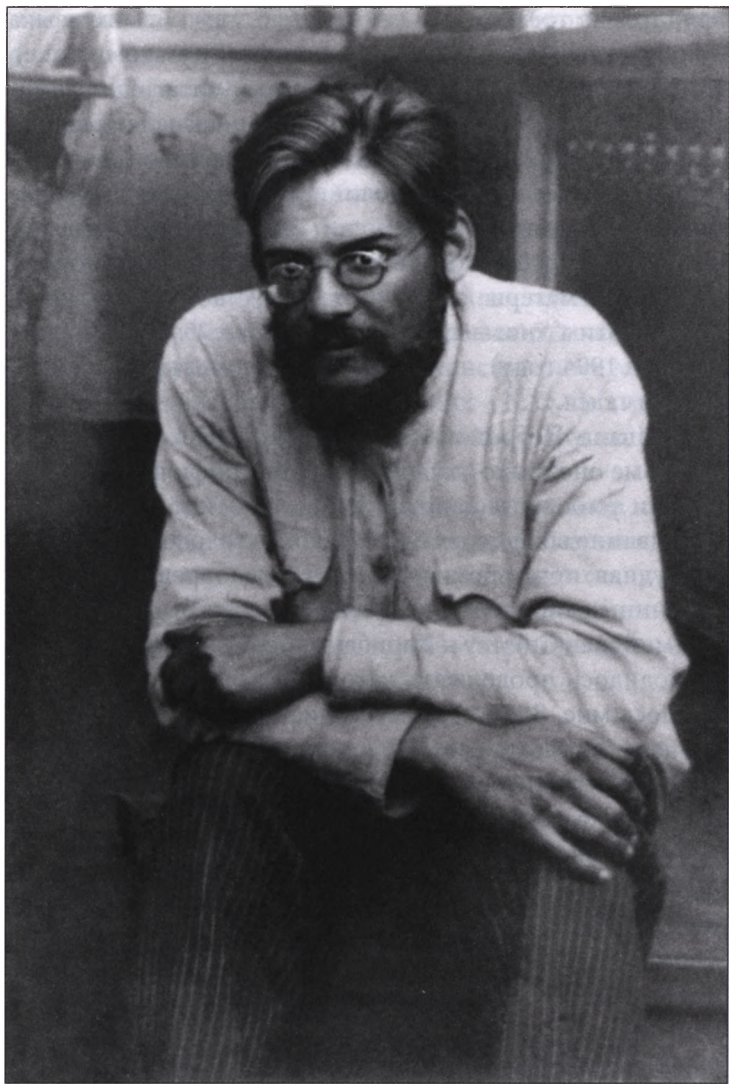
ляло надежды. И в крепости начались явные послабления. «Мы были старожилами, – вспоминал Вороницын. – Надзиратели, да и высшая администрация с нами свыклись, доверяли нам. Под предлогом увеличения площади островка и укрепления его берегов в теплые дни разрешалось спускаться к озеру, влезать в воду, нырять и плавать, потому что, видите ли, нужно было вытаскивать из воды камни. Такие же купанья устраивались и во время поливки огорода. Для наших аквариумов мы ловили в воде колюшек, мальков разных пород рыб, извлекали водоросли. Словом, как выражался доктор Эйхгольц, во многом содействовавший завоеванию нами этих вольностей, жили совершенно по-дачному».

Начались снисхождения и в других сферах. Начальство начало сквозь пальцы смотреть на то, что большинство арестантов перестало на поверке кричать «Здравия желаю!», на прогулке не подчинялось команде «Шапки долой!», гуляло не по кругу, а как кому вздумается, и т. д. Разрешили принимать продуктовые посылки с воли. Увеличили сумму личных трат на питание. Разительные перемены произошли в библиотеке. Сколько каторжане добивались у Главного тюремного управления и даже у министра юстиции, чтобы им разрешили иметь в библиотеке русских и зарубежных классиков художественной литературы! Дозволили лишь в 1912 году. Тогда же разрешили читать журналы за прошлые годы – естественно, только благонамеренные. Но, как считали заключенные, самым главным было право выписывать некоторые газеты. Само собой понятно, что это была пресса «инвалидная», как прозвали ее шлиссельбуржцы, но и этому они были бесконечно рады, ибо хорошо научились читать между строк. К тому же, хотя не систематически, удавалось разными путями получать газеты нелегальные.

Однако война не только принесла послабления. Она кардинально усложнила отношения между вчерашними единомышленниками. По отношению к войне явно вырисовались три основные группы. Одни безоговорочно встали на позиции оборончества: Россия в союзе с демократами Запада должна победить Германию, этот оплот юнкерского владычества. Другие не были противниками поражения Германии, но считали, что победу должна одержать революционная Россия, а для этого нужно использовать войну для нанесения удара самодержавию. И, наконец, третья группа встала на позиции интернационализма, призывая громы и молнии на головы всех империалистов.

Вороницын считал, что резких распрей по поводу войны в Шлиссельбурге не было: в течение долгих лет борьбы с тюремным режимом коллективу удалось стать сплоченным и единым. Хотя, конечно, случались и жаркие споры, но они, как утверждал Вороницын, чаще всего выливались в безобидные насмешки, заключаемые пари, довольно острые шутки и т. п. Тем более что и шутки и насмешки было где изливать, помимо устных споров. Так, заключенные выпускали сатирический журнал «Парашка» (был еще и другой, серьезный). Имелся у каторжан свой порт-ретист А. И. Сухоруков, довольно талантливый, постоянно рисовавший, даже на прогулке. Известен его рисунок группы арестантов, сделанный в крепости в 1914 или 1915 году: Г. К. Орджоникидзе спорит с Н. М. Ростовым и С. П. Кулаевым, слева стоят И. П. Вороницын и Б. П. Жадановский.

Распри на темы войны не приглушали иных стремлений, прежде всего – жажды знаний. Продолжали учиться, учить других, много читать, изучать языки. Вороницын, например, по его собственным словам, за 32 дня так про-



И. П. Вороницын. 1914 г.

штудировал трехтомный самоучитель английского языка Р. Робертсона (самоучитель был на французском языке), что смог, почти не прибегая к словарю, читать в подлиннике Г. Уэллса. Много читал, много записывал. Правильно говорят: «Рукописи не горят». В Государственном литературном музее в фонде публицистики находится одна из тетрадей Вороницына времени его Шлиссельбургского заключения, о чем сообщает сборник научных трудов музея «Новые материалы по истории русской литературы». Правда, этим «новым материалам» уже 25 лет (сборник вышел в 1994 году), но тетрадь Вороницына пока никто не занимался.

У Ивана Петровича давно было плохо со зрением. В тюрьме оно стало ухудшаться катастрофически. Сказались ли усиленные занятия при слабом освещении, или пребывание в карцерах с их мраком и голодом, или крайне скудная, почти безвитаминовая пища – решить трудно. Вороницын пишет: «Я с горечью должен был убедиться, что, миновав Сциллу и Харибду туберкулеза и цинги, мне приходилось продолжать каторгу в вечном карцере, как казалось мне. Здесь не место описывать ощущения того, как начал погасать свет. Но я хочу отметить, в какой степени все пережитое иммунировало меня от неизбежного для новичка в тюрьме отчаяния. Я сразу переменял фронт и с той же энергией, с тем же запойным чувством, с каким прежде занимался или работал, набросился на самообучение чтению и письму точечным шрифтом для слепых. В программе у меня стояло еще обучение одному из ремесел, доступных для слепых, когда осенью 1916 года меня отправили в глазное отделение Центральной тюремной больницы в Москве при Бутырской тюрьме, где удалось ограничить слепоту только одним глазом. И даже этот, самый тяжелый, пожалуй, момент моей каторжной жизни

мне пришлось впоследствии помянуть добром. Благодаря оказавшейся тогда ненужной подготовке к слепому существованию, я совершенно хладнокровно встретил на воле рецидив болезни».

Революцию Вороницын встретит в Бутырках. А в Шлиссельбурге встреча нового бытия прошла без него. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов на первом же своем заседании 27 февраля 1917 года принял решение немедленно освободить политических заключенных Шлиссельбургской крепости. Рабочие порохового завода города Шлиссельбурга отправились в крепость и выпустили на свободу 70 политкаторжан, среди них – В. О. Лихтенштадта, отца и сына Пьяных, В. Д. Малашкина и других, а потом и остальных.

Революционный комитет порохового завода принял решение сжечь здания Шлиссельбургской тюрьмы, что и было сделано в ночь с 4 на 5 марта, когда по сигналу разом вспыхнули все корпуса. В течение нескольких лет после пожара здания не использовались и не ремонтировались.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ...

Последнюю главу своей книги «Из мрака каторги» под названием «Освобождение. На развалинах бастилии» Вороницын заканчивал такими словами: «Революция подкралась к нам неслышными шагами. В каторге мы внимательно подстерегали все проявления нарождающегося народного движения. Одни из нас трезво, другие восторженно учитывали неизбежность революции как результата мировой войны, в которую была втянута наша страна. Мы и предчувствовали, и предвидели, что не за горами уж тот час, когда не жалкими каторжными рабами будем мы, а свободными гражданами свободной страны выйдем из наших бастилий... Но когда пробьет этот час? Какие формы примет этот долгожданный исход из бесконечного плена? Ни один из нас, конечно, не давал себе сколько-нибудь точного ответа на этот вопрос. Никто не представлял себе хоть сколько-нибудь реально, как совершится наше избавление».

Больница при Бутырках оказалась той же тюрьмой. Палаты, больше похожие на камеры, крепко запираемые и надежно охраняемые. Те же кандалы, снимаемые лишь на время. То же отношение и тот же режим... И вдруг поползли с воли слухи о начавшемся там брожении, даже о вооруженных выступлениях солдат и рабочих. «Голодные бунты, – объяснял пациентам больничный персонал. – Из-за хлеба, из-за дороговизны бунтуют». Однажды на прогулке услышали, как за тюремной оградой несколько голосов поют «Марсельезу». Сами себе не поверили, ре-

шив, что, наверное, забастовали рабочие какого-нибудь завода. Но 28 февраля врач-глазник наконец посвятил своих пациентов в свершившееся: «Кажется, в Петрограде дворцовый переворот. Государь, говорят, отрекся в пользу своего брата».

«Наверное, будет широкая амнистия», – решили Вороницын и его товарищи, с надеждой думая, что их сошлют в Сибирь на поселение, где заживется им вполне вольготно. Они и верили и не верили в подобное чудо, а в нескольких шагах от них тихо и спокойно при содействии тюремной администрации началось освобождение политкаторжан. И никто не вспомнил, что и в больнице имеются такие. А «забытые» ни о чем не догадывались. Но утром 2 марта, накинув на плечи халат, Иван Петрович подошел к окну и увидел странную картину. Кузнец, обычно заковылавший арестантов в кандалы и расковылавший их на время, возился с запорами ворот, укрепляя их. Молодой писарёк из канцелярии воинственно вертел в руках охотничье ружье. Несколько надзирателей, вооруженных винтовками, трусливо жались по углам... И тут его осенило: «Это восстание! Надо действовать!».

Он выскакивает в коридор, где напуганный надзиратель безропотно отдает ему связку ключей и тут же испаряется. Сломая голову Иван Петрович мечется от палаты к палате, крича: «Свобода! Все выходи!» – и бежит во двор. За ним другие заключенные, «в халатах, с непокрытыми головами, кто в больничных туфлях, кто в одних холщовых носках, а кто успел надеть прогулочные валенки». Ворота открыты, и несколько человек пытаются проскользнуть в них. Но в этот момент появляется какая-то фигура с винтовкой наперевес и громко командует: «Назад! Сначала одеться всем! Не безобразничать!». И все, как стадо баранов (по выражению Вороницына), возвращаются в боль-

ничный корпус. А в корпусе крики, звон разбиваемых стекол, треск... Какой-то бедлам! В аптеке уже хозяйничает уголовная братва: запах спирта и эфира бьет в нос. Давка в цейхгаузе. Все спешат переодеться. Кто-то натягивает на себя уже третью смену белья. Шустрый парнишка надел полушубок, валенки, а сам все еще без штанов. Грудь у него какая-то несуразно огромная – явно что-то туда напихал. Когда его «распотрошили», оказалось, успел прихватить кучу вещей.

Сам Вороницын – все еще в халате, хотя в валенках, а на голове – прихваченный в цейхгаузе картуз. Считает, что вполне экипирован. И вот целый поток фантастически одетых фигур внутренними дворами несется в главную тюрьму. Там творится та же неразбериха. Лишь в одном месте, возле церкви, наблюдается что-то разумное: большая группа каторжан валит в огромный костер стопы арестантских дел. На их лицах торжество и ликование.

Но кругом царит хаос. Арестанты пытаются выбраться из тюремного двора, однако везде солдаты. У них красные банты на груди. «Значит, они за революцию!» – решает Вороницын. Он обращается к ним с речью: мол, среди арестантов есть политические, и долг военных – немедленно выпустить их. В ответ раздаются выстрелы, скорее всего, в воздух, но все бегут обратно в тюрьму. Вороницын решает, что лучше всего вернуться в больницу. С ним еще несколько человек – грустные, унылые. Даже старший надзиратель утешает опечаленных: мол, все равно их освободят. Приедет комиссия, разберется.

На другой день часов в 11 утра сменяется караул. Группа офицеров с огромными красными бантами на груди, с красными кокардами на фуражках и папах входит во двор. Вороницын влезает на окно и в открытую форточку кричит: «Товарищи! Здесь находится несколько человек



**Группа политкаторжан «нового Шлиссельбурга»
в день освобождения из крепости. 28 февраля 1917 г.
Слева направо: С. Аснин, В. Лихтенштадт, А. Сухоруков,
Ф. Шавишвили**

политических! Нас забыли! Ваша обязанность – принять меры к нашему немедленному освобождению!». Однако «товарищи» принимают совсем другие меры. Один из них обращается к часовому: «Ты чего смотришь?! Сними его с окна!». И часовой щелкает затворами. Друзья стаскивают Ивана Петровича с окна, но он успевает крикнуть: «Палач! Сними красный бант!». Офицер порывается «продолжить разговор», но его остановили.

Позже Вороницына наконец-то вызовут в контору. Неизвестно, сколько бы еще протянулось его заточение, но родным удалось добиться приказа о его освобождении. Хотя его бумаги сожжены, но свидетельскими показаниями удастся установить, что он действительно политический. Ему дают солдатскую шинель, валенки, шапку. На тюремном бланке пишут удостоверение, что он – освобожденный политический каторжанин, осужденный по сотой статье.

Быть свободным странно, непривычно. Он идет по шумным, людным улицам и робеет. А душу точит нудный червячок: как там у нас, в Шлиссельбурге? И в эти шумные, безалаберные дни он в последний раз побывает там. Описанием этой встречи с местом долгих печальных лет Вороницын закончил свою мемуарную книгу «Из мрака каторги»:

«Чувство свободы только постепенно внедрялось в психику. Я еще не почувствовал полностью и интенсивно своего освобождения, когда через три недели с несколькими старыми товарищами и прихваченным с собою фотографом по Ириновке ехал из Петрограда в Шлиссельбург. Лед еще стоял на широком рукаве, отделяющем берег от острова, но местами уже чернел и вздувался... С торжеством увидел я опозоренной и поруганной “государеву” башню. Уже снаружи было видно, что в ней бушевал пожар. Беззубой жалкой пастью в ней открывались ворота. А над ними, на том месте, где когда-то грозно протягивал свои когти навстречу жертвам гордый двуглавый орел, теперь на красном фоне взывала к памяти погибших торжественная надпись: “Вечная память борцам, погибшим за свободу”. Мы невольно сняли шапки. Спотыкаясь о камни и обвалившиеся обгорелые балки, мы вошли в крепость. И долго шагая через сугробы снега, через груды камней, ходили по знакомым, родным местам».

Кое-где еще что-то дымилось. Разбиты были стекла в оранжерее, и печально поникли замерзшие растения. Огромная глыба льда из аквариума с зелеными водорослями валялась на земле среди осколков стекла. Но приехавшие не возмущались. Они понимали тех, кто жег и разбивал все это. Разрушители не хотели, чтобы кто-нибудь еще томился на этом проклятом острове. «По льду катились бесчисленные бочки с керосином и мазутом, и не-

сколько ночей огромным красным факелом, освещая ладожские дали, горела старая тюрьма. Символический маяк на грани уходящего в мрак забвения старого мира и на развалинах его рождающегося светлого дня».

Книга была опубликована в 1922 году, и не предполагал тогда Вороницын, какие «светлые» дни ждут его впредь.

Ивана Петровича закрутила круговерт политической жизни. После освобождения из Бутырок он месяц проработал в московской меньшевистской газете «Вперед», а затем уехал в свой любимый Житомир. И, как всегда, попал в самое пекло. В годы Гражданской войны трудно было в пределах страны отыскать тихое местечко. Но второго столь ненадежного, опасного, взрывного, непредсказуемого города, как Житомир, трудно было отыскать вдвойне. Здесь невозможно было не только жить, но и достойно умереть.

О свержении самодержавия и победе Февральской революции обитатели Житомира узнали в начале марта 1917 года. Какие начались ликования, празднования! Устроили манифестацию, приветствуя свержение царя. А 9 марта прошли демонстрацией, организованной в поддержку Временному правительству. Власть в Житомире перешла от губернатора к губернскому комиссару Волыни от Временного правительства (затем от Центральной рады) А. Г. Вязлову. Вышли из подполья и начали легальную деятельность различные политические партии. Развернули работу профсоюзные организации, женские и молодежные союзы.

В марте в Киеве к власти пришла Украинская Центральная рада, 7 марта 1917 года состоялись выборы ее руководящего ядра. Рада вскоре провозгласила национальную и территориальную поначалу автономию, а потом и незави-

СОВЕТЪ РАБОЧИХЪ И СЕЛАНСКИХЪ

ДЕПУТАТОВЪ

Района Шлиссельб.
Порохового завода

ш. п. з

№ 200

У В Ъ С Т О В Ъ Р Е Н І Е.

Представитель моего - гражданинъ Кутаисской
Областной Думы, Лихауровъ Осипъ - в
Александровъ Шлиссельб. политическія освобожден
изъ Шлиссельбургской крепости, что подлинно
принадлежитъ подлинно удостоверено.



Минин

В. Шавишвили

Такие удостоверения выдавались политзаключенным,
освобожденным Февральской революцией
из Шлиссельбургской крепости (удостоверение Ф. Шавишвили)

симость Украины, вопреки решениям и устремлениям Временного правительства. Житомир, бывший тогда центром Волынской губернии, во всем поддерживал Центральную раду. А в начале апреля 1917 года в Житомире заработала собственная властная структура – Дума.

Вороницын принимает самое активное участие в политической и хозяйственной жизни города и края. Он председатель Житомирского Совета рабочих и солдатских депутатов 1-го созыва, гласный городской думы, член Центральной рады. Сотрудничает в местной прессе, в частности в ежедневной газете «Трудовая Волянь», начавшей выходить с 28 марта 1917 года (издание Волынского союза кооператоров), и в органе Житомирской организации меньшевиков «Рабочий голос» (выходил с июня 1917 года дважды в неделю). Во многом благодаря Вороницыну, несмотря на обилие всевозможных политических партий, главную роль в городе и области играют меньшевики. Он всячески способствует росту и сплочению меньшевистских сил. Пишет Устав Житомирской организации РСДРП. 1 мая 1917 года переписывает его набело от руки и скрепляет своей подписью. Участвует в Киевской областной конференции. Избран членом Киевского областного и председателем Волынского окружного комитетов РСДРП меньшевиков. Приглашен как представитель Волини на объединительный съезд РСДРП в Петроград, созываемый меньшевиками, с правом решающего голоса. Избран кандидатом РСДРП в Учредительное собрание по Волынскому избирательному округу.

Надо сказать, что наименование «меньшевики» не отражало реальной действительности. Даже на II съезде партии, когда появилось это название, большинство ленинцев оказалось в ЦК, но в целом на съезде преобладали меньшевики. Зря Мартов в свое время не отмежевался от

этого названия – оно сыграло в судьбе партии, впоследствии ставшей самостоятельной, печальную роль. Меншевики преобладали на всех этапах существования РСДРП, тем более в 1917 году. Если в октябре 1917 года большевиков насчитывалось около 24 тысяч человек (возможно, даже меньше), то меньшевиков – 170–180 тысяч, по данным некоторых исследователей – около миллиона. Сказалось, конечно, то, что если у большевиков царила железная дисциплина, и каждый участник движения обязательно должен был быть членом организации с вытекающими отсюда правами и обязанностями, то у меньшевиков в этом плане царила полная аморфность: достаточно было присоединиться к движению на словах. Отсюда и колоссальная разница в цифрах. Много было у меньшевиков и других недостатков: нерешительность, неверие в возможность скорого переворота, недооценка сил рабочего класса и т. д.

Однако они постоянно пытались объединиться с большевиками. Для этого и созвали съезд в Петрограде, который проходил с 19 по 26 августа 1917 года. И хотя на съезде было принято решение отныне называть партию РСДРП (объединенная), на самом деле никакого объединения не произошло. Более того, сами меньшевики раскололись на четыре фракции: крайних оборонцев, революционных оборонцев, интернационалистов-мартовцев и интернационалистов-«новожизненцев» (сторонников программы газеты «Новая жизнь»). Кроме того, отделилась фракция «Единство» во главе с Плехановым. Но поначалу участники съезда полны радужных надежд. На съезде присутствуют многие выдающиеся деятели из стана меньшевиков: Ю. О. Мартов, И. Г. Церетели, М. И. Либер, Б. И. Горев и другие. И, как мы уже говорили, И. П. Вороницын. Для нас этот съезд особенно интересен тем, что его участники

заполняли два обширных опросных листа. Один, адресованный лично делегату съезда, состоял из 17 вопросов. Во втором (он содержал 33 вопроса!) нужно было осветить деятельность представляемой делегатом организации.

Эти листки (анкеты) дают нам много интересных сведений, в частности и о личности Вороницына, и о меньшевиках города Житомира. Например, до чтения этих листков трудно было ответить на вопрос, какой же национальности был Вороницын. Вроде бы, родился в Нарве, в русской семье, однако очень часто на вопрос о национальности отвечал, что он украинец, даже в анкете, заполняемой перед расстрелом. Но общероссийский съезд любимой партии! Здесь не до каких-то побочных мотивов. И он с гордостью отвечает: «Великоросс». Не просто русский, а великоросс! Про фракционную принадлежность сообщил, что он меньшевик-оборонец. На вопрос, менял ли партийные и фракционные взгляды, твердо ответил: «Нет!». Сообщая сведения о руководимой им меньшевистской организации, Вороницын указывает ее точный адрес: Житомир, улица Киевская, 15. Число членов – 750, и оно постоянно растет. Большевистская группа ничтожная, и с ней меньшевики не поддерживают никаких отношений. Вот уже полтора месяца издают газету «Рабочий листок», а кроме того – различные листки и брошюры. Проводят курсы, готовящие агитаторов. На вопрос: «Отвлекает ли советская работа от работы в партии? Как относится к этому ваша организация?» – Вороницын ответил: «Отвлекает одного» (имел в виду себя). И добавил, что это он «считает неизбежным злом».

У нас есть возможность познакомиться с мнением о политической жизни Житомира и деятельности меньшевиков в период власти Временного правительства дру-

гой стороны – большевиков. В мае 1917 года в Житомир прибыл некто Борисов. Никогда ранее в этом городе он не бывал, особенностей его жизни не знал, но с большевистской решимостью обо всем судил безапелляционно. В начале 1920-х годов в Харькове выходил большевистский журнал «Летопись революции». В № 3 за 1924 год была напечатана статья этого самого Борисова, высоких тем не поднимавшая, но с многообещающим названием «Очерки революции на Волыни». Источник этот крайне редкий и для наших дней весьма любопытный, поэтому приведем его лишь с небольшими сокращениями.

Итак, Борисов описывает Житомир мая 1917 года: «Под одной крышей небольшого губернаторского дома разместились комитеты всех политических партий и другие “революционные” организации. Тут и с.-д., с.-р., н. с., с. с., е. с., бунд, нашлось место и даже для исполнительного комитета... объединенного студенчества. Работа кипит. Строят “всерьез и надолго”. Господствуют предусмотренные “демократическими” законами Временного правительства государственные и общественные организации – пресловутые городской, губернский и уездный исполнительные комитеты общественных организаций, городская дума, продовольственные комитеты. Совету Рабочих Депутатов, Воинских Депутатов (так назывался здесь Совет солдатских депутатов) уделялось мало внимания. Правда, Советы в этом отношении никаких претензий не предъявляли. В лице своих председателей “настоящих демократов” – меньшевика-оборонца Вороницына и полковника Иванова – они прекрасно понимали все значение общественных и государственных организаций и могли пренебречь в пользу последних “узкими цеховыми” интересами Советов. Большевистская печать в Житомир почти не попадала. Большевиков (членов партии) не

было. Рабочие, разбросанные по мелким предприятиям, неорганизованные, только еще начинали приобщаться к рабочему движению, не могли оказывать давление на эти “демократические организации”... О большевиках здесь существовало то представление, которое давала желтая пресса. В Житомире желтая печать была в исключительно выгодном положении, так как на ее гнусные инсинуации некому было реагировать. “Единому фронту” к.-д. – с.-д., казалось, ничто не угрожало».

Далее автор статьи ставит вопрос: с чего же ему в данной обстановке нужно было начинать? И отвечает: «Прежде всего, необходимо было создать хоть небольшую группу большевиков. Пытался отколоть от меньшевиков группу, называвшую себя “интернационалистами”, но не удалось. Лишь т. Таращанский уехал в Киев на какое-то профсоюзное совещание меньшевиком, а вернулся большевиком. Стало вдвоем легче. Сосредоточили работу на профсоюзах... Что касается Совета рабочих депутатов, то он вообще влачил жалкое существование, и оживить его можно было, только предварительно переизбрав его и освободив его, хотя бы в некоторой степени, от меньшевистско-эсеровского засилия». В профсоюзах, считал товарищ Борисов, им нужно было «подорвать авторитет “вождей” меньшевиков и бундовцев, среди которых было несколько старых политических работников с тюремным стажем и бывших политических ссыльных», ибо «авторитет человека с революционными заслугами в прошлом, в первый период революции, играл очень большую роль в деле укрепления влияния той или иной партийной группировки». Сам автор, по его собственным словам, был молод и не имел стажа партийной работы.

Затем Борисов изрядную часть статьи посвящает инциденту, случившемуся на железобетонном заводе. Рабочие

требовали введения восьмичасового рабочего дня согласно постановлению Временного правительства, а директор, ссылаясь на военное время, не спешил это делать. Тогда рабочие посадили директора на тачку и выкатили за пределы завода, за что десять человек, участников данной акции, были арестованы начальником милиции, казачьим офицером Крамаренковым. Потом их освободили, но двойка большевиков получила хороший повод побузить. Борисов писал: «Как только мы узнали об этом возмутительном факте, мы немедленно с группой рабочих отправились на поиски председателя Совета рабочих депутатов Вороницына. Мы его нашли на каком-то заседании одной из многочисленных в то время общественных организаций и обратились к нему с категорическим требованием немедленного вмешательства исполкома Совета и освобождения рабочих. Он ответил, что сейчас уже поздно, что завтра он примет меры. Вопрос об этом аресте был внесен на очередное заседание Совета, была принята резолюция, требующая расследования».

Далее последовала целая череда требований, расследований, объяснений, принятия мер, постановлений... Борисов писал: «В горисполкоме общественных организаций председатель Совета рабочих депутатов, маститый меньшевик, старый каторжанин Вороницын сказал, что находит арест рабочих бессознательной провокацией со стороны начальника милиции, что этим могут воспользоваться появившиеся в Житомире большевики. И в последнем Вороницын не ошибся. Больше того, мы еще лучше самого факта ареста использовали его выступление по этому поводу. Вместо смещения и укрощения ретивого казачьего офицера Вороницын занялся агитацией против большевиков! То, что десять рабочих арестовано за совершенно справедливые, даже с точки зрения кодекса труда

Керенского, требования – это в порядке вещей, плохо только то: “появившиеся большевики могут это использовать”... В последнем Вороницын не ошибся».

Рассказал Борисов о славных делах большевистской двойки: «В то время как меньшевики всецело были заняты, как правящая партия, “высокой политикой”, мы уделяли больше внимания повседневным нуждам рабочих... Наше влияние крепло с каждым днем. “Одиночки”-большевики были у нас во всех частях гарнизона... Таким образом, к середине июля [1917] мы имели группу актива в 25 человек, состоявшую из рабочих и солдат. Интеллигентов у нас было из этого числа трое... Был избран городской комитет. Мы поместились в одном из флигелей губернаторского дома... К этому времени можно считать первый период строительства Житомирской организации РСДРП (большевиков) законченным. Мы принялись довольно энергично за работу».

Трудно Борисова пересказывать и даже цитировать – он перескакивает от темы к теме, не закончив одной мысли, хватается за другую. И обо всем – предельно кратко. Приводит, например, интересный факт – об опубликованной на страницах газеты «Трудовая Волянь» от 6 июня 1917 года заявке В. И. Ленина – прочесть лекцию в школе прапорщиков пехоты. Мол, подавляющим числом голосов заявка была отклонена и высказано пожелание не допустить появления Ленина и в других местах Житомирского гарнизона. Бегло упомянув этот факт, Борисов заостряет внимание на том, как были встревожены меньшевики предстоящим состязанием с большевистским лидером. Рассказывает он и о том, как в условиях травли большевиков им удалось добиться успехов: при всей их малочисленности они заняли десять мест в рабочей секции во время перевыборов в объединенный Совет рабочих и солдатских депутатов (при численности секции в 80 человек). Вообще-то, мол, Совет

влачил жалкое существование, работал лишь он, Борисов. В условиях начавшегося бандитизма, небывалого шовинизма, петлюровщины и прочего, как заключает Борисов, «Городская дума и так называемые общественные организации растерялись». Наступили для Волыни черные дни. Куда в эти черные дни подевался сам Борисов – он умалчивает.

Но у товарища Борисова обнаружили продолжатели. В том же самом журнале «Летопись революции», в № 6, были опубликованы две небольшие статьи на ту же тему: Л. Михайлова «К истории Октября на Волыни» и И. Дашковского «Октябрьские дни в Житомире и на Юго-Западном фронте». Оба, как и Борисов, случайные люди в Житомире, города и его людей не знают, меньшевиков презирают, их руководителя Вороницына – тоже. Вот что писал об этом Михайлов: «Преобладающую роль в предоктябрьские дни в Житомире играли меньшевики. Лидером их был участник восстания на “Очакове” в 1905 г., старый каторжанин Вороницын. Это был большой догматик. Все его выступления были соглашательски выдержаны, впрочем, так же, как все речи меньшевиков, выступавших в дни революции в России». Как любят сегодня говорить, «Без комментариев!». Кстати, Михайлов раскрыл нам секрет, кто же такой этот самый Борисов. Оказывается, командированный из Москвы студент-медик Арон Коган. Названные авторы вынуждены признать, что меньшевики получили преобладающее большинство в Советах («хоть и дутое», по их мнению), выпускают массу литературы, особенно плакатов, что на митингах им приходится драться с Вороницыным (не уточняют исход боев)...

В начавшейся непрерывной череде смен властей наступят тяжелые дни и для Вороницына. Но пока он счастлив. Наконец-то он женился на так долго и верно ожидавшей

его Евгении Петровне. Первоначально проживали они по адресу: улица Дубенская, 15. Молодая семья ждала ребенка.

А события на Украине развивались следующим образом (назовем лишь некоторые). 26 октября 1917 года в Житомир пришла весть об Октябрьской революции, и уже 27 октября Совет рабочих и солдатских депутатов признал Центральную раду высшим органом власти на Украине. А в ноябре и сама Рада провозгласила себя правительством Украинской Народной Республики, но оговариваясь, что Украина не отделяется от России. 3 декабря СНК признал право Украины на самоопределение. 11 декабря 1917 года украинские большевики собрали в Харькове Всеукраинский съезд Советов, который взял власть в свои руки, и 17 декабря ЦИК Советов Украины принял решение об установлении Советской власти на всей территории Украины, в том числе и в Житомире.

Из-за наступления большевистских войск на Киев в ночь на 28 января 1918 года члены Центральной рады переехали в Житомир, надеясь хотя бы временно сделать этот город местом работы высших органов власти Украинской республики. Но командование большевистской 7-й армии послало городской думе Житомира телеграмму, что обстреляет и разгромит город, если Житомир примет Центральную раду. Пришлось членам Рады срочно перебазироваться в небольшой городок Коростень, известный со времен княгини Ольги. Этот центр древлян в свое время Ольга сожгла, отомстив за гибель своего мужа князя Игоря. 5 февраля 1918 года в Житомире была провозглашена Советская власть. Но продержалась она лишь несколько дней. И началась катавасия: с 1917 по 1920 год власть в городе будет меняться 13 раз!

24 февраля 1918 года в Житомир вошли немецкие войска. Первая мировая война затянулась. Россия в ходе ее

была крайне истощена. Народ устал. Солдаты, не дожидаясь заключения официального мира с Германией (эта тягомотина тянулась слишком долго), самоделом покидали окопы, возвращаясь домой, к мирной жизни, к заброшенным хозяйствам. Советское правительство понимало, что если любой ценой незамедлительно не заключить мир, оно рухнет. Согласно предложенным Германией и ее союзниками Австро-Венгрией, Болгарией, Османской империей условиям, они аннексировали Польшу, Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья... И должны были получить 6 миллиардов марок контрибуции. Называя Брестский мир «похабным», В. И. Ленин и большевики приняли эти условия, а IV Всероссийский съезд Советов ратифицировал его. Большевики надеялись на скорую революцию в Германии и в некоторых других странах. Что и произошло: в Германии разразилась революция, страна потерпела поражение в Первой мировой войне, и Правительство РСФСР 13 ноября 1918 года аннулировало ярмо Брестского мира.

Всё гораздо сложнее складывалось на Украине. Одним из условий еще только разрабатываемых требований Брестского мира было предоставление ей независимости. И она ее получила. Но Украина не в силах была сохранить независимость, не в состоянии поставлять в Германию требуемое количество зерна... В то время, когда шли переговоры в Бресте, большевики заняли Киев. Так началась печальная неразбериха и во всей Украине, и в Житомире, о чем уже говорилось выше.

Иван Петрович Вороницын, уже успевший так много сделать для любимой Украины, для города Житомира и, казалось бы, наконец-то нашедший применение своим недюжинным силам, с приходом немцев в город оказался в тяжелейшем положении. В 1923 году в Харькове, в Го-

сударственном издательстве Украины вышла его книга «У немцев. Очерки политической тюрьмы и ссылки». Вот так-то. Революция, борьбе за которую Вороницын посвятил столько мучительных лет жизни, произошла. Украина стала самостоятельным государством. А герой наш снова пишет о тюрьме и ссылке.

Но предоставим слово ему самому. Книга эта – большая редкость, так что попытаемся не отходить далеко от текста. Открывается она подзаголовком «Арест» и словами: «Стук, стук, стук! Кто может стучать так рано? В былое время мы знали: обыск, арест... Но теперь, в дни Центральной рады, насаждающей Народную Республику с благословенной и, как нам, членам Центральной рады, еще так недавно с трибуны повествовал г. Голубович, очень дешевой помощью немцев, казалось бы, такого истинно-отечественного стука ждать не следовало». Еще вчера с возглавляемым им комитетом меньшевиков заседали в городском театре, сидели в ложе думского президиума на мягких губернаторских креслах... Правда, уже там много говорили о начавшихся в городе арестах. Но ведь он-то – член Центральной рады, лицо неприкасаемое. Живут они тихо-мирно в Рабочем клубе. У них есть кошка, попутай, скоро будет ребенок. И вдруг этот неожидан-но-тревожный стук.

Можно было удрать через черный ход, но, наивный человек, предположил, что зарвавшихся немецких гостей одернет украинское правительство: оно столь торжественно клялось, что «дружественная помощь» островер-хих касок будет носить самый лояльный характер. «Ну, посижу несколько дней. Ничего в этом страшного нет. Попрактикуюсь в немецком языке», – решает он. И спрашивает: «Кто там?». В ответ слышит: «Немецкий офицер. Отфоряй, пожалуйста». За дверью – лейтенант Грамс («се-

рая фигура с каменным лицом. Длинный, тощий, прямой, как немецкий штык») и ефрейтор («весь извивающийся от полноты расположения к вам»). В переводе речь Грамса звучала так: «Печальная необходимость. Возможно недоразумение. Но потрудитесь отправиться с нами. Вы арестованы», – а в подлиннике: «Фи арештант». Вороницын лишь просит: «В эту комнату прошу не входить. Моя жена не оделась еще». И, как опытный каторжанин, начинает торопливо собирать вещи: постель, белье, папиросы, книги... Вышедшая жена помогает ему все укладывать в корзину. Иван Петрович все же пытается выяснить у Грамса, за что его арестовывают. Грамс говорит, что они ничего не знают, что таков приказ высшего начальства, и протягивает Вороницыну «документ» – хилую бумажку без особых опознавательных знаков, но подписанную комиссаром Рады Голубовичем о том, что «лейтенанту Грамсу даются украинской властью полномочия производить обыски и аресты по его, Грамса, усмотрению». И все-таки Вороницын верит, что недоразумения рассеются. «До скорого свидания», – уверенно и весело говорит он жене уходя.

Привозят Вороницына на вокзал, надолго оставляют в маленькой, душной комнате, битком набитой такими же, как он, бедолагами. Все – знакомые по Житомиру, и все – уважаемые в городе люди. Им уже разъяснили, что повезут их в польский городишко Бялу, там состоится суд, и во всем разберутся. Через переводчика Грамс сообщает следующее: «Вы здесь вредны... Вас мы отправляем туда, где вы будете безвредны... для интересов немецких войск. Но вы не бойтесь – ваша жизнь в безопасности. Мы не москали и убивать вас не будем. Там вы будете иметь некоторую свободу передвижения, вам только укажут границы, за которые выходить будет нельзя. Ведите себя хорошо, и вам будет хорошо». На вокзал прибегают

родственники, друзья, товарищи. Приносят деньги, съестное, дорожные вещи. Пока все спокойны, все полагают, что недоразумение вот-вот рассеется, потому и вещей с собой особых никто, кроме Вороницына, не взял. Он-то, опытный каторжанин, понимает, что может пригодиться в подобной ситуации. Наконец грузят всех в вагон, и поезд отправляется.

Вороницын вспоминает, как ровно год назад после долгих-долгих лет неволи распахнулись тюремные двери, как все они, недавние арестанты, пристегнув красные банты, радовались, пели, смеялись... «Освободившаяся страна в мощном порыве устремила вперёд. Всего год минул, и снова мы у старого корыта», – заключает он. Вокруг серые шинели, винтовки, щелканье затворов и угрозы: «Если вздумаете бежать, будем стрелять». «Проезжаем через опустевший театр военных действий. Бесчисленные могилы. Кладбище, растянувшееся на десятки верст. Разрушенные деревни, сгоревшие дома. Страшное безлюдье». Дальше поезд не идет. Добираются то в донельзя набитом грузовике, то в товарняке, то пешком. «Такого пренебрежительного отношения к человеку я никогда еще не встречал, – пишет бывалый каторжник. – Полное нарушение всех традиций этапного следования». На требование конвоируемых показать документ, поясняющий, куда, почему, на какой срок кого конкретно этапируют, конвоиры показывают бумажку, написанную карандашом. Ни печати, ни адресата, кому бумажка адресована, ни имен, ни фамилий арестантов в этом «документе» нет. И, конечно, не указано, за что, на какой срок, куда, зачем их везут.

Оказалось, конечный пункт – Бяла. Тихий польский городок, в основном населенный евреями – нищими, забитыми, униженными. Настоящее гетто. Не снимешь шапку, встретив немецкого офицера, – будешь избит, оштра-

фован, посажен в тюрьму. Не уступишь ему на улице дорогу – то же самое. Поэтому на улицах безлюдье: сидят по домам, от греха подальше. Но есть мероприятия, отлынивать от которых никак нельзя. Например, устраиваемые немцами для населения бани. Все граждане – мужчины, женщины, дети от известного возраста – обязаны раз в две недели появляться в этом учреждении и в течение 5 минут стоять под теплым душем. Не важно, трешь ты себя мочалкой или просто стоишь. Посетившие регистрируются. Отлынивающим – штраф, тюрьма.

Но это для граждан свободных. Вороницын и его товарищи попадают сперва к начальнику Бяльской тайной полиции, «первоклассному взяточнику и держиморде», как характеризует его Иван Петрович. «Как зовут? Большевик?» – вопрошает «держиморда». Вороницын отвечает, что он не большевик, а меньшевик, социал-демократ, на что допрашивающий безапелляционно отрезает: «Это одно и то же». Начался обыск. Забрали у Вороницына паспорт, партийный билет, удостоверение о том, что он член Центральной рады, хлебную карточку, несколько книг... И отправили в тюрьму.

Началась жизнь, полная неизвестности, долгих ожиданий и, казалось, навсегда оставленного позади, тягостного тюремного быта.

Поскольку Польша совсем недавно входила в состав Российской империи, была здесь обычная русская тюрьма, только несколько ободранная экономными немцами. Например, убрали вторые рамы на окнах. По вечерам не полагалось никакого освещения, арестанты не могли даже за свой счет приобрести свечей: немцы боялись огня. Вот клопов не тронули – они остались в большом количестве. В камере вдоль стены – покатые нары, сесть на которые нельзя из-за барьерчиков, призванных удерживать на на-

рах солому, которой не было и следа. Ни стола, ни скамейки. Высоко, под самым потолком – маленькое оконце, забранное массивной решеткой. Короткие прогулки в тюремном дворике. Питание ужасное: «Кормили... лишь настолько, чтобы нельзя было непосредственно умереть голодной смертью. Небольшой кусок хлеба – так в $\frac{3}{4}$ фунта весом на весь день, в обед миска – литр супа из брюквы, утром и вечером по литру жидкого несладкого кофе – вот и всё». Хорошо, что пока еще были деньги, да и тюрьма воспринималась как временное пристанище, своеобразный карантин.

Но дни шли за днями, а положение не менялось. «Ни допроса, ни обвинения, ни определения срока тюремного заключения, – пишет Вороницын. – На все наши приставаания, а приставали мы к немцам частенько, нам отвечали, что дело находится в Киеве», что его и товарищей считают «находящимися под стражей», а не подследственными. Потеряв всякое терпение, «находящиеся под стражей» написали гневное письмо в Обер-командо с решительным протестом против чинимого над ними произвола и требованием немедленного освобождения: «Если нас считают преступниками и в чем-либо обвиняют, пусть предадут украинскому суду». Ультиматум послали в марте, но наступил май, а ответа все не было. Между тем, пройдя через все немецкие цензуры, один из сидельцев получил письмо. До этого арестованные даже писем не получали, а уж о посылках или переводах и речи не было. Полученное письмо даже у завзятых скептиков родило надежды на близкое освобождение, ибо сообщало, какие шаги по освобождению арестантов предпринимают дума, друзья и родственники. Даже прислали выдержки из газеты «Трудовая Волянь», где приводились высказывания немецких властей о том, что уже сделано распоряжение об освобождении узников.

Наконец, 5 мая повели их в город к судье – без конвоя и даже не строем (как, например, водили в баню). Завели в какую-то небольшую комнату, где за столом восседал судья, а по бокам его – два господина. Один оказался украинским комиссаром, а второй – секретарем. Посыпались вопросы. Кто из вас член Центральной рады? От какой партии? За что арестованы? Последний вопрос адресовался всем, но ответить на него никто не мог, ибо никому никакого обвинения предъявлено не было. «Вы что, нас допрашиваете?» – спросил Вороницын и потребовал в таком случае вести протокол. «Нет, нет, – всполошился «суд». – Это только в целях информации. Через три дня все выяснится».

Но прошло три дня, прошло три недели...

Арестованные понимали: их есть в чем обвинять. И забастовки рабочих организовывали. И выступали в городской думе с резкими речами. «На моей совести лежало... два выступления, – писал в книге Вороницын. – По поводу привода министерством Голубовича немцев на Украину. И вообще в городе и губернии мы пользовались значительным и, с немецкой точки зрения, отнюдь не благотворным влиянием, были “вредными людьми”...».

А на другой день они узнали о приходе к власти гетмана Скоропадского. Бывший царский генерал П. П. Скоропадский – ставленник немцев. Рухнула последняя надежда. Потекла унылая, монотонная жизнь: ни вестей с родины, ни газет, ни каких-либо занятий... Только одна новость: привезли с Украины свеженьких арестантов.

Поползли слухи, что скоро всех отправят в лагерь. И действительно, 25 мая объявляют: быстро собрать вещи. В 12 часов уже двинулись в путь. Под караулом, с офицером во главе. Шли недолго – лагерь оказался в двух верстах от города. Собственно, лагерь как такового там еще не было.

Стоял среди поля огромный сарай (барак № 5): видимо, когда-то это был склад. Во дворе пробурили артезианскую скважину. В барак провели электричество. Стало ясно, что засадили их сюда надолго. Две маленькие, грубо сложенные печки должны были обогревать эту махину. Вдоль стен – в два этажа сколоченные нары. Выдали старые, начиненные вшами одеяла. Принесли в барак «деревянную шерсть» – мелко наструганную древесину. Кто спал наверху, страдал от того, что трудно было туда забираться. А кто располагался внизу, мучился от пыли, ибо мелкая стружка быстро в нее перемалывалась. С трех сторон сарай окружал двор, с четвертой – натянутая в два ряда колючая проволока. Двери в сарай никогда не закрывались, и можно было торчать во дворе весь день, но не позднее десяти часов вечера.

Комендант лагеря – лейтенант-фельдфебель (по чину нечто вроде нашего подпрапорщика – пояснял Вороницын). С красной рожей, рыжими усами и глазами навывкат. Он убеждал своих подопечных: «Ви дольшни карашо поводитися», – спокойно сидеть в бараке, не переговариваться с военнопленными и беженцами, не устраивать побегов... Но очень-то в дела арестантов не вмешивался. Вообще лагерная жизнь давала много преимуществ. «Хорошо было в лагере после тюрьмы! Душа отдыхала, отдыхало тело. Было самое начало лета, и природа улыбалась нам и ярким солнцем, и звездным небом, молниями гроз и ароматами лесов и полей». Таковы были первые впечатления. Но скоро охватило чувство, будто бы ты зверь в зоологическом саду: вроде бы и на свободе, но на свободе ограниченной. «И постепенно становилось жаль покинутой тюремной определенности, запертых дверей, прогулки без присеста в течение положенных минут и неподвижного, непоколебимого силуэта решетки, отделяющей тебя от внешнего мира».



**Житомирская коммуна в Брест-Литовском лагере.
Слева направо: Вучетич, Гольдфельд, Вороницын,
Гриншпун, Кимешблат**

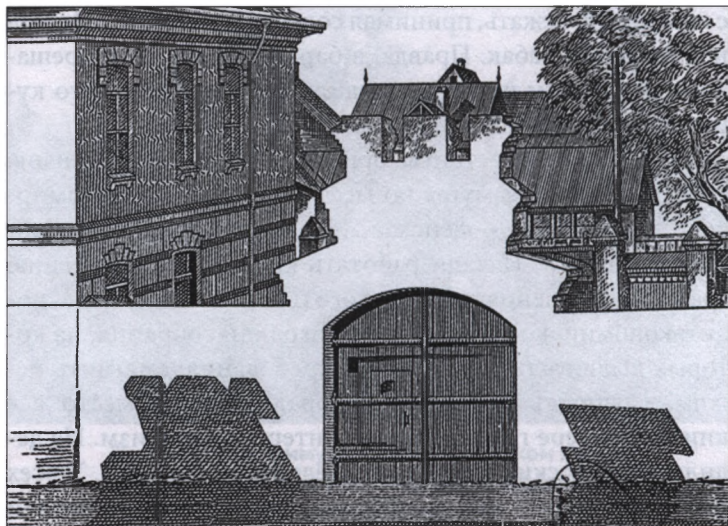
Поначалу нравилось, что в огромном сарае их было совсем немного. Нары жались к стенам, а в центре можно было хоть бегать, хоть в чехарду играть. Что и делали. Но постепенно барак наполнился до предела. Спали и под нарами, и на веранде, и под верандой... Кого здесь только не было! От забитых неграмотных крестьян из самых глухих уголков Украины и Белоруссии до интеллигентов «высшей пробы». Немцы засуетились, начали отселять вновь прибывших в другие лагеря.

Питание мало чем отличалось от тюремного. Правда, хлеба давали немного побольше. Утром пили чай с запахом прелых портянок. Кроме единственного блюда в обед – неизменного брюквенного супа – иногда в ужин давали «прибавление» в виде куска съедобной колбасы или ложки джема, сваренного из фруктового либо овощного жмыха. Или немного маргарина. Но можно было входить в помещение и выходить, когда заблагорассудится. Сидеть на траве

с книгой или лежать, принимая солнечные ванны... Не был под запретом табак. Правда, в бараке курить не разрешалось, но за этим никто не следил. Сие для страстного курильщика Вороницына значило немало.

Постепенно арестанты организовывали свою жизнь. Складывались коммуны по месту жительства: житомирская, харьковская, ровенская... Появились старосты – общий и коммун. Начали работать кружки: по овладению грамотой, изучению украинского и немецкого языков, политекономии, кооперации... Проходили собрания, на которых выдвигались различные требования: смягчить режим, улучшить питание... Собрали в одно место все книги. В лагере господствовал интернационализм. Не делились на русских, украинцев, белорусов, евреев... У всех был один враг – немцы. Правда, когда в лагерь начали прибывать уголовники, начались споры, ссоры. Немцы к уголовникам относились с бóльшим пренебрежением, чем к политическим. Заметно ухудшилось питание. А ведь никаких посылок или денег арестанты по-прежнему не получали. Лишь одна льгота появилась в середине лета: с большим трудом, после долгих переговоров с комендантом получили разрешение выходить за пределы лагеря.

И вот бредут они в сопровождении «серой солдатской фигуры». Не поля, леса, холмы интересовали их, а деревни, люди. Жалкие, забитые крестьяне, особенно православные. Их выселяли из хат, чтобы расселить немецких солдат. Во дворах почти не видно было лошадей, коров, мелкого скота и птицы – всё забрали и съели немцы. А что осталось, было взято на учет, обложено всякого рода натуральными повинностями и налогами. Но скоро эти прогулки закончились: один бывший офицер пытался бежать, его поймали, кар особых не последовало, а вот вояжи закончились.



Ворота Большой тюрьмы (вид камеры).
Рис. из книги И. П. Вороницына «У немцев»

К середине лета наконец-то Вороницын и товарищи установили нелегальную связь с родиной. Через полевую почту до близких доходило едва ли два процента отправляемых писем, а от них – и того меньше. Вороницын писал: «Просматривая впоследствии, по выходе из этого пленения, письма, полученные от меня женой, я убедился, что дошло лишь два или три письма, в которых я совершенно случайно не выразил даже слабым намеком недовольства своим положением, и в которых чуткому уху цензоров не послышалось и нотки естественного в наших условиях протеста». А когда наладилась нелегальная связь, сразу поднялось настроение. Ведь получали не только письма, но и газеты – украинские и русские. В одном из нелегальных писем, вспоминая свои былые тюрьмы и сравнивая их с этой, Вороницын констатировал:

«Царские жандармы и тюремщики были куда человечнее в отношении допущения связи заключенных со своими родными и близкими». Он и по прошествии нескольких лет, когда, наконец-то воссоединенный с семьей, писал книгу «У немцев», совершенно спокойно и обдуманно повторял эту мысль. А началось это свободное общение с близкими, когда в июне освободили житомирского студента Подгорного, социал-демократа. С ним Вороницын близко сошелся еще в пору сидения на вокзале в Житомире и не расставался все это время. Когда Подгорный уезжал домой, ему надавали кучу писем, конечно же, не прошедших никакой цензуры. И дали ему задание: так обработать своего конвоира, чтобы тот, возвратясь из поездки, привез почту от близких и в дальнейшем всегда готов был на услуги подобного рода. И, как вспоминал Вороницын, «Подгорный блестяще выполнил эту задачу».

А народ в лагерь все прибывал, заполняя новые и новые бараки и утрамбовывая их барак – пятый. Каких только национальностей тут не было! Оказался даже один австралиец – молодой парнишка, рабочий-железнодорожник. Воевал на стороне Антанты, попал в плен, пробыл в лагере два года, удрал и шел пешком 14 дней – через Украину на Москву. Поймали его в окрестностях Бялы. Он потянулся к Вороницыну, поскольку плохо, хорошо ли, мог общаться на родном языке. «Москва его интересуется сама по себе, – писал Вороницын. – Он еще в Австралии много читал о ней. Интересно посмотреть. Обменялись адресами. Долго трясли руки при расставании. Позвал в гости в Сидней после войны». Вороницын тоже пригласил его в Белокаменную, обещал сам показать ему все ее достопримечательности. В каком восторге был австралиец от слова «белокаменная»! Все повторял его. Но вскоре его вернули туда, откуда он удрал.

Среди вновь прибывших были и военнопленные, бежавшие из других лагерей. «Целые романы можно писать по их рассказам», – полагал Вороницын. Были среди них и промышленники, и купцы, и рабочие, и крестьяне, и сестры милосердия, и труженицы борделей... Женщин содержали изолированно, подальше от голодной мужской массы. Прибывшие из Германии утверждали, что революционное движение там делает огромные шаги. «Взрыв неизбежен, без него страна не вернется к равновесию», – утверждали они.

Вороницын в своей книге все время говорит о безалаберности, нерасторопности, даже бестолковости немцев, о страшной их неорганизованности, неумении вести дела и об отсутствии настоящей дисциплины. Никакой документации, никакого порядка! И это о немцах! Либо Вороницын судит предвзято, либо в конце Первой мировой войны немцам и впрямь все настолько осточертело, и им действительно не было никакого дела до того, что творилось вокруг. Прибывают всё новые и новые арестанты, и, «бог знает, кем и за что они арестованы». Прибывших та суют на «лучших» и плохих. У первых (а это представители буржуазии, интеллигенции) и место обитания должно быть комфортнее, и пища съедобнее. Но поскольку русского языка лагерные служаки не знают, в делении на «лучших» и остальных случались настоящие казусы. Так, в «лучшие» попал банщик, объяснявший, как хорошо он мыл чиновников. «Ви работал шиновник», – решает немец. «Так точно, как наша должность такая», – соглашается с ним банщик. Зато профессора, предприниматели порою попадали к самым отбросам общества.

Среди такого сонмища народа, разного по национальности, вере, образованию и прочему, ссоры были неизбежны. Вороницын признаётся: «Лагерная теснота, веч-

ный шум, споры и ссоры, в конце концов, стали мочалить и мои притерпевшиеся нервы. И не раз в письмах к жене и в разговорах с наиболее близкими товарищами выражал я желание: “Хоть бы снова в тюрьму на отдых попасть”». И желание это скоро осуществилось, правда, ненадолго. Далее в книге следуют выписки из его дневников и писем к жене, довольно часто нелегально отправляемых на родину. Он писал, что оказался замешанным в несколько разборок пленных с немцами. Сам этих ссор не затевал, и даже участником их не был, но арестанты всегда обращались к нему, во-первых, как к образованному арбитру, во-вторых, как к человеку, знающему немецкий язык, и, в-третьих, просто как к доброму и справедливому человеку. Вот и оказался снова в тюрьме. Сидел в одной камере с украинцем, ярым сторонником «самостийности» его родины. Всё, о чем они беседовали, – еще одно доказательство, что украинцем Вороницын не был, но вписывал в некоторых документах себя украинцем в пику тем, кто пренебрежительно к этой национальности относился, и в благодарность земле, на которой прожил лучшие годы своей жизни.

Между тем нелегальная почта приказала долго жить. Вороницын сетовал: «Давно не имею вестей из дому и волнуюсь... Знать бы, что роды (еще в начале августа жена моя должна была родить) прошли благополучно, и я сразу обрел бы привычную тюремную ясность духа». Снова обещали скорый суд. Повели к судье, но тот их даже не принял. Посидели они на крылечке. Немцы о чем-то между собой поговорили и без всяких бумаг, без всякого объяснения вернули в тюрьму.

«Сидим уже три дня, а и до сих пор сержант, заведующий тюрьмой, не получил никаких бумаг, мотивирующих наше пребывание тут». Камера сносная, небольшая и до-

вольно чистая. И клопов меньше, чем в прежней. Зато уйма мышей, которые арестантов совсем не боятся и бесстрашно штурмуют их припасы даже среди бела дня. Огня не дают. Из окон, по словам Вороницына, открывается «недурный вид». Внизу, прямо, сады и огороды. Вправо и влево – жалкие домишки еврейской бедноты. Кладбища, поля. «Весь вид замыкает синяя черточка дальнего леса. Нервы отдыхают от лагерного галдежа». Было бы почти благостно, если бы не сцены издевательства немцев над еврейской беднотой, которые приходилось наблюдать из окна камеры, и бесконечная неизвестность, когда же и как решится их дело. Уже третья неделя пошла – и никакого движения...

Наконец утром 4 сентября Вороницына отвели обратно в лагерь, но оттуда в тот же день отправили в Брест-Литовск, тоже лагерь, но, как обещали, условия там гораздо лучше, ибо лагерь этот считался офицерским. На самом деле окажется и там невероятная мешанина арестантов самого разного толка – от уголовных бродяг до министров новых правительств и высоких армейских чинов, от черносотенцев до большевиков... При встрече новичков обыскали, хотя довольно поверхностно. Выдали по миске, по ложке, по одеялу. Товарищи в отведенной им камере показали койки, познакомили с порядками и нравами. Прибывшие встретили много знакомых лиц.

Внешне лагерь понравился. Огромный вал, покрытый зеленой травой, с развесистым дуплистым деревом на нем, с высоким бруствером, на котором дружными рядами выстроились репейники, ограничивал лагерь с одной стороны. На огромном дворе тоже репейники и много травы. Но повсюду угрожающие надписи типа: «Не подходить ближе, чем на 4 шага». Обитель арестантов протянулась на большое расстояние, на флангах – нежилые по-

мещения. Слева отхожее место, карцер. Справа цейхгауз. Между ними ряд камер-казематов со сводчатыми потолками и толстенными стенами. «В распределении публики видна система», – отмечал Вороницын. Две восточные камеры носят название «министерских»: они имеют особый вход и устроены со значительными удобствами. Колючий забор отделяет это привилегированное жилище министра Парамонова, полковника Потехина и им подобных, а также их денщиков от остального лагеря. «Чтоб большевики и прочие вредные люди не надоедали знатным узникам и не тревожили их». С западной стороны, тоже на отлёте, но не отделенная забором от остальных, находится камера «офицерская». Кого здесь только не было! Например, командир большевистского кавалерийского отряда Гусаков и офицер добровольческой армии, гордо носивший медаль в память 300-летия дома Романовых и любивший рассказывать, «какой занимательный звук издает большевистское горло, когда его сдавливает петля виселицы». Кого-то здесь терпели, от других старались отделаться.

Между этими камерами («министерскими» и «офицерской») располагались камеры для интеллигенции и вообще «чистой» публики (именно здесь находился Вороницын) и камеры для простого народа. Последних было более всего. В этих камерах была самая неприятная обстановка: простые столы, скамьи. Спали на таких же двухэтажных нарах, как в Бяле. На стенах прибиты грубо выструганные, некрашенные шкафчики – по числу сидельцев. Поначалу их никто не запирал, но позднее, когда в лагере появились уголовники и прочий малонадежный люд и из шкафчиков начало пропадать съестное, приобрели замки и начали их запирасть. В углу стояла круглая железная печка. С потолка свисала тусклая электрическая лампочка. В привилегированных камерах обстановка бы-

ла комфортнее: «В “офицерской” удобств больше. Спят господа офицеры на хороших кроватях, с тюфяками, не очень тесно. Сидят они на табуретках. А в “министерской” уже венские стулья, чуть ли не кресла, комод, хорошие столы, покрытые скатертями».

Истинного демократа Вороницына такое неравенство явно не устраивало. В том числе и неравенство, творящееся в пределах кухни. Первыми кормят офицеров (министерские, видимо, питаются по месту жительства). «Плебс ворчит своим голодным нутром. Ворчим и мы, относительно сытые, но вечные сторонники равенства, демократии. Ворчим из принципа». И добиваются равенства в этом вопросе. Было бы из-за чего спорить! В этом якобы привилегированном лагере кормили не лучше, чем в Бяле. Только здесь на обед вечный бяльский суп заменяли иногда супом из каштановой муки. Что это такое – не поняли. Сами немцы его явно не ели. Даже пудель фельдфебеля не ел. Про этого фельдфебеля мы еще вспомним.

При всем желании Вороницына быть демократичным и справедливым понимание людей, их истинной сути иногда его подводило. И в тюрьме, и в Брест-Литовском лагере он встречался с крупнейшей личностью юга России предреволюционной поры – Н. Е. Парамоновым, но в книге своей писал о нем весьма нелицеприятно. Личность Парамонова настолько неординарна, что стоит рассказать о нем подробнее.

Вот как пишет о нем Вороницын в книге «У немцев»: «...на прогулочный двор выходят окна полицейского арестного помещения, в которое сажают особ рангом выше обычных тюремных жителей... В окне показалась фигура русского типа. Что, думаем, за птицу поймали немцы, что с нами грешными не сажают. А птица эта преспокойно скинула с себя рубаху и, блистая нагим упитан-

ным телом, по-настоящему, по-арестантски... вшей ищет и тут же, на окне, ноготочком их... Посмеялись мы, пошутили. А на другой день прониклись почтением, услышав, что особа эта – никто иной, как знаменитый Парамонов, когда-то издававший газету “Донская Речь”, популярные брошюры крамольного свойства и оказывавший солидные услуги нелегальным социал-демократам. Бывший человек, одним словом. А сейчас и бывший министр вдобавок. Нам сказали немцы, что он был председателем Совета министров государства, называющегося “Всевеликое войско Донское”. Так преходит слава мира сего». И вот – новая встреча, в Брест-Литовском лагере. Конечно, содержится Парамонов в «министерской» камере.

Николай Елпидифорович Парамонов (1876–1951) – сын миллионера и сам крупнейший предприниматель, один из богатейших людей юга России, владелец шахт, пароходов, мельниц... Учился в Московском университете, увлекся политикой, отчего был из университета отчислен и в 1902 году вернулся в Ростов под негласный надзор полиции. Со временем получил образование в Киевском университете. В 1902 году в Ростове-на-Дону на подставное лицо открыл издательство «Донская Речь», был негласным владельцем одноименной газеты. Издательство носило просветительский и политический характер и за время существования (власти закрыли его в 1907 году) выпустило свыше 500 названий книг и брошюр. По всем параметрам занимало оно первое место среди провинциальных издательств России. Книги выпускались на высоком уровне, а стоили очень дешево, от 0,5 до 6–8 копеек, и были доступны малоимущим. В 1903 году издательство получило золотую медаль на выставке Северного края. Современники писали, что «на книгах, выпущенных “Донской Речью”, воспитывались миллионы молодых ра-

бочих, крестьян, учащейся молодежи, приобщавшихся через эти издания к прогрессивной и революционной литературе».

В 1902–1905 годах преобладала художественная литература. Среди авторов, публикуемых издательством, были Л. Толстой, В. Короленко, А. Куприн, Л. Андреев, В. Вересаев и многие другие. Во время революции 1905–1907 годов «Донская Речь» печатает труды К. Маркса, Ф. Лассаля, А. Бабеля, К. Либкнехта и других подобных авторов и, по словам Вороницына, «популярные брошюры крамольного свойства». Издательство выпустило 26 номеров историко-революционного журнала «Былое», которым специалисты активно пользуются до сих пор. Выпускало оно и листовки. Как уже говорилось, «Донскую Речь» закрыли в 1907 году, издателей привлекли к суду. Дело тянулось до 1913 года, когда в связи с 300-летием дома Романовых и широкой амнистией его прекратили. Парамонов позднее не раз пытался продолжать работу издательства, в том числе сразу же после Февральской революции. Он был прекрасным предпринимателем и щедрым благотворителем. На его многочисленных предприятиях рабочим платили хорошие зарплаты и вообще заботились об их нуждах. В последние годы своей жизни в России состоял членом партии кадетов. Власть большевиков не принял. В 1918 году во время немецкой оккупации отказался снабжать немцев зерном, за что и был посажен в тюрьму – там его и встретил Вороницын. После освобождения из тюрьмы и лагеря поздней осенью 1919 года на одном из последних поездов уехал с семьей в Новороссийск, а в начале 1920 года на последнем оставшемся у него пароходе «Принцип» – в Константинополь. В 1921 году переезжает в Германию и уже навсегда. На Русской земле остались мельницы Парамонова, которые работали десятки лет, целая флотилия судов, высо-

коразвитая угольная промышленность, изданные им книги...

Но вернемся в Брест-Литовский лагерь. Всеми делами здесь ведал фельдфебель – по характеристике Ивана Петровича, сытая, откормленная скотина. Жир шеи свисает складками на воротник. Свиные глазки прячутся в толстых щеках. И при этом мстителен, жесток. Решил ввести в лагере собственную дисциплину: чтобы при его появлении стояли, чтобы, разговаривая с ним, держали руки по швам... Крал безбожно все. Воровал даже из тех жалких трапез, которые полагались арестантам. Зато давал «домашние обеды» – конечно, за деньги и, конечно, из ворованных продуктов. А когда Вороницын с друзьями потребовали поставить на кухне своего наблюдателя, страшно оскорбился. Занимался ростовщичеством, спекуляцией. По дешевке покупал у крестьян, а потом продавал в лагере втридорога сало, картофель, водку... Наглый солдафон, жаждущий ущемить арестантов и показать свою власть. Любил произносить речи типа: «Письма писать по-немецки, тогда будет доходить скоро. Ответы тоже должны писать по-немецки... Нельзя подходить к проволокам. Нельзя показывать голову над валом. Нельзя... И пошел, и пошел...». Вдобавок ко всему вздумал вводить правила поведения, никакими параграфами не прописанные. Вот, мол, пишут лишние бумаги, беспокоят начальство: «Прежде чем писать, должны слушать меня, и я буду говорить, можно или не позволяется писать». Или заявлял: «С сегодняшнего дня я приказываю больше не лежать днем на койках». Напившись, ночью палил по окнам камер из револьвера.

Терпели-терпели люди и решили объявить голодовку. Звонит фельдфебель в колокол на завтрак – никто не идет. Звонит на обед – снова никого. Тут он забеспокоил-

ся. К голодовке присоединился (чего не ожидали) весь лагерь – и уголовники, и привилегированные узники. И держались до конца. Приехало разбираться начальство, пообещало выполнить все требования голодающих. Что на кухню будет допускаться дежурный из пленных. Что постараются урегулировать получение писем и посылок. Что ежедневно в лагерь начнут доставляться газеты. Что будут выдавать дрова для топки печей и варки картофеля и т. д. Успех превзошел все ожидания. Вечером гремели песни. Большинство обещаний начальство сдержало. Только письма не шли ни в лагерь, ни обратно. И нелегальные связи прекратились. И полевая почта совсем перестала работать.

Освободили двух или трех счастливиц, но что-либо передать было невозможно: их трясло так, что нельзя было спрятать даже маленькую бумажку с адресами. Лишь один раз, и то с огромной задержкой, удалось Вороницыну отправить небольшое письмо жене. Позднее он писал: «Перед моими глазами лежит мелко исписанный лист почтовой бумаги, помеченный 5 октября. Это единственное письмо, которое удалось мне послать из Бреста жене. Оно и сейчас еще хранит следы бесчисленных складок и долгой прессовки в подошве одного из дырявых сапог Кориндорфа. Я и сейчас не могу без волнения смотреть на этот клочок бумаги, читать, с лупой в руке, его содержание». Кориндорф – это один из отпущенных домой, но надолго без объяснений задержанный в лагере.

Вдруг поползли слухи – газет нет, только слухи, – что в Германии революция. Наконец один из часовых кричит: «Камрад, Вильгельм капут!». Засомневались. Потом получили официальное сообщение. Итак! Революция совершилась! Народ восстал и победил! Пусть это революция в чужой стране, и ты непосредственно в ней не участво-

вал... Это революция! А революция прекрасна! Так думали Вороницын и его друзья. Опять звучала «Марсельеза». Повесили красные флаги. Послали в Берлин телеграмму социалистическому правительству с требованием немедленного освобождения. Наконец было объявлено, что первая партия пойдет на родину.

А на Украине в это время миром и не пахло. Шла борьба между Директорией и гетманом Скоропадским, и кто победит в этой борьбе, было неясно. Неопределенным было у Вороницына и отношение к петлюровскому восстанию. «Во всяком случае, о себе и о группе своих ближайших товарищей я могу сказать, что хотя наши симпатии и были целиком на стороне восставших против гетманщины и немцев, мы как-то не видели во всем этом своего родного и кровного дела. Нас отталкивали националистические лозунги, выкинутые главарями движения», – запишет Вороницын свои мысли накануне отъезда домой. Было ощущение, что из немецкого дýша они едут в русскую баню. У всех, особенно у тех, кому, чтобы добраться до дома, нужно было пересечь чуть не всю Украину, было опасение: а доберутся ли они здоровы и невредимы?

И все-таки бодро, весело собирались в дорогу. Возвращались обтрепанными, износившимися, исхудавшими и, в огромном большинстве, больными. Уже ноябрь, на носу морозы. Но немцы отобрали одеяла, в которые собирались укутаться освобожденные. Доставили их под стражей на вокзал, усадили в вагоны поезда и только тут раздали «аусвайсы» – удостоверения о законном освобождении (датированы 22 ноября 1918 года). Заперли в вагонах. Открыли вагоны только на пограничной станции, ночью, и сказали: «Марш!».

В самом конце книги «У немцев» Вороницын пишет: «Каким-то чудом, никем не арестованные добрались до

родного города. Там еще гетманская власть. Чтобы не держали нас всех вместе, разбегаемся в разные стороны». Иван Петрович остался с Вучетичем: проще сделать окончательный бросок вдвоем, да и тому некуда было деться. Социал-демократ В. И. Вучетич в 20-х числах июня 1918 года был на шесть месяцев выслан из Житомира в Бялу за речь, произнесенную на Первомайской демонстрации. Далее Вороницын вспоминает: «Вот и здание, где был наш клуб. Мы знаем уже, что клуб закрыт, а помещение реквизировано. Но мою жену, жившую в клубе, может быть, еще не выселили. Стучимся. Когда нам открывают дверь, уже ничего почти не сознавая, мы входим и падаем. Детский писк пробивает бредовые картины и возвращает меня на короткий миг к сознанию. Последними силами истощенных организмов мы побеждаем болезнь. Окна звенят, и стены трясутся от орудийных залпов. Как раненый зверь, огрызаясь и ломая все на своем пути, уходят немцы из Украины»...

Наступил ноябрь 1918 года. Кажется, позади все невзгоды: семимесячный плен, разлука с семьей, почти полное отсутствие сведений о ней, невыносимость сознания, что и в родном городе хозяйничают немцы. Он дома, в окружении любящих людей. Быстро оправляется от тягот плена, встает на ноги и снова берется за работу. Но работать приходится в тяжелейших условиях Гражданской войны, бесконечной смены власти, затяжных боев прямо на улицах Житомира.

В предыдущей главе уже говорилось, как Вороницын, узнав в немецком плену о приходе к власти на Украине гетмана Скоропадского, призадумался о возможности возвращения в родные края. П. П. Скоропадский распустил Центральную раду, отменил все революционные преобразования, тем самым упразднив Украинскую На-

родную Республику и установив полумонархическую Украинскую державу. Не поздоровилось бы меньшевику Вороницыну, попади он в руки его служб.

Вот почему так осторожно пробирался он к своему дому, еще не зная, что буквально за несколько дней до этого, 18 ноября 1918 года, в Житомир вошли войска Директории – новой революционной власти Украины, выступившей против гетмана Скоропадского и его порядков, за восстановление самостоятельной и сильной Украинской Народной Республики. В 1919–1920 годах председателем Директории будет С. В. Петлюра, ярый националист. 16 января 1919 года Директория объявит войну России, а 21 апреля 1920 года Петлюра, не в силах в одиночку справиться с Советами, заключит договор с Польшей против российских войск. Но истинное лицо Директории проявится позднее, а пока житомирцы встречают войска Директории как избавителей и от доставшей всех власти гетмана, и от еще более ненавистных немцев. Войска Директории заняли вокзал, дошли по Киевской улице до центра города, и вскоре весь Житомир перешел под их власть, а сторонники гетмана позорно бежали из города.

Немцы поначалу отнеслись к новой власти нейтрально. Но уже на третий день начали разоружать войска Директории. В ответ были атакованы немецкий штаб и гауптвахта, и прямо на улицах открыт настоящий фронт: немцы стреляли в украинцев, украинцы – в немцев. У немцев были и пулеметы, и пушки, и даже два самолета, бомбивших позиции Директории. И все-таки они отступили. Но мир не пришел на улицы Житомира. 4 января 1919 года большевики провозгласили в городе Советскую власть, а уже 7 января войска Директории вернулись в город и устроили двухдневный еврейский погром, во время которого было убито 53 человека. 14 марта 1919 года Красная

Армия вошла в Житомир, но 22 марта петлюровцы (в это время во главе Директории уже стоял Петлюра) снова вернули его. Петлюровцы устроили уже пятидневный погром, в ходе которого погибло 317 человек.

12 апреля 1919 года Красная Армия вновь установила в Житомире Советскую власть. На частных предприятиях вводится рабочий контроль, на всех рабочих местах – 8-часовой рабочий день и т. д. 25 мая была объявлена массовая запись добровольцев в Красную Армию. За несколько дней вступило около 600 человек.

Но с конца июня 1919 года Житомир вновь в зоне военных действий. Несколько дней в черте города идут упорные бои между красноармейцами и петлюровцами, город переходит из рук в руки. Наконец, 19 сентября в город торжественно вступает Красная Армия. Но что это была за армия! Впереди выступала кавалерия на лошадях разной масти, породы и разной степени годности к боевому строю. Кавалеристы были одеты кто во что горазд. За кавалерией шла пехота, тоже одетая кое-как и парадному шагу явно не обученная. Но в городе сразу прекратились грабежи и убийства. Начала налаживаться работа предприятий и профсоюзных организаций. Население обеспечивалось хлебом.

Понятно, насколько тяжело приходилось Вороницыну в подобных условиях. Но он из той породы людей, которые умеют работать всегда и везде. Нашел общий язык даже с Директорией. В январе 1919 года Директория созвала Трудовой конгресс, на котором Вороницын присутствовал как делегат от Волыни. В Житомире в это время он избирается поначалу товарищем городского головы, затем городским головой. Параллельно редактирует газету «Волынская заря», выходившую в 1919–1920 годах. Именно на страницах этой газеты первоначально печатается

книга Ивана Петровича «У немцев. Очерки политической тюрьмы и ссылки». Отдельным изданием она выйдет в Харькове в 1923 году.

Как уже говорилось, Петлюра заключил договор с Польшей против Советской России, и 26 апреля 1920 года Житомир захватила польская армия. Ах, как красиво после оборванцев-красноармейцев выглядели польские солдаты и офицеры! Кони – загляденье! Мундиры с иголки. Поблескивают на солнце голенища сапог и оружие. Откуда-то взялась уйма нарядных польских дам, восторженно приветствующих славных воинов.

В 2006 году в Москве вышел сборник документов «Книга погромов. Погромы на Украине, в Белоруссии и Европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 гг.». Позднее он был дополнен и переиздан. В нем впервые были опубликованы материалы о еврейских погромах, хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации и ранее недоступные исследователям. В частности, запись рассказа городского головы Житомира И. П. Вороницына от июля 1920 года «Польские дни в Житомире». По словам Вороницына, поначалу поляки пытались показать свой «европеизм» и «демократизм». Он вспоминал: «Мы, прежняя городская управа, орган демократической думы, были с первого же дня приглашены начальником группы войск генералом Рыдзем-Смиглым к возобновлению нашей деятельности, причем к каждому из нас без различия национальности генерал этот обратился с персональным письмом. Но первые же шаги наши стали направляться не к исполнению нашей прямой задачи – самоуправлению города, а удовлетворению бесчисленных и бесконечных требований и претензий польской власти. Нас буквально вынуждали лакействовать: городская управа должна была доставлять извозчиков для

польских офицеров, покупать материю для украшения занятых поляками зданий и т. д.». Но далее дело пошло еще хуже, и у русских общественных деятелей, от имени которых говорил Вороницын, создалось убеждение, «что и польская армия, подобно петлюровской, как небо от земли далека от того “рыцарства”, носительницей которого она себя продекларировала в своих печатных воззваниях и в речах своих наиболее известных представителей... Они нас запугивали непрерывно, угрожая всякими карами за все антипольское, что могло проскользнуть вопреки польской цензуре, и требовали, чтобы мы печатали инспирируемые ими ложные или ложно истолковываемые ими сообщения».

А что уж говорить об отношении поляков к простым жителям Житомира, особенно к евреям! Поначалу устанавливали свои цены в маленьких еврейских лавчонках, забирали в домах что понравится, избивали, арестовывали... Обрезали или просто обрывали у стариков бороды. В ответ на жалобы польское начальство отвечало: «Наши познанцы режут жидам бороды, а не головы, другие поступили бы иначе. Стоит ли обращать внимание на такие пустяки». А потом полетели и головы. Расстреливали всех, кто встретится на улице, издевались, закапывали живьем в землю... 12 июня 1920 года под натиском Красной Армии поляки бежали из Житомира. В городе прочно установилась Советская власть. «Так бесславно окончились польские дни в Житомире, – заканчивал свой рассказ Вороницын. – На еврейском кладбище было похоронено более 40 жертв польского “рыцарства”, безоружных, беззащитных людей, среди которых были и старики, и дети». Но Вороницын понимал, что жертв было гораздо больше. А находились поляки в городе менее двух месяцев.

Прихода советских войск Вороницын опасался, о чем упоминают в своих мемуарах некоторые его современники. И не напрасно. Всегда во многом не согласный с большевиками, он открыто высказывал свое возмущение рядом их решений и дел, например действиями по отношению к крестьянству.

И вот, встреча с новой властью состоялась.

Отныне вся его жизнь (исключая семейную) поделилась на две части: на писание и публикацию своих сочинений – и почти непрерывные аресты, тюрьмы, ссылки. Удивительно, когда он успевал писать и почему его, уже помеченного как врага, продолжали публиковать. Так, в 1922 году в Москве в сборнике воспоминаний и документов, посвященном памяти П. П. Шмидта, увидел свет его доклад, анализирующий Севастопольское восстание 1905 года. Доклад, как уже говорилось, написан был сразу после поражения восстания двадцатилетним юношей, находящимся в тюрьме. В том же году в Харькове в Государственном издательстве Украины вышла мемуарная книга «Из мрака каторги: 1905–1917». В следующем, 1923 году Госиздат Украины печатает еще одно произведение Вороницына – «У немцев. Очерки политической тюрьмы и ссылки». Ряд его статей появляется в периодике, в том числе центральной. Например, в московском журнале «Атеист».

У Вороницына, члена таких объединений, как Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев и «Атеист», начавших работать в Москве в 1921 году, возможность публиковать свои труды была. Он активно сотрудничал с ними практически во все время их существования, а те на свои средства издавали его произведения и поддерживали во многих рискованных ситуациях. Ведь членами первого из них были, например, такие почитае-

мые и влиятельные люди, как В. Н. Фигнер, Н. А. Морозов, Л. Г. Дейч, Ф. Н. Петров, Е. Д. Стасова, Е. М. Ярославский и многие другие. Не так-то просто было стать членом этих обществ, особенно первого. Чтобы вступить в него, нужно было не только написать автобиографию, заполнить несколько анкет, но и получить рекомендации двух членов Общества и архивную справку, подтверждающую, что кандидат не подавал представителям царской власти прошений о смягчении наказаний (не был «подаванцем») и никого не выдал на допросах. Общество имело собственное издательство, выпускало, помимо книг и брошюр, периодику, имело в Москве свой магазин «Маяк», музей с архивом и библиотекой, историко-революционный театр. В стране работало более 50 его филиалов, большое количество кружков, землячеств. Члены Общества имели множество льгот.

В Обществе бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев особенно активно Вороницын работал в начале 1920-х годов, когда туда принимали не только большевиков, но и народников, меньшевиков, эсеров, бундовцев, анархистов... А в «Атеисте» – в конце 1920-х – начале 1930-х годов, когда государство объявило религии беспощадную войну и нуждалось в таких талантливых и высокограмотных пропагандистах, как И. П. Вороницын. Однако довольно скоро оба общества будут закрыты: «Атеист» – в 1932 году, Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев – в 1935-м. Но если «Атеист» преобразуется в «Союз воинственных безбожников», то объединение бывших царских узников партийная печать все чаще стала обвинять в фальсификации истории большевизма и в либеральном отношении к меньшевикам и троцкистам. После убийства С. М. Кирова многие его члены были арестованы. По указанию руководства ВКП(б)

Центральный совет Общества на экстренном пленуме 23 июня 1935 года принял решение о самоликвидации: мол, Общество свою роль сыграло. После ликвидации этих издательских площадок Вороницыну уже ничего не удалось опубликовать.

Да и жизнь его снова переменилась. Пока он еще в Житомире, но мельница репрессий в отношении его уже запущена и вертится с невероятной быстротой. В июле 1921 года Вороницына арестовали и отправили в Харьковскую тюрьму. Верная Евгения Петровна следует за мужем, а когда его освобождают, супруги Вороницыны остаются в Харькове. Именно в этот период они познакомились и подружились с семьей революционеров-меньшевиков Ауссем-Даевых – Виктором Христиановичем (Христофоровичем) и Агнией Ивановной. Агния Ивановна была родом из Мотовилихи, и, возможно, не без ее влияния «минусник» Вороницын позднее, после окончания ссылки в Прикамье, выберет местом своего проживания Пермь, и они подружатся еще крепче. Виктор Христианович в Харькове активно занимался партийной работой, был членом Главного комитета СДРП Украины. 30 октября 1922 года он был арестован и отправлен на три года в ссылку в Туркменистан. Агнию Ивановну, ждущую третьего ребенка, тоже арестовали и сослали в Киргизию.

Иван Петрович Вороницын недолго оставался на свободе. 29 октября 1922 года его арестовали вновь, но почти сразу выпустили под подписку о невыезде. Однако и эта относительная свобода оказалась минимальной: еще до окончания 1922 года его приговорили к двум годам концлагеря с отправкой в Архангельск. Вороницын с товарищами устроили шестидневную голодовку и были на время из заключения освобождены. Горячо откликнулся на эту несправедливость эмигрантский журнал «Социалистиче-

ский вестник». Издавался этот журнал членами Российской социал-демократической рабочей партии меньшевиков в 1921–1965 годах. Выходил вначале в Берлине, затем в Париже, в последние годы – в Нью-Йорке. Первыми его редакторами были Ю. О. Мартов и Ф. И. Дан. Всего вышло 784 номера. У редакции этого издания была хорошо налажена связь с корреспондентами в России. Быстро дошла до них и весть о Вороницыне. «Социалистический вестник» писал: «Теперь большевистские палачи вздумали его, больного, и еще 6 товарищей (Р. Григорьев, А. Колмаков, Я. Резуль, Н. Титенский, А. Фомичёв, В. Черкес) по “приговору” Особого Совещания при Н.К.Вн.Д. послать на медленную смерть в Архангельский концлагерь, могилу сотен кронштадтских матросов. Как известно, после 6-дневной голодовки названные товарищи были из заключения освобождены. Но об отмене “приговора” им не сообщили: он продолжал висеть над головами людей, всю жизнь свою отдавших рабочему делу...».

И на сей раз свободно дышать долго не дали. Уже в мае Вороницын в Москве, в Бутырках, а 23 мая приговорен к трем годам ссылки в Пермь. В июне, перед отправкой в Пермь, он находился в Таганской тюрьме.

ПЕРМСКИЙ ФИНАЛ

Всем известно, что Пермь и Пермский край издавна были местом ссылки противников царизма под гласный и негласный надзор. Но и в советское время, после окончания Гражданской войны, они этих своих функций не утратили. Наоборот, многократно расширили, став чуть ли не столицей печально знаменитого ГУЛАГа. Помимо Перми, ссылали в небольшие северные города – Соликамск, Усолье, Чердынь...

А. И. Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» писал: «...политическая ссылка стала удобнее, чем когда-либо: в отсутствие оппозиционных газет высылка становилась безгласной, а для тех, кто рядом, кто близко знал ссылаемых, после расстрелов военного коммунизма трехлетняя незлобная неспешная ссылка казалась лирической воспитательной мерой. Однако из этой вкрадчивой санитарной высылки не возвращались в родные места; если же успевали вернуться, то вскоре их брали вновь. Затянутые начинали свои круги по Архипелагу, и последняя обманная дуга опускалась непременно в яму». 10 августа 1922 года ВЦИК принял декрет «Об административной высылке», который стал основным документом в борьбе власти с членами «антисоветских» партий. А 16 октября 1922 года при НКВД была создана постоянная Комиссия по высылке социально опасных лиц, деятелей антисоветских

партий, то есть всех, кроме большевистской. И расхожий срок был три года.

Вот и Вороницын, согласно Постановлению Комиссии НКВД по административным высылкам от 26 мая 1923 года, был отправлен сроком на три года. Он прибыл в Пермь 17 июня. Видимо, сразу с семьей: Евгения Петровна и в пермской ссылке не оставила мужа. Но, как писали начальник секретно-политического отдела Пермского ОГПУ Н. А. Разумовский и уполномоченный Теплоухов в составленных ими 4 января 1934 года «Биографических сведениях» Вороницына, он «в силу превышения количественной нормы ссыльных, находившихся в то время в г. Перми, был направлен в г. Чердынь бывш. Пермской губернии, где находился по 5/II – 1924 г. С какого времени переведен в г. Пермь, где по окончании минуса и проживает по настоящее время».

Те, кто редко, но все-таки пишут о Вороницыне, утверждают, что с 1924 года, после пребывания в Чердыни, он находился в городе Усолье, а с 1925 года – в селе Парабель. Возможно, у ОГПУ и были какое-то время подобные планы, но официальным, строго засекреченным, выше цитированным «Биографическим сведениям» нельзя не верить, и, следовательно, с начала февраля 1924 года Вороницын с семьей проживал уже в Перми по адресу: улица Большая Ямская, дом 56, квартира 3.

Возможно, решению перевести Вороницына в Пермь поспособствовало заступничество некоторых его влиятельных товарищей. Так, в № 17–18 «Социалистического вестника» появилось сообщение: «Ссыльных в Чердыни, так сказать оседлых, сейчас 16 человек. На службе из них только один инженер, остальным под давлением ГПУ служить не дают. Это обстоятельство тяжело отражается на материальном положении ссыльных. Среди ссыльных ста-

рый революционер, социал-демократ Вороницын, участник восстания черноморских моряков, шлиссельбуржец, полуслепой».

А может, поспешили убрать из «опасного» города заводику всех протестов? Все же держать таких в зоне видимости как-то надежнее. О том, что настроения в Чердыни и окружающих селениях были взрывоопасными, сообщают некоторые источники. Например, пермский историк С. А. Шевырин, выступая в 2013 году в Краснодаре на международной конференции, посвященной теме репрессий 1930-х годов, сообщал, что «к 1925 г. сложилась колония политссыльных в Чердыни (меньшевики, эсеры, анархисты), которые периодически устраивали акции протеста в защиту своих прав». А ожидалось еще серьезное пополнение – 89 грузинских меньшевиков, которых предполагалось отправить в Чердынь и ближайшие селения.

Итак, с февраля 1924 года семья Вороницыных в Перми. Однако лишь в 1926 году, после официального окончания ссылки, Иван Петрович будет восстановлен в правах, но и это «восстановление в правах» окажется далеко не полным. Существовала еще такая категория притесняемых врагов Советской власти, как «минусник». А. И. Солженицын так поясняет сие понятие: «До начала 30-х годов сохранялась и самая смягченная форма: не ссылка, а минус. В этом случае репрессированному не указывали точного места жительства, а давали выбрать город за минусом скольких-то. Но, однажды выбрав, к месту этому он прикреплялся на тот же трехлетний срок. Минусник не ходил на отметки в ГПУ, но и выезжать не имел права. В годы безработицы биржа труда не давала минусникам работы; если ж он умудрялся получить ее, на администрацию давили: уволить».

Вот и наш «минусник» Иван Петрович, отбыв трехгодичную ссылку, не имел права жить в Москве, Ленинграде, родных городах (общим счетом – в шести). Они с женой выбрали Пермь. Перебивались случайными заработками. Но была уже ставшая привычной среда, появились хорошие знакомые, единомышленники (в Перми в 1928 году, по данным С. А. Шевырина, насчитывалось около 150 ссыльных). Отношений с ними Вороницын не афишировал, но тайно их поддерживал. Как сообщали 4 января 1934 года в «Биографических сведениях» Вороницына их составители начальник СПО Разумовский и уполномоченный Теплоухов, он «по убеждениям своим остается и поныне на меньшевистских позициях, хотя открыто своих взглядов и не проповедует. Очень замкнулся, более или менее откровенные беседы допускает с людьми давно ему известными и с его точки зрения надежными, которых единицы. Во время существования в Перми политссылки до 1933 года со многими из них был знаком и вращался в среде ссыльных как “свой” человек».

Но самыми близкими, видимо, оставались Ауссем-Даевы, хотя из-за постоянных арестов и ссылок главы семейства в Перми они появлялись нечасто и ненадолго. Виктор Христианович был вторым мужем Агнии Ивановны. От первого брака у нее осталась дочь Галя. Девочке было уже десять лет, когда Агния Ивановна снова вышла замуж. Галина кочует с матерью и отчимом по местам их ссылок и в Оренбург, и в Тюмень, и в Салехард... Пока в 1927 году не поступит в Пермский художественно-промышленный техникум, и вояжи ее к родителям станут эпизодическими, а проживание в Перми – постоянным. Попечение о молоденькой студентке возьмут на себя, как писала ее дочь, ныне писатель, журналист и издатель А. Л. Бердичевская, «бабушка А. В. Казанцева и знакомые

матери супруги Вороницыны». Но у Агнии Ивановны в новом браке родились еще две дочки, и к началу скитаний семьи по ссылкам они были совсем маленькими: не возить же их по заполярным, таежным или пустынным краям, не ведая, удастся ли прожить следующий день. И тогда на помощь пришли Вороницыны.

Сохранилось заявление от 23 октября 1924 года административной ссыльной Ауссем-Даевой А. И. из Оренбурга в Политический Красный Крест (с 1922 года организация называлась «Помощь политическим заключенным», или сокращенно «Помполит»), рассматривать которое будет одна из его создательниц, а в то время председатель, Е. П. Пешкова, первая жена А. М. Горького. Приведем его полностью:

«Будучи матерью двоих детей – одной 3 года, другой 1 год 10 месяцев, – я оторвана от них по независящим от меня обстоятельствам в течение 3-х месяцев. Находясь в настоящее время в ссылке в г. Оренбурге, не имею и сейчас по исключительно тяжелым материальным условиям возможности взять детей к себе сюда (работу в течение месяца не могу получить). Муж мой заключен в Суздальский концлагерь сроком на три года. Дети оставлены мной на моей родине в г. Перми и живут в двух различных семействах на иждивении политического ссыльного Вороницына, у которого своя семья и определенного заработка нет. Ввиду того, что я им никакой материальной помощи оказать не могу, а должна сказать, что дети не имеют даже нужной теплой одежды для зимы, т. к. сама нахожусь без заработка, прошу Политический Красный Крест оказать возможную помощь моим детям, пока я подыщу работу. Помощь, которую Вы найдете нужным оказать моим детям, прошу направить по адресу: г. Пермь, Большая Ямская ул., д. 56, кв. 3, И. П. Вороницыну. Аг. Ауссем-Даева».

На заявлении две пометы. Первая – рукой Е. П. Пешковой: «Необходимо помочь. Е. П.». И вторая – секретаря Политического Красного Креста: «Вороницын Иван Петрович. Исполнено».

Какой же была Пермь в те годы, когда здесь проживала семья Вороницыных? Прежде всего, следует вспомнить об административно-территориальном делении страны, которое не могло не отражаться на всех сферах бытования города. 3 ноября 1923 года ЦИК СССР по указанию В. И. Ленина и XII съезда РКП(б) принял постановление об образовании огромной Уральской области, в состав которой вошли Пермская, Екатеринбургская, Челябинская и Тюменская губернии и которая по территории превосходила Италию, Францию, Германию и Англию вместе взятые. Столицей этой необозримой области стал Екатеринбург (с 1924 года – Свердловск), а Пермь низвели до роли центра одного из пятнадцати округов. И хотя в 1934 году гигантская, трудноуправляемая Свердловская область распадется на три – Челябинскую, Обь-Иртышскую и Свердловскую, – Пермь своего бывшего превосходства не вернет. Более того, в 1930 году она стала всего лишь районным центром, а затем городом областного подчинения. Хорош районный центр – с университетом и еще рядом вузов, оперным театром, богатейшими библиотеками, музеями и прочим, чего и в областных центрах не всегда можно обнаружить! Областные власти понимали этакую несуразность и старались Пермь поприжать, уменьшая ее границы, перевозя в Свердловск библиотечные фонды, архивы, молодежный театр и многое другое. И эта несуразность будет продолжаться до 1938 года, когда из все еще огромной Свердловской области выделится область Пермская и попытается наверстать упущенное. Но Вороницын этого уже не увидит. Впрочем, вряд ли он когда-либо был патри-

отом Перми. Этот город подарил ему несколько относительно благополучных лет, но навсегда остался чужим, холодным, подневольным.

При Вороницыне Пермь после перенесенных потрясений – революции, Гражданской войны, противоречивых, чаще всего бессмысленных, реформ, голода начала 1920-х, затем начала 1930-х годов, многочисленных эпидемий и прочих напастей – еле-еле вставала на ноги. Она и до революции долгое время отставала от других российских центров и настоящим городом начала становиться лишь в самом конце XIX – начале XX века. А тут все эти катаклизмы! Разрушено множество предприятий, сожжены дома, уничтожен единственный мост через Каму... Правда, восстанавливают, строят новое. Однако не случайно даже по количеству населения Пермь отстает от себя дореволюционной. Если в 1917 году в ней без пригородов насчитывалось 89 506 человек, то, как сообщает нам изданный в 1926 году Обществом краеведения сборник «Город Пермь», в 1924 году население сократилось до 71 020. Сказались и отъезд из Перми в Свердловск многих служащих, и ужасающая смертность, особенно среди детей (в 1925 году половина всех смертей приходилась на детей до 9 лет), и гибель многих в военное и мирное время...

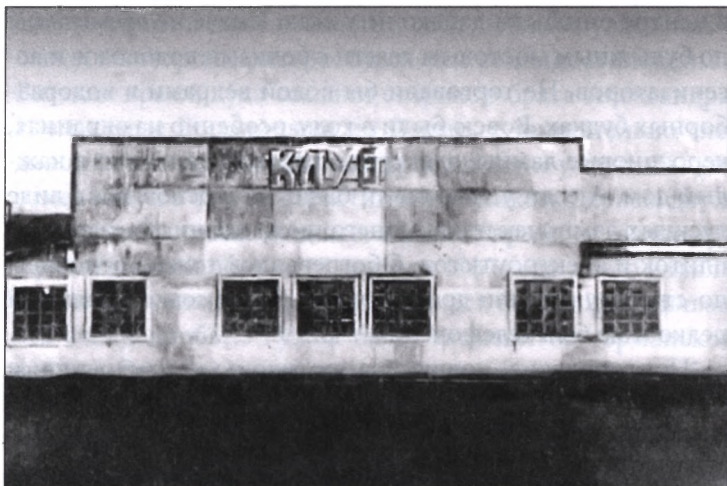
Пермь по-прежнему в основном оставалась деревянной, одно- и двухэтажной. Редкими маячками выделялись творения знаменитых пермских архитекторов: И. И. Свищева, А. Б. Турчевича, В. В. Попатенко, Р. И. Карвовского, Ю. И. Дютеля и других. Но творения их, за редкими исключениями, обретали иную жизнь. В здании бывшей Мариинской женской гимназии, например, разместился агрофак университета, синагогу передали ТРАМу, в помещении Акцизного управления заработал Главпочтамт,

в Екатерино-Петровском городском училище комфортно чувствовала себя совпартшкола... Начали, правда, возводить и современные дома: гостиницу «Центральная», прозванную в народе «Семиэтажкой», дома чекистов, дома горсовета... Какие-то здания надстраивали дополнительными этажами: окрисполком, Главпочтамт, бывшее реальное училище... Но многое при этом сносили: Гостинный двор в самом центре города, рынки, кладбища. Особенно не повезло религиозным учреждениям: их либо переделявали до неузнаваемости (Рождество-Богородицкую церковь – под фарминститут, Феодосиевскую – под хлебозавод), либо рушили до последнего камня (Свято-Троицкую единоверческую на Сенной площади, Воскресенскую, одно из самых нарядных строений города, возведенную на народные средства в память отмены крепостного права). На месте Свято-Троицкой церкви долго хозяйничал Центральный колхозный рынок, на месте Воскресенской – до сих пор унылый перекресток.

Что восстанавливали хорошо и быстро, и еще лучше строили – так это крупные промышленные предприятия. Как сообщает нам «Паспорт города Перми», составленный в конце 1930-х годов, в городе к этому времени было 317 промышленных предприятий, из них 152 – крупных. И главное достижение – поднимающийся буквально на глазах авиамоторный завод. В 1930 году в нескольких километрах от города, на южной окраине, окрисполком выделил для него место, и уже осенью начали строить склады, мастерские, кузницы, бараки, ларек Центрального рабочего кооператива... Весной 1931-го приступили к сооружению цехов, и к концу года были готовы корпус вспомогательного цеха, ремонтно-монтажный, инструментальный, термический цеха, первые очереди главного корпуса и литейного цеха, школа ФЗУ, клуб, 20 барakov



Так начинался моторостроительный...



Клуб завода

для жилья... В 1936 году запустят конвейер по сборке двигателей.

Идет строительство Пермского авиамоторного завода (оборонного завода № 19 им. И. В. Сталина).

И вот на этом оборонном заводе № 19, вскоре ставшем носить имя И. В. Сталина, заведовать научно-технической библиотекой доверят Ивану Петровичу Вороницыну. Он будет трудиться здесь с 1931 года до ареста в декабре 1937 года. А пока, как уже говорилось, перебивается случайными заработками.

Жили трудно, сменив за это время три квартиры. С Большой Ямской примерно в 1927 году переехали на Красноармейскую, 34, а в последние годы жили на улице Большевистской, дом 51, квартира 22. Скорее всего, без особых удобств, ибо с коммунальными удобствами в Перми была большая «напряжёнка». Возможно, на Большевистской имелись канализация и водопровод (сужу как жившая поблизости в 1938–1940 годах). Но все-таки даже в центре они были далеко не у всех. Иначе не гремели бы по булыжным мостовым телеги с бочками водовозов и ассенизаторов. Не торговали бы водой ведрами в водоразборных будках. Вовсю были в ходу, особенно на окраинах, керосиновые лампы, электричество еще не вошло в каждый дом. А если у кого оно и было, то в основном в виде тусклых лампочек и последнего писка техники – электроплиток и электроутюгов. Обогревались тоже в основном по-старому: топили дровами печи. И уж совсем большой редкостью был телефон.

Но городские новшества потихоньку приходили и в Пермь. Всё больше мостилось улиц, всё больше зажигалось на них фонарей, деревянные тротуары кое-где заменялись асфальтовыми... Основным видом транспорта оставалась лошадь. Но в августе 1926 года власти попыта-

лись наладить автобусное движение от Мотовилихи до Перми II. Попытка оказалась неудачной: переделанные из старых грузовиков и легковушек автобусы постоянно ломались, да и тех было всего шесть – слишком долго ждать, и не факт, что дождешься. Удачнее получилось с трамваем. 1 ноября 1929 года в первый рейс двинулся он от Базарной площади в Мотовилихе до улицы Красноуфимской, а с 15 июля 1930 года – до станции Пермь II. За ним последовал второй маршрут – от Перми I до Красного сада, затем его продлили до площади Карла Маркса, а очень скоро – и до завода № 19. Так что наш Иван Петрович смог добираться до работы вполне комфортно. А он привык к трамваю: в Житомире тот появился еще в 1899 году.

Однако канализация, водопровод, трамвай и прочее – это хотя и очень важные атрибуты повседневной жизни, но далеко не самое главное. Главное – что жизнь продолжается, что родные люди рядом. Можно работать, много (несмотря на плохое зрение) читать, продолжать учиться, писать книги и даже позволить себе любимое увлечение – охоту, к которой пристрастился еще семнадцатилетним в Вятских краях, куда сослали старшего брата Александра. И знакомые Вороницына по Перми, и внимательно следившие за ним огэпэушники, проводившие у него обыски, отмечали, что был он страстным охотником. Держал двух-трех легавых собак (видимо, в разное время по-разному). При последнем обыске 18 декабря 1937 года у него изъяли два охотничьих ружья и боеприпасы к ним: порох, гильзы без счета, дробь... Ружья были знаменитой германской фирмы «Зауэр» – мечта любого охотника, надежные и безопасные. Но какой же охотник из человека, не снимавшего очков с сильнейшими линзами? Видимо, главным для него был не результат, а процесс, возможность хоть ненадолго скрыться от всевидящего ока спецслужб в ближай-

шем пермском ельнике. А леса вокруг были почти нетронутыми, изобильными. Может, какие-то трофеи и перепали Ивану Петровичу, благодаря его собакам – всё же какой-никакой, а прибавок к скудному семейному столу.

Какой же по составу была семья Ивана Петровича в пермский период? Конечно, прежде всего, жена Евгения Петровна, преданная и верная спутница на всех колдобинах жизни. В 1927 году, когда Вороницыны жили на Красноармейской и Агния Ивановна Ауссем-Даева попросила их присматривать за дочкой Галиной, Евгения Петровна еще была жива. А в документах 1937 года Вороницына называют вдовцом. Значит, жену он потерял, возможно еще до 1934 года. Разумовский и Теплоухов в «Биографических сведениях» Вороницына сообщали, что «Вороницын – интеллигент (сын генерала Вороницына П. И., проживающего в данное время вместе с ним)». Но, упоминая об отце, они ничего не пишут о жене Вороницына. В 1937 году при аресте Ивана Петровича не будет в живых и отца. Карательные документы точно укажут, что семья его – лишь один человек, дочь Фаина Леонидовна Мартина, которой на время ареста отца исполнился 21 год. Именно Фаина Леонидовна подпишет страшные бумаги обыска 18 декабря 1937 года – даст расписку, что обнаруженные при обыске вещи взяты ею на хранение, в частности боеприпасы и книги (ведь арест сопровождался конфискацией имущества), и что она обязуется никому их не отдавать и не продавать «впредь до распоряжения УНКВД».

Того, что Фаина Леонидовна – дочь Ивана Петровича Вороницына, не оспаривает никто. Мы помним из книги «У немцев», что в начале 1918 года супруги Вороницыны ждали ребенка. Предполагали, что появится он в августе. Как волновался Иван Петрович, находясь в немецком плену, о судьбе матери и младенца, не получая никаких

сведений! С трудом добравшись до дому после освобождения из плена, совершенно изнуренный, теряя сознание, когда ему открывают дверь, он слышит детский писк, и это возвращает его к жизни. Но если это тот ребенок, ему в декабре 1937 года было бы 19 лет, а не 21. И почему у Фаины другие фамилия и отчество? Вполне возможно, что сохранить ребенка Вороницыным не удалось. Смертность детей тогда была колоссальной, о чем уже говорилось. И они вполне могли удочерить чужую девочку. Но могли и родной дочери сменить фамилию и отчество, как это делали в то время многие революционеры, чтобы в случае их провала или гибели дитё не пострадало. Кстати, фамилию дочери Вороницын мог дать в память о своем любимом учителе Ю. О. Мартове, немного ее видоизменив, чтобы не было уж совсем явно. И возраста немного прибавили, чтобы в случае ареста не забрали в какой-нибудь детприемник, оставив возможность несовершеннолетней жить самостоятельно. Но загадка с Фаиной Леонидовной Мартиной так и осталась для нас неразгаданной.

Кроме жены, отца, дочери, в семье Ивана Петровича находились иногда эпизодически, иногда продолжительное время дети Ауссем-Даевых, некоторые товарищи по партии, попавшие в беду хорошие знакомые... Местные органы ОГПУ внимательно следили за Иваном Петровичем и его близкими, перлюстрировали письма, много знали о его находящихся в эмиграции братьях, о людях, с которыми он общался... Однако и у них случались промашки.

Хотя при последнем аресте Вороницын говорил: «Ближих знакомых у меня в Перми не было и нет», – конечно, такие были. Но он никого не хотел подвести, потянуть за собой, несмотря на щедрые посулы карателей облегчить его участь, если кого-то назовет. Еще в отчетах огэпэуш-

ников за 1927, 1929, 1934 и другие годы говорилось, что Вороницын ведет активную переписку с единомышленниками из Москвы, Ленинграда, Вятки и других городов (П. Н. Подбельским, Б. П. Зубковым, Н. М. Ростовым и другими). При обыске в декабре 1937 года у него изъяли 149 листов переписки. А сколько было всего...

Как догадывались в ОГПУ, Иван Петрович поддерживал постоянные связи с членами вятской и верхнекамской колоний ссыльных. Бывая в Перми, те, конечно, заглядывали к нему, а иногда, видимо, могли и задержаться. Так, в ноябре 1928 года осведомитель огэпэушников обнаружил у Вороницына ссыльного меньшевика А. С. Меерова, проживающего в городе без прописки. О Меерове осведомитель докладывал как о имеющем минус 2 и за последнее время часто бывающем как у Вороницына, так и в близком ему кругу. А в донесении от 25 марта 1929 года сообщалось, что «из личных друзей Вороницына установлены Гиндельман И. И., активный меньшевик, прибывший из Вятки, имеющий минус 9; активный ПОР Рюмин А. Н., имеющий минус 6». Первый получил явку к Вороницыну от вятской колонии, второй – от верхнекамской.

Итак, в 1931 году Вороницын наконец-то получил постоянную работу – стал заведовать научно-технической библиотекой строившегося авиамоторного завода № 19. Наконец-то появилась возможность хоть минимально, но обеспечивать семью всем необходимым. И работа вполне устраивала Ивана Петровича. Вороницын, по сведениям бывшего директора музея завода, опытного краеведа Т. И. Силиной, хорошо зная многие европейские языки, смог «с 1931 по 1937 г. выписать из-за границы и перевести на русский язык десятки книг и журналов, содержащих необходимую для конструирования и производства моторов техническую литературу». И как всё это приго-

дилось в работе! Чуть случится какая поломка или не могут разобраться в наладке иностранных станков – бегут за Вороницыным. Иван Петрович берет нужные книги, справочники на иностранных языках, идет, куда его звали, и отыскивает ответы на все возникшие вопросы.

Под его руководством, как пишет Т. И. Силина, «создается система информационно-библиотечной работы, выпускается информационный бюллетень».

В особо доверительные, дружеские отношения он ни с кем не вступал, но был внимательным, участливым руководителем небольшого коллектива библиотекарей, занимался об улучшении условий их труда и правового положения, об увеличении заработной платы. В библиотеке сложились теплые, добрые отношения между членами коллектива. Все проявляли искреннюю заботу о своем начальнике, человеке явно нездоровом. В последнее время перед арестом у него отнималась правая рука, ею он не мог иногда писать, и когда уходил с работы домой, ему помогали надевать пальто.

Ия Николаевна Маркова работала вместе с Иваном Петровичем с 1934 года. Позднее она станет членом партии, будет заведовать той самой библиотекой, куда пришла когда-то после окончания библиотечного техникума под начало Вороницына. 27 июня 1956 года ее вызовут в следственный отдел Управления КГБ, и следователь лейтенант Рупин будет расспрашивать ее о Вороницыне: началась эпоха реабилитаций. Она будет характеризовать его только с самой положительной стороны. Этот высокий, худой, полупарализованный человек в очках с сильнейшими линзами не давал себе никакой скидки в работе, наоборот, трудился, как никто из окружающих. Конечно, прошло слишком много лет со времени их совместной работы. Что-то Ия Николаевна подзабыла, о чем-то из-за своего

положения и скрытности характера Вороницын умалчивал, что-то рассказывал не совсем так, как было: например, об обстоятельствах знакомства и дружбы с Серго Орджоникидзе, в 1930-е годы всесильным наркомом тяжелой промышленности... Но она и через много лет тепло отзывалась о Вороницыне и как о человеке, и как о работнике, отрицая все возводимые на него обвинения. На «коварные» вопросы Рупина отвечала, что Иван Петрович никаких антибольшевистских разговоров и антисоветской деятельности не вел, никакого недовольства существующим положением не высказывал, ни о какой контрреволюционной организации, в которой якобы участвовал Вороницын, а тем более руководил ею, ей не было известно... И далее в том же духе. На вопрос: «Что вам известно о принадлежности Вороницына к партии меньшевиков?» – она ответила: «Был ли он членом партии меньшевиков, я не знаю, но от него слышала, что раньше он работал на партийной работе вместе с Орджоникидзе – это якобы до разделения РСДРП. После же разделения, как Вороницын говорил, он ни в какой партии не состоял и считал себя анархистом». Зато на вопрос: «Как относился к работе Вороницын И. П.?» – она с готовностью ответила: «К работе на заводе № 19 Вороницын относился добросовестно, пользовался авторитетом среди сотрудников и считался ценным работником». Она полагала, что Вороницын «имел какую-то научную степень, знал все западноевропейские языки».

Конечно, напряженные годы учебы в тюрьмах и ссылках со временем принесли свои плоды. Недоучившийся гимназист стал одним из образованнейших людей своего времени, а оказавшись на свободе, успел получить диплом о среднем образовании. Во всяком случае, в документах пермских гепэушников значится, что образование у него

среднее (общее и специальное). Но то, что он знал все западноевропейские языки и имел какую-то научную степень, – домыслы почитавших его сотрудников. Во всяком случае, Ия Николаевна не лукавила: она говорила то, что знала, помнила, в чем была уверена.

И вот такого ценного работника попытались в 1934 году с завода убрать. Как рассказывала на собеседовании Маркова, когда она в 1934 году пришла на работу в заводскую библиотеку, «Вороницына в это время увольняли с завода якобы за то, что он поддерживал переписку с братом, который проживал в Польше». От сотрудников библиотеки ей стало известно, будто директор завода Побережский Вороницыну сказал, что на заводе его держать не может, так как у него брат проживает за границей. После этого Вороницын выезжал в Москву к Сергею Орджоникидзе, с которым якобы где-то работал вместе до раздела РСДРП на большевиков и меньшевиков. От Орджоникидзе Вороницын получил хорошую характеристику, или, иначе, поручительство, и был оставлен на работе в качестве заведующего научно-технической библиотекой завода № 19. Об этом ей было известно от самого Вороницына.

Несмотря на последнюю фразу, в высказывании много неточностей, что объясняется многими причинами. Мы уже ранее говорили, что Ия Николаевна в 1934 году, только-только придя на работу в библиотеку, еще плохо знала Вороницына, многое из сказанного им толковала по-своему, да и он не был откровенным с сослуживцами, оберегая их политическое «целомудрие». Ия Николаевна помнила Вороницына как заботливого руководителя и хорошего человека и старалась говорить о нем то, чего, с ее точки зрения, он заслуживал. Увольняли Вороницына отнюдь не из-за переписки с братом Сергеем, который в это

время вместе с семьей проживал не в Польше, а в Югославии. Директор завода И. И. Побережский был на предприятии человеком новым – он руководил заводом с марта 1934 года по 1938-й, когда и сам был репрессирован – арестован и расстрелян. Ивана Петровича увольнял он отнюдь не по своей воле, а по требованию ОГПУ.

Григорий Константинович Орджоникидзе, как мы помним, был действительно товарищем Вороницына, но не по совместной партийной работе, а по годам, проведенным на Шлиссельбургской каторге. Когда Вороницына выгоняли с работы, тот действительно обращался к Орджоникидзе за помощью. Только для этого ему не нужно было ехать в Москву, тем более что вряд ли ГПУ ему это позволило, хотя уже несколько лет он и «минусником» не был.

5 января 1932 года Григорий Константинович был назначен народным комиссаром тяжелой промышленности. Он много ездит по стране, знакомится с делами на местах, решает уйму проблем... В течение лета и осени 1934 года Орджоникидзе посетил почти все крупные заводы Урала, выезжая в регион четыре раза. Побывал в Златоусте, Магнитогорске, Челябинске, Свердловске, Нижнем Тагиле, Соликамске, Березниках и т. д. 9 августа 1934 года посетил авиамоторный завод в Перми. Моторостроители всегда особо чтили Серго. Он был ангелом-хранителем завода: отстаивал предприятие (сугубо оборонное!) от всевозможных кар ОГПУ. А как скончался – карательный поток словно прорвало. Но пока, посетив Пермь, он конечно же вник в проблемы старого товарища и дал ему самую положительную характеристику. Тогда Вороницына на заводе оставили.

Но ОГПУ давно мечтало расквитаться с Вороницыным и жаждало лишь повода для этого. Сразу, с момента его

появления в Перми, за ним была установлена тщательная слежка, многочисленные агенты записывали каждое неосторожно произнесенное им слово, а может, и не произнесенное, лишь намеком проскользнувшее в товарищеской беседе. Всё это – нередко досочиненное и приписанное – передавалось в соответствующие органы, а те строчили отчеты и, как высоко именовали свои творения, «меморандумы», особенно после время от времени проводимых у Вороницына обысков. Слишком многое в большевистской России не принимала душа Ивана Петровича, так что мог и действительно не сдержаться, надеясь, что рядом надежные люди. В уже упомянутых выше «Биографических сведениях», записанных 4 января 1934 года, говорится, что он «в области международной политики критикует действия Советского правительства и считает, что последнее занимается очковтирательством. Выражает неудовольство по поводу частого упоминания в газетах тов. Сталина и увязывание его имени с достижениями в области соцстроительства. Вороницын проводит аналогию между фашизмом и нашей партией в достижении целей, считая, что и фашисты, и большевики в одинаковой степени прибегают ко всяким средствам».

8 марта 1929 года у Вороницына провели обыск, которому он даже обрадовался. Сотрудники ОГПУ решили: это потому, что Вороницын «усматривает в этом близкое окончание срока ссылки». Действительно, даже задержание его как «минусника» закончилось, и обыск – признак того, что, проверив, его скоро отпустят в родные края. По неволе снова вспоминается суждение Солженицына из произведения «Архипелаг ГУЛАГ», что «из этой вкрадчивой санитарной высылки не возвращались в родные места; если же успевали вернуться, то вскоре их брали вновь». Вслед за обыском начальник 1-го отдела Короби-

цин и уполномоченный Широков составляют обширнейший «меморандум» (закончен 25 марта), в котором очень подробно описывают мнения и высказывания Вороницына чуть ли не обо всех сторонах жизни страны и ее властей. Например, сообщают, что «по вопросу о разногласиях в ВКП(б) Вороницын проявляет живейший интерес к событиям в этой области, констатируя всякий раз расколы в ВКП(б) как путь к дальнейшему разложению ненавистной ему партии. Выражая полное сочувствие идеям и работе отколовшихся от ВКП(б), Вороницын заявляет, что все расколы в ВКП(б) достаточно характеризуют существующий в ВКП(б) режим и так называемую “большевистскую демократию” и что прав Троцкий, называя рядовую массу членов ВКП(б) стадом баранов».

Далее, по вопросу о правом уклоне в ВКП(б) Вороницын якобы замечает следующее: «Хоть и пишут, что экономические затруднения – признак роста, а не упадка, но теперь дело затрагивает уж желудки рабочих, и если сейчас уже начался правый уклон в партии, то к весне тогда надо ждать голода, все говорят – сами рабочие, и уже не единицы, а миллионы». Мол, в разговоре со ссыльным Лемером он заявлял: «Узел на шее большевиков медленно, но верно затягивается с одной стороны, внутри страны жизнь становится все более невыносимой: продовольственный кризис все обостряется, жилищ не хватает, зарплата не выдерживает никакой критики, ибо профессура получает меньше, чем мальчишки, кончившие фабзавуч... При продолжении нынешней политики – выхода нет, ибо индустриализация при взятом темпе не под силу стране, а если учесть, что окружение большевистской России за последнее время... особенно активно, то все это говорит за то, что близок конец»...

«По вопросу о положении и настроениях крестьянства в СССР Вороницын убежден в том, что крестьянство целиком настроено против большевиков и советской власти. Это, по мнению Вороницына, вполне доказывается всеми фактами, например, плохим распространением советских займов в деревне, срывом самообложения и хлебозаготовок... По поводу увеличения правительством числа колхозов, совхозов и коммун Вороницын считает, что “деньги, идущие на эту цель, есть деньги, брошенные на ветер”. Во время перебоев с хлебоснабжением в городе Вороницын говорил: “...дело принимает безобразный характер, с трудом можно достать хлеб и сахар, даже соли нет, не говоря уже о том, что крупы город полгода не видит. Это называется социализм страны”».

Но Вороницын продолжал наивно надеяться, что скоро его освободят. Он даже прервал на время свою литературную работу, прежде всего – над обширнейшим сочинением «История атеизма», что подтверждали и авторы меморандума: «Вороницын в настоящее время не работает над своим трудом, занят исключительно чтением». При всем пренебрежении к личности Ивана Петровича гэлэушники, возможно вопреки себе, ценили его как автора многих очень полезных стране книг, прежде всего – как автора антирелигиозной литературы: в стране продолжался прямотаки истеричный поход на Церковь и всё с нею связанное. Даже в предсмертной анкете, кем-то за Вороницына заполненной, а им только подписанной, на вопрос «Профессия и специальность?» значилось: «Научно-литературный работник». И в «Биографических сведениях» от 4 января 1934 года записано, что, помимо заведования библиотекой завода № 19, Вороницын «занимается литературной работой, имеет несколько своих трудов, главным образом по антирели-

гиозной части (история атеизма и другие)». Он действительно за годы жизни в Перми написал довольно много книг, причем не только по атеизму, а, например, и по философии.

Кстати, если в наши дни пусть не очень часто, но пишут о Вороницыне-политике и о Вороницыне-ученом-атеисте, то почти не освещают такой стороны его деятельности, как философия. Между тем в 1920-е годы, например, Иван Петрович был приглашен в авторы готовящейся «Философской энциклопедии». К 1929 году была проделана значительная работа, которая, к сожалению, не была завершена. Однако уже подготовленные материалы были частично использованы при первом издании «Большой Советской Энциклопедии».

В 2015 году в «Философском журнале» известный советский ученый, доктор философских наук, ведущий сотрудник Института философии РАН Сергей Николаевич Корсаков в биографическом очерке, посвященном репрессированному ученому-философу В. К. Сerezникову, писал: «Виктор Константинович Сerezников принадлежал к той плеяде историков философии – марксистов, что сформировались в рамках российского и международного социал-демократического движения в начале XX в. (Л. И. Аксельрод, В. А. Базаров, Я. А. Берман, А. М. Воден, И. П. Вороницын, А. М. Деборин, В. И. Засулич, В. Н. Максимовский, Б. Г. Столпнер, А. А. Ческис, В. М. Шулятиков, П. С. Юшкевич и др.). Этих ученых отличало хорошее знание языков и глубокое понимание специфики философии и ее проблем».

В первые годы пермской ссылки в творчестве Вороницына еще занимают какое-то место работы, посвященные недавнему революционно-каторжному прошлому. Так, в 1925 году в Москве, в Госиздате, увидела свет его моно-

графия о соратнике по Севастопольскому восстанию П. П. Шмидте, а в 1926 году там же – мемуары о незабвенном друге Борисе Жадановском «История одного каторжанина». Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев выпускало в это время серию книг «Дешевая библиотека» журнала «Каторга и ссылка». В 1926 году оно подготовило сборник воспоминаний «Первое мая в тюрьме и ссылке», напечатанный в этой серии, где была опубликована зарисовка-воспоминание Вороницына «Первое Мая в Шлиссельбурге».

Но постепенно всё большее место среди трудов Вороницына начинают занимать книги по философии. Философией, как мы помним, Иван Петрович серьезно заинтересовался еще в первые годы заключения в Шлиссельбургской крепости, даже возил из каземата в каземат небольшую библиотечку сочинений любимых мыслителей и горячо, до хрипоты обсуждал с друзьями затронувшие его философские проблемы. Долгие годы, проведенные в неволе, при всей их трагичности дали и некоторые положительные плоды – возможность изучать языки, читать в подлинниках любимых авторов, не спеша обдумывать прочитанное... Он даже выписывал, находясь в тюрьме, нужные ему книги из-за рубежа, экономя на всем остальном, – пожалуй, единственный из всех заключенных. То, что о многих философских сочинениях он судил по подлинникам, а не по популярным пересказам, отмечали критики и обозреватели его сочинений.

Вороницын уже жил в Перми, когда в 1925 году в Харькове, в Государственном издательстве Украины, вышла его книга «Ла Меттри. К истории французского материализма», а в 1926 году в Москве, в серии «Биографическая библиотека Госиздата» – книга «К. А. Гельвеций», переизданная в 1934 году. Иван Петрович публикует статьи в пе-

риодике: ряд его статей появляется в журнале «Атеист» за 1926–1930 годы. Пишет предисловия к некоторым книгам: например, вступительную статью к первому русскому изданию «Мыслей Спинозы», предисловие к первому изданию работы М. И. Шахновича «Человек восстает против Бога». Всего в СССР этот труд будет переиздан пять раз, но в дальнейшем уже без «напутствия» Вороницына.

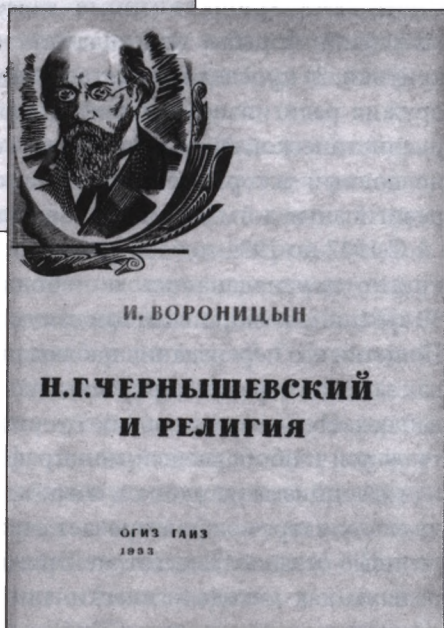
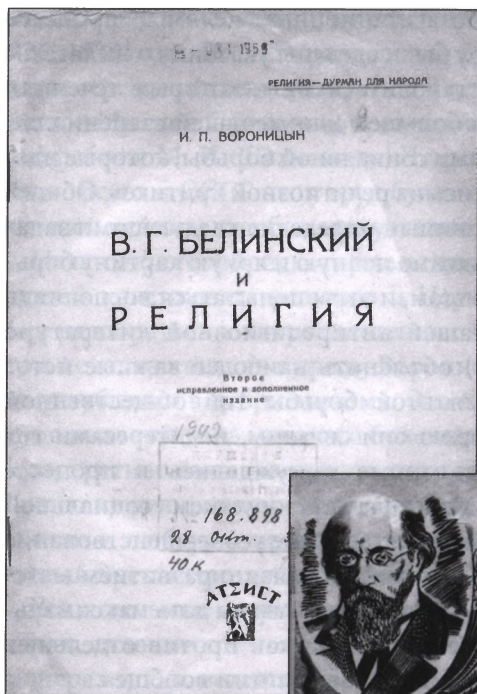
Начав с философов, которые отнюдь не ставили своей задачей критиковать религию и Церковь, а лишь пытались разобраться в хитросплетениях земного бытия, при этом невольно впадая в ересь, Вороницын все более и более углублялся в дебри атеизма. Это был его личный выбор, а никак не дань моде, тем более не дань большевикам, весьма ретиво взявшимся в эти годы за стопроцентное искоренение религиозных верований из жизни государства в целом и любого индивида в частности, будь то безграмотный крестьянин или известный ученый.

Его отдельные очерки о философах, общественных деятелях, склонных к поискам истины писателях, революционерах и т. д. волеются позднее в самый главный труд его жизни – «Историю атеизма». В свою очередь, от этой огромной, многоликой книги отпочкуются и станут самостоятельными книжками ее разделы, например «Декабристы и религия», «А. И. Герцен и религия», «В. Г. Белинский и религия», «Н. Г. Чернышевский и религия» и т. д.

Поначалу издательство «Атеист» задумало «Историю атеизма» и заказало ее своему постоянному автору И. П. Вороницыну как небольшую популярную брошюру. Вот как сам Вороницын рассказывал об этом во введении к первому, относительно полному изданию книги: «“История атеизма” первоначально была задумана в виде небольшой книжки, рассчитанной на читателя с малой антирелигиозной подготовкой, и должна была служить

почти исключительно агитационным целям. В процессе ее составления автору были сделаны указания о желательности подробнее остановиться на некоторых течениях новой философии, в большей или меньшей степени связанных с теми формами социальной борьбы, которые идеологически заострялись на религиозной критике». Общий характер книги Вороницын определил следующими задачами: «...1) дать возможно полную и яркую картину борьбы с религией в прошлом, и этим попытаться восполнить существующий в нашей антирелигиозной литературе досадный пробел; 2) объяснить наиболее важные исторические проявления этой борьбы той общественной обстановкой, с которой они связаны, и интересами тех социальных групп, которые вынуждались в процессе классовой борьбы пользоваться оружием социальной критики; 3) проследить постепенное усовершенствование оружия религиозной критики в связи с развитием материалистической философии и тем самым дать максимально полный ассортимент доводов как против отдельных религиозных догм, так и против религии вообще».

С 1927 по 1934 год это сочинение Вороницына неоднократно переиздавалось и небольшими выпусками от 30 страниц, и солидными томами до 900 страниц с лишним. Попытки его переиздания наблюдаются и в наши дни, ибо, как заметил израильский ученый А. Д. Эпштейн, до сих пор наблюдается «поразительное отсутствие хотя бы одной актуальной и обобщающей монографии по истории атеизма и агностицизма на русском языке». Сочинение Вороницына всегда встречало и встречает до сих пор самые противоречивые отзывы. Так, тот же Эпштейн называет его устаревшим как методологически, так и идеологически. Зато «Атеистический словарь» (1986) называет эту работу Вороницына фундаментальной, содержащей обширный факти-



И. П. Вороницын Обложки книг

ческий материал, сыгравшей, несмотря на некоторые ошибки, «значительную роль в период становления массового атеизма в СССР». В монографии «Из истории свободомыслия» доктор философских наук, заслуженный профессор МГУ З. А. Тажуризина оценивает этот труд как фундаментальный и называет Вороницына «глубоким знатоком истории атеизма».

Сравнительно недавно «История атеизма» Вороницына обсуждалась на одном из форумов в Интернете. И здесь мнения читателей были самые противоположные. «Жалкий, ничтожный писунишка!» – прямо-таки взвыл, видимо задетый за живое, один из апологетов веры. Другой утверждал, что «значение этого издания трудно переоценить». Третий рассудительно констатировал: «Да, Иван Петрович проделал огромную работу. Публицист, способный писать на сиюминутные темы, из него был, мягко говоря, никакой, а вот такой труд, требующий неспешной и кропотливой работы, вышел блестящим».

Итак, пять томов в конечном итоге! (Кстати, и сам Вороницын, и его издатели, критики и прочие называли разделы сочинения то частями, то выпусками, то томами, внося тем самым некоторую неразбериху в свои суждения.) Бесспорно, это кропотливый труд, созданный в течение многих лет. И, видимо, Иван Петрович мечтал продолжать работу над ним еще долгие годы. В предисловии ко второму изданию он писал: «Учитывая почти полное отсутствие литературы по истории религиозного свободомыслия и атеизма в России, особенно в периоды, предшествующие оформлению революционного движения, автор уделил этим вопросам гораздо больше внимания, чем предполагалось сначала. Такое расширение плана не могло быть осуществлено в сравнительно короткий срок, на который было рассчитано опубликование труда в целом,

И. ВОРОНИЦЫН
**ИСТОРИЯ
АТЕИЗМА**

вып. 2



И. ВОРОНИЦЫН
**ИСТОРИЯ
АТЕИЗМА**

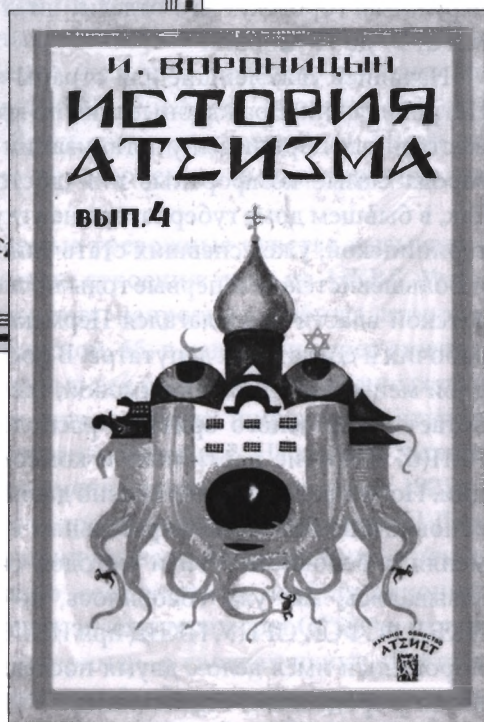
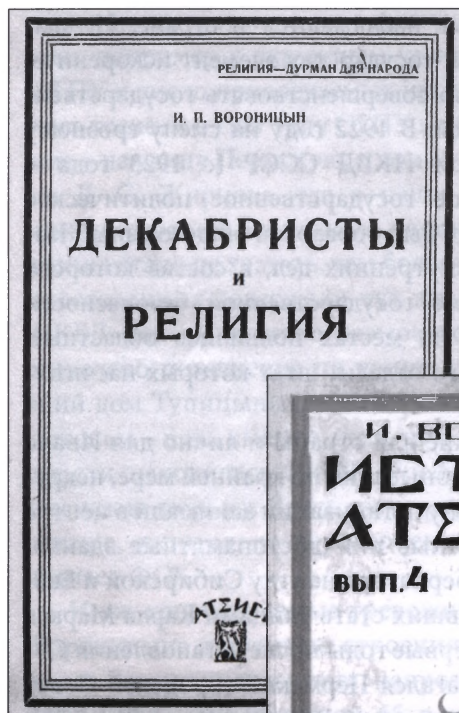


И. П. Вороницын Обложки книг

и не могло уложиться в рамках предложенных пяти выпусков. Поэтому в последнем – V выпуске – изложение доведено до эпохи Маркса – Энгельса на Западе, а в части, относящейся к истории атеизма в России, пришлось остановиться на 40-х годах прошлого века. Окончание всего труда потребует еще много времени, и по ряду причин момент этого окончания теперь указан быть не может. Отдельные очерки, служащие продолжением нашего труда, будут печататься в журнале “Атеист” или будут выпущены издательством “Атеист” отдельными брошюрами. (В частности, очерк об А. И. Герцене и его отношении к религии уже выпущен.)».

Вороницын в своем сочинении постоянно что-то доделывал, что-то изменял. Но ведь чаще всего под рукою не находилось нужных источников, а посидеть в столичных библиотеках, понятно, не было ни малейшей возможности. Мешало и все прогрессирующее, критическое состояние зрения. А чего стоил постоянный догляд органов, впивающийся в каждую его строчку, в каждое слово... И этот догляд все усиливался. Особенно невыносимым он стал с 1934 года. Хотя под нажимом Орджоникидзе на работе Ивана Петровича восстановили, но никаких обвинений с него не сняли. Не случайно после 1934 года ему ничего не удалось издать, хотя писать он несомненно продолжал.

В конце 1920-х годов появилась новая концепция – строительства социализма в одной, отдельно взятой стране, окруженной врагами. Мол, буржуазные страны, не смирившись с образованием и ростом нового, социалистического государства, засылают в СССР массу шпионов и диверсантов, вдохновляют на борьбу, всячески поощряют оставшихся в ее пределах антибольшевистских отморозков. Этим и объясняются многочисленные хозяйствен-



И. П. Вороницын Обложки книг

ные трудности, которые наблюдаются в стране. И, значит, нужно враждебный государству элемент искоренить, а для этого – постоянно совершенствовать государственные карательные органы. В 1922 году на смену грозному ВЧК пришло ГПУ при НКВД СССР (с 1923 года – ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление). В 1934 году был образован общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел, в состав которого как Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) вошло ОГПУ. На местах появились областные, окружные, городские его отделы, штат которых насчитывал от 27 до 77 человек.

Начались тяжелейшие для страны и лично для Ивана Петровича дни. Враждебные или, по крайней мере, недружественные Вороницыну организации занимали в центре города самые комфортные или достопамятные здания. Так, в бывшем доме губернатора на углу Сибирской и Екатерининской, уже успевших стать улицами Карла Маркса и Большевицкой, в первые годы после установления Советской власти располагался Пермский городской Совет рабочих и солдатских депутатов. В роскошном здании щедрой меценатки Е. И. Любимовой, где нынче успешно работает Театр юного зрителя, расположились окружком РКП(б) и другие партийные и комсомольские организации. Но эти ведомства негативно давили на Вороницына в основном по подсказке карательных органов, которые, не меняя в основном сути и методов своей работы, лишь назывались, как уже говорилось, по-разному: ГПУ при НКВД РСФСР, ОГПУ, НКВД при НКГБ СССР. В основном Вороницын имел дело с двумя последними – с их окружными (городскими) отделениями.

Поначалу ОГПУ размещалось по адресу: улица Сибирская, 21 (ныне – 23. Сегодня это здание школы № 21). По-

мещение на третьем этаже делили с другими организациями, например с окружным уголовным розыском. Штат ОГПУ и число привлекаемых им к ответу росли, становилось тесно, и в 1927 году ОГПУ перевели в другое помещение – на улицу Пермскую, в дом № 57 – в бывший дом купца Д. С. Жирнова, где в наши дни долго находилась администрация Ленинского района. Скоро и здесь помещения стало не хватать, тем более что наиболее серьезных арестованных содержали тут же. И в 1938 году уже для НКВД, как ныне стало называться бывшее ОГПУ, было выделено помещение по улице 25-го Октября, 14 (бывший дом Тупицыных). НКВД словно вернулось к своим истокам – ведь именно здесь при зарождении Советской власти находилась ГубЧК. Здесь же оборудовали внутреннюю тюрьму. Здесь же и расстреливали. Ныне это здание, капитально перестроенное и надстроенное, занимает ФСБ.

И уж конечно, самые тревожные чувства вызывали у Вороницына тюремные строения: тюрьма НКВД № 1 – возле Егошихинского лога, напротив кладбища, и тюрьма НКВД № 2 – на Сибирской, 65, в наши дни перестроенная под Театр кукол. Помимо все растущих собственных штатов, у карательных органов была широкая агентурная сеть. Кажется, эти органы знали всё. Например, сколько граждан Перми и кто именно отмечал Рождество в 1925 году. Что уж говорить о проступках более серьезных! Даже если их не было, их придумывали. Надо же было о чем-то писать в еженедельно составляемых информационных сводках. Писали в двух экземплярах: для ОГПУ и окружного ВКП(б). Был, например, в сводках пункт «Деятельность антисоветских партий». За неимением таковых сюда попадали кружок по изучению Северного края, Общество естествоиспытателей, организация инжене-

ров... Заподозрили вредителей, скрывающихся под маской Общества кролиководов-любителей. А уж такая огромная рыба, как матерый меньшевик Вороницын, был сказочным уловом для жаждущих продвинуться по службе. Работники органов – кто совершенно искренне, а кто ради «светлых» перспектив заставляя совесть помолчать, – считали, что ведут большую работу «по разгрому врагов народа и очистке СССР от многочисленных террористических, диверсионных и вредительских кадров из троцкистов, бухаринцев, эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов, белогвардейцев, беглых кулаков и уголовников, представлявших из себя серьезную опору иностранных разведок в СССР». Даже уничтожив последних эсеров и меньшевиков (уцелели буквально единицы), власть еще долго разоблачала их идеи, предательскую сущность и тому подобное, создавая «с запасом прочности» крайне непривлекательный исторический миф. Вороницын был отдан органам на заключение именно как меньшевик, и спасения ему ожидать не приходилось.

Приведем далее несколько цитат и фактов из публикаций общества «Мемориал» «Годы террора. Книга памяти. 1937–1938 годы» (этот период назван временем «самого масштабного и жестокого уничтожения людей по политическим мотивам»):

«...Это была крупнейшая, четко спланированная войсковая операция, развернутая против собственного народа. В течение полутора лет было арестовано более 1,7 миллиона человек». А вместе с жертвами депортаций и осужденными «социально вредными элементами число репрессированных переваливает за два миллиона». В печально знаменитом приказе № 00447 от 30 июля 1937 года нарком внутренних дел Ежов заранее определил приговоры для



**Пермь. Особняк купца Д. С. Жирнова на Пермской, 57,
где в 1927 г. размещалось ОГПУ**

людей, еще свободных, еще не арестованных. Например, по Свердловской области, в которую тогда входила и Пермь, «было приказано репрессировать 10 тысяч человек, из них по первой категории (расстрелять) 4 тысячи, а 6 тысяч приговорить к заключению в лагеря на 8–10 лет. Всего по стране планировалось репрессировать 260 тысяч человек, в том числе 82 тысячи расстрелять».

Начав «операцию» в июле 1937 года, предполагали завершить ее за 4 месяца, но растянули до середины 1938 года. Да и тогда, хотя аресты пошли несколько на убыль, они не прекратились совсем. На человека заранее собирали компрометирующие данные. Следствие проводилось в ускоренном, упрощенном порядке. Наиболее важные, с точки зрения органов, случаи рассматривали «тройки», состоящие из первого секретаря райкома партии, проку-

рора и регионального руководителя НКВД. Регионы соревновались, кто проведет работу «по разгрому врага» оперативнее и значительнее по масштабам. Руководство Свердловского НКВД неоднократно обращалось в Москву с просьбой увеличить лимиты на репрессии, хотя и без того значительно превысило их. Место исполнения приговора сохранялось в тайне. В случае расстрела близким сообщали, что их родственник осужден на 10 лет без права переписки. В Пермь из Свердловска приехала специальная бригада – учить, как выбивать признание, как заставлять арестованного подписать бумаги, обрекавшие его на верную гибель...

Как уже говорилось, предрешен был арест, а значит, и гибель Вороницына, о чем он не мог не догадываться. Былого заступника – Серго Орджоникидзе – уже не было в живых. Официальное сообщение гласило, что Г. К. Орджоникидзе, нарком тяжелой промышленности СССР, член Политбюро ЦК ВКП(б), верный ленинец, скончался в своей кремлевской квартире от инфаркта в ночь на 18 февраля 1937 года. Был с почестями похоронен у Кремлевской стены на Красной площади. На самом деле Серго закончил жизнь самоубийством, не в силах повлиять на развернувшийся террор, на друга многих лет – Сталина. Воронка репрессий затянула и его близких. Был расстрелян его старший брат Папулия, казнен близкий друг А. Сванидзе (брат первой жены Сталина). На квартире Орджоникидзе устроили обыск. Когда тот пожаловался Сталину, в ответ услышал: «Ничего особенного. Это такая организация, что может провести обыск у любого, в том числе и у меня». Последняя попытка объяснить Сталину, что на его болезненной подозрительности играют темные силы, ни к чему не привела, и Серго поставил трагическую точку...

18 декабря 1937 года к Вороницыну пришли с обыском. Сведения об этом обыске, аресте, допросах обвиняемого, приговоре, исполнении приговора приводятся согласно архивным документам, хранящимся в архиве – ПермГАСПИ. Обыск проводили сотрудники Пермского городского отдела НКВД по Свердловской области Окулов и Кауров в присутствии «понятых». Так написано – во множественном числе. Но понятой оказался один – сосед Вороницына по дому, проживавший в квартире № 27 Жданов Иван Михайлович. Самым «криминальным» из обнаруженного оказались охотничьи ружья и боеприпасы. Даже упоминания о найденных письмах, не считая переписки с братьями, на допросах не прозвучали. Видимо, не было в них ничего такого, к чему можно было прицепиться. Как правило, Вороницын переписывался по поводу издания своих трудов, а на допросах поднимались вопросы «глобальные» – в основном о диверсионно-террористической группе, руководителем которой якобы он был, и которая будто бы действовала на ряде крупнейших предприятий Перми. Что еще нашли при обыске? Документов – 23 штуки, карточек разных – 29 штук, блокнотов – 2, тетрадь – 1.

Вороницына поместили в тюрьму НКВД № 1, ту, что с незапамятных времен стояла возле Егошихинского лога, только при НКВД стала намного ужаснее. Забита она была арестованными настолько, что люди спали на цементном полу без всяких постельных принадлежностей. А поскольку пребывание их в тюрьме не было продолжительным (быстро шли «в расход»), то никто и о прокорме их не заботился.

Дела решались быстро. Вот и Вороницына 18 декабря арестовали, с 23 по 27-е допросили, 30 декабря вынесли приговор, который и привели в исполнение 25 января

1938 года в 24 часа местного времени. В анкете, которую за арестованного заполнил один из допрашиваемых, а Вороницын только подписал (или не доверяли, или был уже не в силах – она датирована 25 декабря), перечислялись факты биографии, в общем-то нам уже знакомые, но ответы на некоторые были немного неожиданные. Именно здесь (да еще в «Автобиографических сведениях», составленных ОГПУ в 1934 году, но о них Вороницын ничего не знал) указано, что образование у Ивана Петровича среднее, а не незаконченное среднее, как всегда отвечал на этот пункт он сам. Национальность и гражданство (подданство) – украинское. Именно подданство украинское, а не национальность. По семейному положению – вдовец, единственный член семьи – дочь. Социальное положение: а) до революции – профессиональный революционер, б) после – служащий. Партийность (в прошлом и в настоящем) – б/п. На всякие каверзные вопросы типа «Служба в белых и др. к.-р. армиях, участие в бандах и восстаниях против Советской власти» и им подобных твердо отвечено: нет! Надо заметить, что коли вся процедура проводилась в спешке, документы поражают своей небрежностью: на плохой бумаге, порою на листах, вырванных из обыкновенной тетради, какие-то отпечатаны на машинке, какие-то написаны от руки, в них много сокращений, ошибок, подписи неразборчивы... Именно в постскрипте анкеты указано, что ее заполнял сотрудник (подпись неразборчива), что арестованный находится под стражей в Пермской тюрьме.

Допросы в основном проводил помощник оперуполномоченного Пермского городского отделения НКВД Антонов, в общем-то маленькая сошка, наверняка с небольшим образованием (почти все работники местных

органов имели образование кто 2 класса, кто домашнее). Приведем фрагмент одного из допросов:

«Вопрос: Вы являетесь чл. повстанческой террористической орг. в гор. Перми, по заданию которой вели к. р. работу, признаете ли себя в этом виновным?

Ответ: Виновным себя не признаю, т. к. чл. повстанческой террористической организации я не состоял и не состою.

Вопрос: Имеете ли вы переписку с границей?

Ответ: Да, переписку с границей я имею (с Финляндией). У меня там живет сродный брат – Неустроев Александр Васильевич, пишу 1–2 раза в год и получаю от него также 1–2 раза в год.

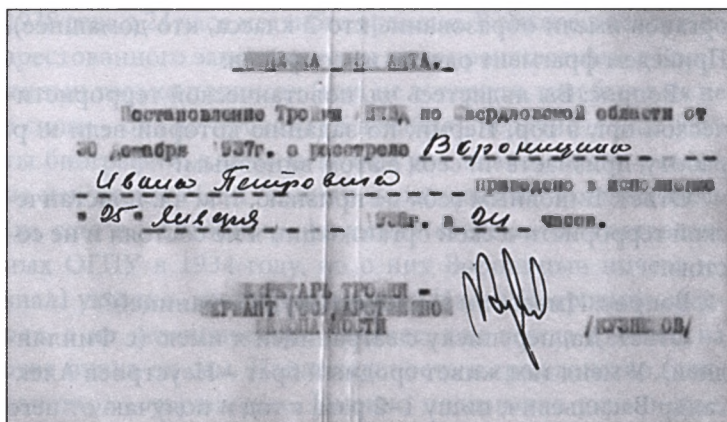
Вопрос: Мы располагаем точно данными, что вы в письмах брату – Неустроеву, проживающему в Финляндии, – сообщали о мощности зав. № 19 и какая продукция на нем выпускается. Признаёте ли это?

Ответ: Не признаю, т. к. я этого не писал».

Были вопросы о том, как Вороницын-меньшевик боролся с партией большевиков, в чем эта борьба выражалась, был ли он судим за контрреволюционную деятельность и сколько раз, кто из знакомых есть у него в Перми и на заводе № 19 и т. д. Приведем фрагмент допроса от 27 декабря 1937 года:

«Вопрос: Материалами следствия установлено, что вы являетесь чл. и руководителем к. р. диверсионной организации на заводах 10 [им. Дзержинского], 19 – органы следствия требуют от вас рассказать об этом.

Ответ: По положению своему на заводе 19 я не мог являться руководителем какой-либо орг., и в чл. к. р. организации меня никто не завербовывал. На заводе № 10 у меня никаких ни с кем знакомых нет...».



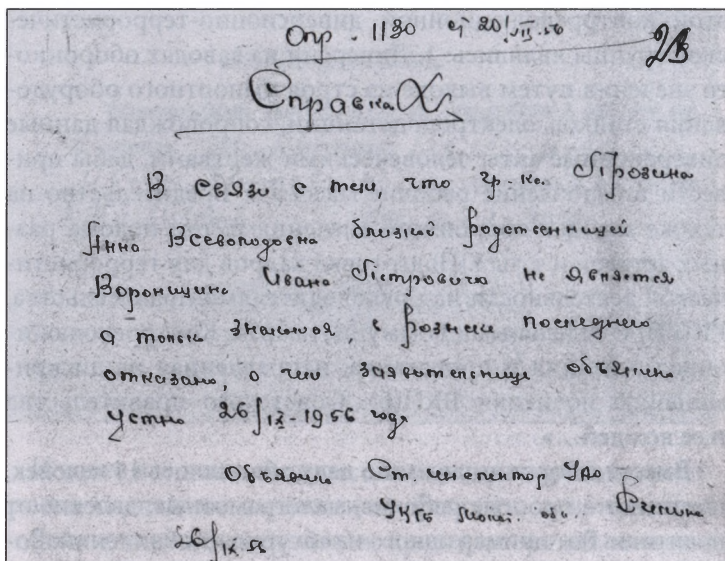
И далее всё в том же духе. Поскольку подробности допросов совпадают со многими фактами, изложенными в обвинительном заключении, приведем это заключение:

«В декабре месяце 1937 года 4-м отделением Пермского Горотдела НКВД на территории гор. Перми вскрыта и ликвидирована контрреволюционная и диверсионно-террористическая группа, возглавляемая сыльным меньшевиком, сыном генерала Вороницыным Иваном Петровичем... Произведенным расследованием установлено: в период 1936–1937 годов на оборонном заводе № 19 имени Сталина, бывшим адмссыльным, меньшевиком Вороницыным Иваном Петровичем была создана контрреволюционная диверсионно-террористическая группа из кулаков, белогвардейцев и других враждебно настроенных по отношению к ВКП(б) и Советской власти элементов, пролезших на оборонный завод № 19 имени Сталина... Не ограничиваясь данной контрреволюционной группой, Вороницын И. П. раскинул сеть диверсионно-террористических групп по оборонным заводам в гор. Перми: завод № 10, завод № 98 и судовой верфи... Основными задачами

этой контрреволюционной диверсионно-террористической группы являлись: 1. Диверсии на заводах оборонного значения путем вывода из строя импортного оборудования станков, электроподстанции, сопровождая данные диверсионные акты человеческими жертвами, дабы привести в озлобление рабочие массы. 2. Вредительство на тех же заводах оборонного значения путем полома разных деталей и т. п. 3. Подготовка кадров для террористической деятельности над руководителями правительства, РКП(б) и отдельными коммунистами. 4. Контрреволюционная агитация и пропаганда, направленная на дискриминацию политики ВКП(б), Советского правительства и ее вождей...».

Вместе с Вороницыным по делу обвинялись 14 человек, почти все – простые рабочие, малограмотные, далекие от политики. Вот пример одного из абсурдных обвинений: Вороницын «через участников контрреволюционной группы Тараборина и Чудинова подготовил поджог филиала с химической продукцией завода № 98». А Архип Иванович Тараборин, из крестьян, малограмотный, до ареста работал на заводе № 98 кучером! И подобные «террористы» не только под руководством Вороницына заводы поджигали, но и занимались контрреволюционной пропагандой (смотри выше). Вороницын, конечно же, **ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ**. Напечатано именно так – прописными, заглавными буквами. Но на результаты следствия это никак не действовало.

Далее следует «Выписка из протокола заседания тройки при УНКВД по обвинению Вороницына Ивана Петровича... Постановили: **РАССТРЕЛЯТЬ. ЛИЧНО ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ИМУЩЕСТВО КОНФИСКОВАТЬ**». Подпись – секретаря «тройки» УНКВД сержанта государственной безопасности Кузнецова.



Документы зафиксировали, что едва арестовали Ивана Петровича, якобы его жена пыталась узнать что-либо о судьбе своего мужа. Но Вороницын уже несколько лет был вдовцом. Кто была эта женщина? Друг, товарищ, просто знакомая? Ничего, конечно, она не узнала. А в июле 1956 года некая Прозина Анна Всеволодовна обратилась в органы УАО УКГБ с просьбой разыскать следы И. П. Вороницына, на что ей ответили: «В связи с тем, что гражданка Прозина Анна Всеволодовна близкой родственницей Вороницына Ивана Петровича не является, а только знакомая, в розыске последнего отказано, о чем заявительнице объявлено устно 26/IX 56».

А. В. Прозина, родившаяся в Риге в 1892 году и проживавшая в 1930-е годы в Перми, тоже была арестована 4 января 1938 года, но за неимением хоть каких-то для этого

поводов дело было прекращено. Возможно, это она, освободившись, интересовалась судьбой товарища.

Вот так печально заканчивается наше повествование.

Понимаю, что сочинение получилось противоречивым, но что поделать, коли так противоречив его герой?

Невозможно не ценить очень высоко эту личность – честную, целеустремленную, талантливую, совершенно лишенную жажды личного благополучия, положившего на алтарь справедливости и собственное благо, и благо своей семьи.

Думаю, лучше всего закончить эту книгу словами мудрого Константина Николаевича Морозова, доктора наук, профессора, руководителя постоянно действующего семинара «Левые в России», который в предисловии к сборнику «Судьбы демократического движения в России» так написал о людях, подобных нашему Ивану Петровичу Вороницыну, и о деле, которому они служили:

«...У нашего интереса (вернее было бы сказать – у нашего долга перед этими людьми) есть и моральная подоплека. Безнравственно игнорировать человеческий подвиг людей, противостоявших большевикам до конца и дошедших до самого конца в самом прямом смысле этого слова – до гибели в ссылках, тюрьмах, лагерях и под пулями расстрельных команд. Игнорировать последнее особенно нелепо и чудовищно, так как в отличие от сотен и сотен тысяч советско-партийных работников, попавших под удар репрессий в 30–40-е годы “безвинно”, эти несколько тысяч социалистов – не просто жертвы властей, они их сознательные и заклятые враги. Они были немногими из тех, кто погиб “за дело” – за дело, которому служили и за которое имели счастье умереть, в отличие от

миллионов умерщвленных волею властей “за просто так”. Наши герои были, прежде всех и более всего, борцами, гражданами, личностями, со своим богатым внутренним миром, со своими идеалами, понятиями и честью. Нам интересны эти люди, сумевшие во имя этих ценностей, оставаясь демократическими социалистами, стать заклятыми врагами большевистской власти, очень серьезно их опасавшейся и уничтожавшей их не только политически, но и физически. Нам интересны эти люди, прежде всего, как граждане, как мужественные люди, боровшиеся за многое из того, что содержится в понятии гражданского общества и чего хотим сегодня мы».

Список трудов И. П. Вороницына

Запись рассказа городского головы г. Житомира Волынской губ. И. П. Вороницына о погромах польскими войсками частями в городе в июне 1920 г. Позднее 12 июня 1920 г.: Польские дни в Житомире // Книга погромов: Погромы на Украине, в Белоруссии и в Европейской части России в период Гражданской войны. М., 2007. С. 390–394.

Доклад И. П. Вороницына на конференции военных и боевых организаций РС.Д.Р.П. // Лейтенант П. П. Шмидт: Письма, воспоминания, документы. М., 1922. С. 232–242.

Из мрака каторги: 1905–1917. Харьков, 1922.

У немцев: Очерки политической тюрьмы и ссылки. Харьков, 1923.

Ла Меттри: К истории французского материализма. Харьков, 1925.

Лейтенант Шмидт. М. – Л., 1925.

Первое мая в Шлиссельбурге // Первое мая в тюрьме и ссылке: сб. воспоминаний. М., 1926. С. 17–18.

История одного каторжанина. М. – Л., 1926.

К. А. Гельвеций. М. – Л., 1926. (Биограф. б-ка Госиздата).

История атеизма. Вып. I–IV. М., 1927–1929.

А. И. Герцен и религия. М., 1928.

Декабристы и религия. М., 1928.

Декабристы и религия. Рязань, 1929.

Светский календарь и гражданская религия Великой Французской революции. 2-е изд. М., 1929.

История атеистической книги // Трактат о трех обманщиках. М., 1930.

В. Г. Белинский и религия. 2-е изд. М., 1930.

История атеизма. 2-е изд. М., 1930. 762с.

История атеизма. 3-е изд., испр. и доп. Рязань, 1930. 908 с. [твердый переплет, академический формат].

История атеизма. В 4-х вып. М., 1930.

Н. Г. Чернышевский и религия. М., 1933.

К. А. Гельвеций. Изд. 2-е. М., 1934.

Шлиссельбургская каторга (1908–1909 гг.) // На каторжном острове: Дневники, письма и воспоминания политкаторжан Нового Шлиссельбурга. Л., 1967. С. 88–105.

Список использованной литературы

Абдрашитов Э. Е. Источники личного происхождения по истории российских военнопленных Первой мировой войны: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 2003.

Алтабаева Е. Б., Коваленко В. В. На рубеже эпох: Севастополь в 1905–1916 годах. Севастополь, 2002.

Анин Д. С. Революция 1917 года глазами ее руководителей. Рим, 1971.

Архангельский В. В. Ногин. М., 1966.

Архипов И. Л. Ю. О. Мартов: Трагедия «мягкого» революционера // Звезда. 2018. Июль.

Атеистический словарь. М., 1986.

Багров В. Н., Морозов Ю. В., Сёмин Г. И. «Приказываю самым срочным порядком...». М., 1990.

Базанов П. Н. Очерки истории русской эмиграции на Карельском перешейке (1917–1939 гг.). СПб., 2015.

Балашов Е. А. Карельский перешеек – земля неизведанная. Ч. 1–6. СПб., 2007–2009.

Балыбердин Ю. А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе в начале XX века: автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 2007.

Баранченко В. Е. Гавен: Вологодская каторга. М., 1967.

Безденежных Т. В. Портрет неизвестного вождя. Интернет.

Белая Россия: Опыт исторической ретроспекции. СПб. – М., 2002.

Бердичевская А. Л. Молёное дитяtko. М., 2017.

Бердичевская А. Л. Чемодан Якубовой. М., 2004.

Богданович В. Краткая история 19-го пехотного Костромского полка с 1805 по 1900 г. Житомир, 1900.

Бондарева Е. А. Русская эмиграция в Югославии (1920–1945). Интернет.

Борисов А. Очерки революции на Волини // Летопись революции. 1924. № 3. С. 50–61.

Бруштейн А. Я. Цветы Шлиссельбурга. М., 1963.

Буня М. И. Глазовские находки: Записки краеведа. Ижевск, 1971.

Варфоломеев Ю. В. «Его политическое и нравственное значение всеобъемлюще для всей страны...»: Политико-правовые коллизии судебного процесса над участниками Севастопольского восстания // Известия Саратовского ун-та. Сер.: История. Т. 8. 2008. С. 8–19.

Венедиктов-Безюк Д. Г. По казематам Шлиссельбургской крепости. М., 1931.

Веремеев Ю. Г. Служба офицеров в России в 1913 году. Интернет.

Верещагин В. В. На Северной Двине: По деревянным церквам. М., 1896.

Верещагин В. П. Очерки Архангельской губернии. СПб., 1849.

Вержбицкий Т. И. Краткое описание города Житомира. Житомир, 1889.

Виноградова А. В. Расстрелянная мечта: Хроника жизни лейтенанта Шмидта. Николаев, 2003.

Волкенштейн Л. А. 13 лет в Шлиссельбургской крепости. СПб., 1906.

Волков Е. В., Сибиряков И. В. «Красный лейтенант»: Историческая политика и мемориальный культ П. П. Шмидта (1905–2005 годы) // Новый исторический вестник. 2017. № 4 (54). С. 92–110.

Волков С. В. База данных «Участники Белого движения в России». Интернет.

Волков С. В. Генералитет Российской империи: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 1–2. М., 2009.

Волков С. В., Стрелянов П. Н. Чины русского корпуса: Биографический справочник в фотографиях. М., 2009.

Вороницын Иван Петрович // Деятели революционного движения в России. В 5-ти т. Т. 5. Вып. 2. М., 1934.

В поисках лучшей доли: Российская эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Вторая половина XIX – первая половина XX в. М., 2009.

Высший подъем революции 1905–1907 гг. Ч. 1. М., 1955.

Гамбург И. К. Так это было: Воспоминания. М., 1965.

Генкин И. И. Лейтенант Шмидт и восстание на «Очакове». М. – Л., 1925.

Генкин И. И. По тюрьмам и этапам. Пг., 1922.

Генкин И. И. Революционер-подвижник Б. П. Жадановский // Каторга и ссылка. 1925. № 3.

Генкин И. И. Среди политкаторжан. М., 1930.

Гернет М. Н. История царской тюрьмы. В 5-ти т. Т. 5. М., 1963.

Годы террора: Книга памяти жертв политических репрессий Пермской области. В 5-ти т. Пермь, 2003–2009.

Гончаров В. Ф. Шлиссельбургская каторга: Из воспоминаний // Былое. 1924. № 25–26; 1925. № 1.

Горев Б. И. Из партийного прошлого: Воспоминания. 1895–1905. Л., 1924.

Горев Б. И. Марксизм и рабочее движение в Петербурге четверть века назад: Воспоминания. Пг., 1921.

Горев Б. И. На идеологическом фронте: сб. статей. М. – Пг., 1923.

Горев Б. И. Первый русский марксист Г. В. Плеханов. М., 1925.

Город Пермь: сб. очерков по истории, культуре и экономике города. Пермь, 1926.

Граф Г. К. Императорский Балтийский флот между двумя войнами. 1906–1914. СПб., 2006.

- Граф Г. К. Моряки: Очерки из жизни морского офицера. 1897–1905 гг. М., 2012.
- Гришуныкина М. Г. Профессиональные объединения российских юристов в эмиграции в 1920–1930-е гг.: дис. ... канд. ист. наук. М., 2005.
- Группа «Освобождение труда» и общественно-политическая борьба в России. М., 1984.
- Дайте нам организацию революционеров... (1895–1903 гг.). М., 1987.
- Дашковский И. Октябрьские дни в Житомире и на Юго-Западном фронте // Летопись революции. 1924. № 6. С. 72–75.
- Деятели революционного движения в России: библиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма. В 5-ти т. М., 1927–1934.
- XX век и Россия: Общество, реформы, революция. Вып. 1. Ч. 1. Самара, 2013.
- Дойков Ю. В. Первая Сибирь: Биографический словарь Архангельской ссылки (XII в. – февраль 1917). Ч. 1. Архангельск, 2011.
- Ёлкин А. И. Русская эмигрантская интеллигенция в Польше в 20–30-е годы XX века // Вісник Харківського університету. 1994. Вып. 28. С. 291–300.
- Залеский В. Н. На путях к революции (1896–1906 гг.) Кн. 1. М. – Л., 1925.
- Заплавный С. А. Запев: повесть о Петре Запорожце. М., 1987.
- Зеленогорск на рубеже веков. СПб., 2010.
- Игнатьева Г. П. «Борись, Петрович» // Узники Шлиссельбургской тюрьмы. Л., 1978.
- Игнатьева Г. П. Тюремный врач Евгений Рудольфович Эйхгольц // История Петербурга. 2012. № 1 (65). С. 10–15.
- Игнатьева Г. П. Шлиссельбургская крепость в XX веке // История Петербурга. 2010. № 4 (56). С. 89–97.
- Избаш А. П. Лейтенант П. П. Шмидт: Воспоминания сестры. Л., 1925.
- Ильинский М. В. Архангельская ссылка. М., 2009.

- Ионов И. И. Владимир Осипович Лихтенштадт (Мазин). Пг., 1921.
- История политических партий России. М., 1994.
- Калинина Д. А. Организация свободного времени как элемент повседневной жизни политических ссыльных конца XIX – начала XX в. (На примере Вятской губернии) // Вестник Вятского государственного гуманитарного ун-та. 2011. № 2 (5). (Сер.: История и юридич. науки). С. 64–70.
- Карум Л. С. Моя жизнь: Рассказ без вранья. Новосибирск, 2014.
- Квакин А. В., Маяковская Г. И. Жажда революции. Saarbrücken (Германия), 2013.
- Книга истории федерального казенного учреждения: Следственный изолятор № 2. Вологда, 2016.
- Книга погромов: Погромы на Украине, в Белоруссии и Европейской части России в период Гражданской войны 1918–1922 гг.: сб. док. М., 2006.
- Кожевникова А. Политическая ссылка в Холмогорах // Холмогорская жизнь. 2013. 28 февр.
- Колосов Е. Е. В русской Бастилии: Шлиссельбургская крепость и ее прошлое. М. – Л., 1926.
- Коняев Н. М. Непобежденная крепость. СПб., 2015.
- Коняев Н. М. Шлиссельбургские псалмы: Семь веков русской крепости. М., 2013.
- Кортаев Ф. С. Г. В. Плеханов: Человек и политик. Пермь, 1992.
- Корсаков С. Н. Виктор Константинович Серезников: биографический очерк // Философский журнал. 2015. Т. 8. № 3. С. 144–157.
- Костиков В. В. Не будем проклинать изгнание (Пути и судьбы русской эмиграции). М., 1994.
- Крестинин В. В. Краткая история о городе Архангельском. СПб., 1792.
- Крестинин В. В. Начертание истории города Холмогор. СПб., 1790.
- Кривцов Н. В. Русская Финляндия. М., 2009.

- Кропоткин П. А. В русских и французских тюрьмах. СПб., 1906.
- Лаврентьев М. В. Пенитенциарная система России (кон. XIX – нач. XX в.) и Шлиссельбургская политическая тюрьма: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002.
- Лейтенант П. П. Шмидт. Письма, воспоминания, документы. М., 1922.
- Ленин В. И. Как чуть не потухла «Искра»? // Полн. собр. соч.. 5-е изд. Т. 4. С. 334–352.
- Лихтенштадт В. О. Гёте: Борьба за реалистическое мировоззрение. Пг., 1920.
- Логинов В. Т. Владимир Ленин. Выбор пути: биография. М., 2005.
- Луначарский А. В. Силуэты и политические портреты. М., 1991.
- Лурье Ф. М. Посеять страх // Звезда. 2008. № 9.
- Лыков И. П. 92-й пехотный Печорский полк и его участие в Первой мировой войне. М., 2011.
- Маевский В. А. Русские в Югославии: 1920–1945 гг. Нью-Йорк, 1966.
- Максимов С. В. Год на Севере. СПб., 1871.
- Мельников Р. М. Крейсер «Очаков». Л., 1986.
- Меньшевики в 1917 году. В 3-х т. Т. 2. М., 1995.
- Меньшевики после Октябрьской революции: сб. статей и воспоминаний. Нью-Йорк, 1990.
- Минувшее: исторический альманах. М. – СПб., 1996.
- Михайлов Г. К истории Октября на Волини: Партийные группировки накануне Октября // Летопись революции. 1924. № 6. С. 68–71.
- Мордвинкин Ю. Б. Белогвардейцы: автобиографическая повесть. Интернет.
- Мороз Р. В. Михаил Булгаков и Житомир. Интернет.
- Морозов К. Н. Судьбы демократического социализма в России. // Сб. материалов конф. «Левые в России: История и современность». М., 2014.

На каторжном острове: Дневники, письма и воспоминания политкаторжан «нового Шлиссельбурга» (1907–1917 гг.). Л., 1967.

Невский В. И. Материалы для биографического словаря социал-демократов, вступивших в российское рабочее движение за период от 1880 до 1905 г. М. – Пг., 1923. Вып. 1: А – Д.

Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917–1997. В 6-ти т. Кн. 8. М., 1999–2007.

Новая философская энциклопедия. В 4-х т. Т. 1. М., 2010.

Общественное движение в России в начале XX века. В 5-ти т. СПб., 1909–1914.

Оороков А. В. Фашизм и русская эмиграция (1920–1945 гг.) М., 2001.

Ордовский М. Л. Русские захоронения в Сербии (По личным впечатлениям) // СПб., 2013.

Осколок Родины: Русские в довоенной Польше // Русский предприниматель. 2003. № 4 (13).

Памятная книжка Волынской губернии на 1905 год. Житомир, 1904.

Парсаданова В. С. Эдвард Рыдз-Смиглы // Вопросы истории. 2007. № 8. С. 10–23.

Паустовский К. Г. Черное море. Симферополь, 1973.

Первое Мая в тюрьме и ссылке: сб. воспоминаний. М., 1926.

Первый съезд РСДРП (март 1898 года): документы и материалы. М., 1958.

Петербургский университет и революционное движение в России. Л., 1979.

Петров А. В. Город Нарва, его прошлое и достопримечательности. СПб., 1901.

Плеханов Г. В. Политическое завещание // Независимая газета. 1999. 1 дек.

Политическая каторга и ссылка: биографический справочник членов Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1934.

- Политические партии России: История и современность. М., 2000.
- Политические репрессии в Прикамье: 1918–1980-е гг.: сб. документов и материалов. Пермь, 2005.
- Полтавский И.* Побеждающие тюрьму // Вокруг света. 1930. № 21. С. 324–327.
- Программы политических партий России: конец XIX – начало XX в. М., 1995.
- Протоколы первой конференции военных и боевых организаций РСДРП. М., 1932.
- Пругавин А. С.* В казематах: Очерки и материалы по истории тюрем. СПб., 1909.
- Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Житомир, 2013.
- Робулец Ю. Н. П. П. Шмидт:* Каким я его вижу. Интернет.
- Российские социалисты и анархисты после Октября 1917 года. Интернет.
- Россия в изгнании: Судьбы российских эмигрантов за рубежом. М., 1999.
- Русская эмиграция и фашизм: статьи и воспоминания. СПб., 2011.
- Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции: энциклопедический биографический словарь. Первая треть XX века. М., 1997.
- Сабенникова И. В.* Российская эмиграция (1917–1939): Сравнительно-типологическое исследование. М. – Берлин, 2015.
- Санкт-Петербургские высшие женские курсы (1879–1919): сб. статей. Л., 1973.
- Сафонова Ю. А.* Религиозные аспекты «Русской правды» П. И. Пестеля. М., 2005.
- Севастопольское вооруженное восстание в ноябре 1905 года: документы и материалы. М., 1957.
- Силина Т. И. И. П. Вороницын:* Жизнь, отданная идеалам революции // Страницы прошлого. Вып. 4. Пермь, 2003. С. 201–206.

Симанович В. А. В новом Шлиссельбурге. М., 1934.

Симонова Т. М. «Мы бесподданные безгосударственники...»: Россияне в межвоенной Польше // Родина. 2007. № 12. С. 75–81.

Симонова Т. М. Советская Россия (СССР) и Польша: Русские антисоветские формирования в Польше (1919–1925). М., 2013.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Любое издание.

Справочник по жителям и дачникам Терийок и окрестностей за период 1890–1939 гг. и приходские книги церквей Терийок, Коломяг, Куоккала. Интернет.

Судьбы демократического социализма в России: сб. материалов Междунар. науч. конф. М., 2014.

Суряев В. Н. Чинопроизводство и прохождение службы офицерами Русской армии накануне Первой мировой войны // Военно-исторический журнал. 2018. № 9.

Тажуризина З. А. Из истории свободомыслия: Очерки разных лет. М., 2017.

Терёхин А. С. Пермь: Очерк архитектуры. Пермь, 1980.

Ткаченко П. С. О некоторых вопросах истории народничества // Вопросы истории. 1956. № 5. С. 34–45.

Топография террора: История политических репрессий. СПб., 2012.

Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов: Судьба русского марксиста. М., 1997.

Улина Х. Ш. Антирелигиозное движение в СССР // Марксизм и современность. 2005. № 1–2. С. 121–127.

Ульянкина Т. И. Русская академическая эмиграция в Сербии: Обзор довоенного периода 1919–1938 гг. Интернет.

Урилов И. Х. Ю. О. Мартов: Политик и историк. М., 1997.

Ущиповский С. Н., Кругликова О. С. Российская историческая журналистика. М. – Берлин, 2015.

Фигнер В. Н. Когда часы жизни остановились: Воспоминания. В 2-х т. Т. 2. М., 1929.

Харитонов Е. Д. Судьба семьи русского офицера Владимира Каппеля // Военно-исторический журнал. 2007. № 1. С. 45–48.

Цаголов Г. Н. Пророчества и ошибки Георгия Плеханова // Литературная газета. 2017. № 37. 20 сент.

Чернышев Ю. И. Иван Вороницын – неизвестный герой // Одной крови: рассказы, эссе, очерки, статьи. Житомир, 2016. С. 93–100.

Чернышев Ю. И. Увенчанный казнью: Повесть о лейтенанте Шмидте. Интернет.

Чернявский Г. И. Ю. Мартов – Дон-Кихот русской революции // Вестник. 2001. № 22 (281). 23 окт.

Черняк А. В. Тайны революций в России. Минск, 2011.

Чины Русского корпуса: биографический справочник в фотографиях. М., 2009.

Шевырин С. А. Политические репрессии в истории Перми // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР: Материалы VIII междунар. науч. конф. Краснодар, 2013. Ч. 1. С. 291–299.

Шигин В. В. Неизвестный лейтенант Шмидт // Наш современник. 2001. № 10.

Шилова И. С. Пермский период Ивана Петровича Вороницына // Россия и россияне: Особенности цивилизации: Материалы междунар. конф. Архангельск, 2009. С. 270–272.

Шилова И. С. Политические репрессии против технической и педагогической интеллигенции в конце 1920-х – конце 1930-х годов (По материалам Пермского региона): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Тюмень, 2013.

Ширяева А. А. Рукописные фонды Государственного Литературного музея // Новые материалы по истории русской литературы: сб. науч. трудов. М., 1994. С. 6–29.

Шмидт-Очаковский Е. П. Лейтенант Шмидт («Красный адмирал»): Воспоминания сына. Одесса, 2006.

Элбакян Е. С. Феномен советского религиоведения // Религиоведение. 2011. № 3.

Эпштейн А. Д. Мозаика нерелигиозного свободомыслия: атеизм, агностицизм и другие интеллектуальные доктрины // Неприкосновенный запас. 2015. № 4 (102).

Эрлихман В. Лейтенант Петр Шмидт и Зинаида Ризберг: Две встречи: На полях почтового романа // Родина. 2015. № 12 (1215).

Этерлей Е. Н. Узник Шлиссельбургской крепости // Русская речь. 1970. № 2. С. 66–72.

Юганов Н. А. История 92-го пехотного Печорского полка. 1803 – 29 апреля 1903. СПб., 1903.

Яницкий О. Н. Семейная хроника: 1852–2002. М., 2012.

Использованы также дела ПермГАСПИ по делу И. П. Вороныцына:

Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 11915. Л. 22–28, 61, 62, 86–97, 103–111, 135–137, 143, 168–188, 229–238, 280, 293, 327.

Ф. 85. Оп. 20. Д. 6. Л. 11 – об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17.11.1938.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Глава первая.</i>	
Предыстория судьбы Ивана Вороницына	5
<i>Глава вторая.</i>	
Безоблачное детство и строптивая юность	47
<i>Глава третья.</i>	
Севастопольское восстание	88
<i>Глава четвертая.</i>	
«Голый бунт»	140
<i>Глава пятая.</i>	
Шлиссельбургская крепость	171
<i>Глава шестая.</i>	
Вологодская оттепель и Ярославский ад	235
<i>Глава седьмая.</i>	
Снова в Шлиссельбурге	279
<i>Глава восьмая.</i>	
За что боролись...	312
<i>Глава девятая.</i>	
Пермский финал	359
Список трудов И. П. Вороницына	403
Список литературы	404

**Нина Федоровна
Аверина**

РАССТРЕЛЯННЫЙ И ЗАБЫТЫЙ
*Повествование
об Иване Петровиче Вороницыне*

Подбор иллюстративного материала – Н. Захарова

Использованы иллюстрации из изданий:

Г. К. Орджоникидзе (Серго): биография. М., 1962; *Ильинский М. В.* Архангельская ссылка. СПб., 1906; *Мельников Р. М.* Крейсер «Очаков». Л., 1986; На каторжном острове: Дневники, письма и воспоминания «нового Шлиссельбурга» (1907 – 1917 гг.). Л., 1967; Первая Российская: справочник о революции 1905 – 1907 гг. М., 1985; *Тимофеев А. И.* Севастополь выходит на баррикады. Симферополь, 1980.

Директор издательства Н. Зенкова

Редактор А. Зебзеева

Дизайн, оформление – С. Лишанская

Корректор А. Пушкина

ISBN 978-5-6042170-5-4

Подписано в печать 18.12. 2019. Формат 84x108/32. Бумага ВХИ.
Гарнитура Minion Pro. Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ № 1188.

Книжное издательство «Пушка».
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, офис 908.

Отпечатано в соответствии с предоставленными файлами
в АО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
www.uralprint.ru sales@uralprint.ru